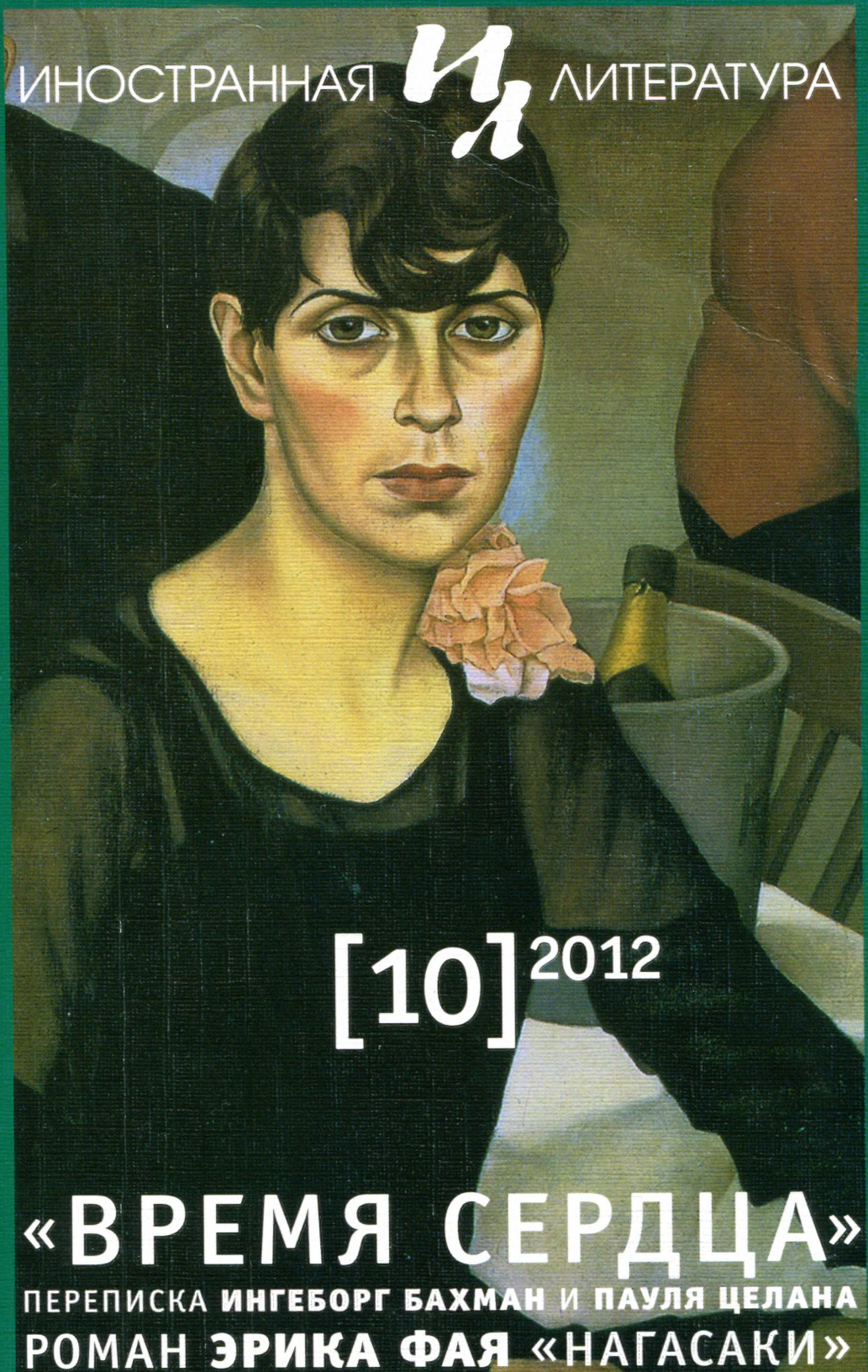
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[10] 2012

«ВРЕМЯ СЕРДЦА»

ПЕРЕПИСКА **ИНГЕБОРГ БАХМАН** И **ПАУЛЯ ЦЕЛАНА**

РОМАН **ЭРИКА ФАЯ** «НАГАСАКИ»

Основан в 1955 году

[10]
2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 *"Время сердца"*. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой, Александра Белобратова. Вступление Александра Белобратова

84 Эрик Фай *Нагасаки*. Роман. Перевод с французского Натальи Кисловой

Из будущей книги

126 Дино Кампана *Орфические песни*. Перевод с итальянского и вступительная статья Петра Епифанова

Документальная проза

148 Игорь Ефимов *Джон Чивер*. Из книги *Бермудский треугольник любви*

Переперевод

176 Уильям Шекспир Отрывки из *Комедии ошибок* (с параллельным английским текстом) в переводе Марины Бородицкой

Сигнальный экземпляр

230 Михаэль Кумпфмюллер *Великолепие жизни*. Фрагмент романа. Перевод с немецкого Михаила Рудницкого

Статьи, эссе

243 Марина Ефимова *К 200-летию американской "Войны 1812 года"*

Письма из-за рубежа

250 Александр Ливергант *Почетные гости*

Трибуна переводчика

257 Эдуард Шульман. *Превозмогая обожанье: искажения и переделки*

271 Олег Дорман *Украсть нельзя перевести*

БиблиофИЛ

281 *Среди книг* с Верой Калмыковой

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор
А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:
Л. Н. Васильева
Т. А. Ильинская
ответственный секретарь
Т. Я. Казавчинская
К. Я. Старосельская

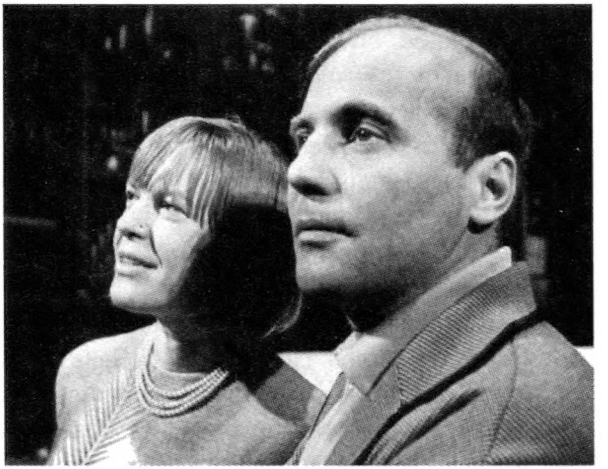
Общественный редакционный совет:
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

“Время сердца”



Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана

Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой, Александра Белобратова

Вступление Александра Белобратова

“Любовь прекрасна, как смирительная рубашка”: два поэта, два мира, два сердца в письмах об одном чувстве

Ингеборг Бахман (1926—1973) и Пауль Целан (1920—1970) относятся к самым ярким звездам на поэтическом небосклоне немецкоязычной поэзии после Второй мировой войны. Их многое разделяет, особенно происхождение: она — австрийская немка из Клагенфурта, из семьи школьного учителя, вступившего в нацистскую партию еще в 1932 году; он — немецкоязычный еврей из Черновцов (Буковина, окраина Австро-Венгрии, с 1918 года принадлежавшая Румынии, в 1940-м оккупированная Сталиным, а в 1941-м захваченная Гитлером), чьи родители погибли в фашистском концентрационном лагере в 1942-м.

Отличны друг от друга их поэтические судьбы и миры. Бахман приходит в литературу в конце 1940-х как поэт. В мае 1952 года на чтениях “Группы 47” в Ниендорфе, в Германии, стихи ее привлекли всеобщее внимание, а через год (на чтениях в Майнце) были отмечены литературной

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008
All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin
© Татьяна Баскакова. Перевод писем П. Целана, 2012
© Александр Белобратов. Перевод писем И. Бахман и М. Фриша, вступление, 2012
Полностью книга выйдет в издательстве “Ad Marginem”.

премией. В декабре 1953-го она выпускает свою первую поэтическую книгу "Отсроченное время", через три года — вторую ("Призыв Большой Медведицы"), неожиданно оказавшуюся последней. Затем Ингеборг как лирик на долгие годы замолкает, в конце 1960-х пишет несколько пронзительно-глубоких поэтических текстов (в том числе знаменитое стихотворение "Богемия у моря") и более к поэзии не возвращается: в последнее десятилетие своей жизни, оборвавшейся из-за несчастного случая, она обращается к прозе (сборники новелл "Тридцатый год" и "Синхронно", роман "Малина"), вновь обретая литературную известность и внимание читателей и критики.

Целан как поэт начинает еще в Румынии (первые его публикации — "Фуга смерти", вышедшая в переводе на румынский, и несколько стихотворений в немецкоязычном журнале "Агора"), в 1948 году в Вене появляется его сборник "Песок из урн", которым сам автор остается недоволен и требует уничтожить его. Целан тоже читает свои стихи на собрании "Группы 47" — в 1952 году, в Ниендорфе, — но присутствующие реагируют весьма отрицательно и на тематику, и на строй его поэзии, и в особенности на, как им кажется, искусственно-торжественную, патетическую манеру чтения. Правда, один из слушателей — редактор "Немецкого издательства" — от стихов Целана в восторге, и в 1952 году в Штутгарте выходит книга стихов "Мак и память". Два последующих десятилетия Целан регулярно публикуется ("От порога к порогу", 1955; "Решетка языка", 1959; "Роза-Никому", 1963; "Поворот дыхания", 1967; "Нитяные солнца", 1968; "Черная пошлина", 1969), выступает с чтением своих стихов во многих городах Германии, Австрии и Швейцарии (последняя поездка состоялась в марте 1970 года, за месяц до самоубийства поэта: он читал стихи из нового сборника "Бремя света"). Его поэтические достижения несомненны и отмечены двумя крупными литературными премиями Западной Германии, Бременской и Бюхнеровской (эти премии — одну чуть раньше, другую чуть позже Целана — получит и Бахман); однако он, с 1948 года живший и работавший во Франции, в Париже, существовал словно бы на периферии немецкоязычного литературного поля, прорываясь к читателю, может быть, в первую очередь своими немецкими переводами русской (Есенин, "Двенадцать" Блока, Мандельштам, Хлебников, "Бабий яр" Евтушенко), французской (Рембо, Валери, Сюпервьель, Шар, Мишо и др.), английской (сонеты Шекспира), американской (Фрост) и итальянской (Унгаретти) поэзии. Не способствовал поэтическому успеху и злобный навет (вдова франко-немецкого поэта Ивана Голля — Целан познакомился с ним в конце 1949 года и перевел на немецкий три томика его стихов — в 1953-м в открытом письме обвинила Целана в плагиате), оказавший разрушительное воздействие на его душевное и психическое состояние. Немецкие литературные критики более чем прохладно встречали его публикации, одни — из-за, как им представлялось, слишком навязчивой тематической привязанности стихов к проблематике Холокоста ("поэзия после Освенцима"), другие — по причине "ненемецкости" его поэтического языка и по-

вышенной герметичности словесных фигур и образов. Положение стало меняться в самом конце 1960-х, когда пришло новое поколение читателей, и смертельный прыжок с моста Мирабо, совершенный отчаявшимся и больным человеком, стал прыжком к славе, к бессмертию.

Повсеместное признание буквально настигло Целана. Сегодня он один из самых переводимых (после Рильке) немецкоязычных поэтов (его поэтические книги вышли на тридцати двух языках мира). И самый исследуемый (после Кафки) немецкоязычный писатель: ежегодно появляются десятки статей о его творчестве, опубликовано свыше двух сотен монографий о нем. Этот "последний поэт высокого модерна" (Ольга Седакова) признан и востребован в России, с поэтической культурой которой его столь многое связывает[1].

Почти вровень с Целаном существует в современной культуре и Ингеборг Бахман. Ее "молчаливое" поэтическое слово воспринято читателями, оно звучит почти на 40 языках. В России первая подборка ее стихов вышла в том же сборнике "Строки времени", что и целановская "Фуга смерти"[2]. Вместе представлены они и в антологии австрийской поэзии 1975 года[3]. Поэты словно бы встретились друг с другом во времени. И все чаще в работах о Бахман и Целане звучат упоминания об их поэтической и человеческой близости[4].

В 2008-м родственники и душеприказчики Бахман сняли запрет на публикацию ее писем, и в свет вышла книга, ставшая самой значительной сенсацией литературного года[5].

Эта встреча — встреча двух поэтов, двух миров, двух сердец в их личной переписке — отмечена десятками рецензий, восторженным приемом со стороны читателей, бурными дебатами "целано- и бахмановедов", переводами на другие языки (на сегодня книга вышла уже в семи странах Ев-

1. Первую публикацию в сборнике "Строки времени" (1967) — пять его стихотворений вышли в переводах Грейнема Ратгауза и Льва Гинзбурга — продолжили подборки в "ИЛ" (1974, № 5) и в знаменитой антологии "Из современной австрийской поэзии" (1975), куда были включены 43 стихотворения Целана, выполненные "грандами" отечественного переводческого искусства. Стихи Целана неоднократно печатались в "ИЛ" (1996, № 12; 2005, № 4; 2009, № 12). Важнейшее издание последнего времени — том "Стихотворения. Проза. Письма" (2008), подготовленный Татьяной Баскаковой и Марком Белорусцем.

2. В 1960 г. в сборнике "Немецкая поэзия 1954–1959" было опубликовано стихотворение Бахман "Радость прощания" (перевод О. Берг).

3. Стихи Бахман печатались в "ИЛ" (1965, № 12; 2000, № 7; 2003, № 2), рассказы – в "ИЛ" (1996, № 9). В русском переводе вышли четыре книги Бахман: "Три дороги к озеру" (1976), Избранное (1981), роман "Малина" (1998), сборник стихотворений "Воистину" (2000), подготовленный Елизаветой Соколовой.

4. В 1997 г. в Германии вышел солидный сборник статей "Ингеборг Бахман и Пауль Целан: поэтические соответствия" (по-немецки слово "Korrespondenzen" означает "соответствия", но одновременно и "письма", "переписка").

5. Herzzeit. Ingeborg Bachmann – Paul Celan: Der Briefwechsel. – Frankfurt a. M., 2008. Hrsg. von B. Badiou, H. Höller, A. Stoll, B. Wiedemann.

ропы). Ее место в культурном сознании эпохи столь же высоко, как место другой знаменитой поэтической "встречи" — "тройственной" переписки (Correspondences, "соответствий") Рильке, Пастернака и Цветаевой[1].

В том вошли две сотни писем Целана и Бахман (с июня 1948-го по июль 1967 года), дополненные короткой перепиской швейцарского прозаика и драматурга Макса Фриша с Паулем Целаном (с 1959-го по 1961 год, в то время Бахман и Фриш жили вместе в Цюрихе) и двадцатью пятью письмами, которыми обменялись Жизель Лестранж, жена Целана, и Ингеборг Бахман (1957—1973).

В заглавие книги ее составители включили необычное, не существующее в немецком языке, но вполне немецкое по форме слово: целановский поэтический неологизм **Herzzeit** ("время сердца", "сердечная пора"), в котором по-целановски аллюзивно слышны отзвуки и **Herbstzeit** (времени года, "осенней поры"), и **Jetztzeit** ("времени сейчас", экзистенциального времени), и **Hetzzeit** ("времени гонений", "времени преследования" в политическом словаре эпохи, но и — в словаре зоологических понятий — "времени гона"). Этим словом открывается стихотворение Целана "Кёльн. На Подворье", написанное после его встречи с Бахман в Германии в октябре 1957 года, когда их любовные отношения возобновились. Но — обо всем по порядку.

Ингеборг Бахман приезжает в Вену осенью 1946-го. Ей двадцать лет, она учится на философском факультете и учится вполне основательно (в 1949 году завершает диссертацию о Мартине Хайдеггере), но ее влечет к литературе. Первые попытки опубликоваться, первые контакты в литературной среде приводят ее к знакомству, а потом и к близким отношениям с Хансом Вайгелем — вернувшимся в Вену еврейским эмигрантом, вокруг которого в знаменитом кафе "Раймунд" собираются молодые австрийские авторы. В середине мая 1948 года на одном из литературно-художественных вечеров, которые устраивались на квартире художника-сюрреалиста Эдгара Жене, Ингеборг Бахман знакомится с молодым человеком, всего несколько месяцев назад приехавшим в Вену из Румынии — вернее, сбежавшим из страны, где тогда начинала устанавливаться новая, "красная", власть, — и пытающимся добиться литературного успеха в Вене. Зовут его Пауль Целан, он уже опубликовал несколько стихотворений в журнале "План", выступал с чтением своих вещей, и он — настоящий поэт. Через несколько дней комната, которую снимает Бахман, оказывается усыпанной алыми маками — любимыми цветами ее нового друга. Их любовные отношения длятся недолго: в конце июня Целан покидает Вену, подарив Ингеборг на прощанье свое стихотворение "В Египте". Ему нельзя оставаться в Вене: ведь в городе, поделенном на четыре зоны оккупации, он, бежавший на Запад бывший гражданин СССР, подвергает себя опасности. Целан уез-

1. Рильке, Пастернак, Цветаева. Письма 1926 года / Сост. К. М. Азадовский, Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак. — М., 1990.

жает в Париж, и в самом конце года, на Рождество, начинается его переписка с Бахман — полная надежд и разочарований, стремления друг к другу и отталкивания, веры и недоверия. Две личности, два характера выстраиваются в сознании читателя при чтении этих писем — две человеческие и поэтические судьбы, столь разные и столь яркие и сложные.

Бахман рвется в Париж, строит планы их совместного бытия. Лишь в октябре 1950-го эту поездку удается организовать. Когда ехала, думала, что надолго — у него, с ним; но в декабре она уезжает — и от Целана, и из Парижа. Жить вместе не получается, но остаются письма, остаются стихи — и о них, о поэтическом творчестве нередко заходит речь в этой переписке. Целан часто посылает Ингеборг Бахман свои стихи, она старается помочь ему опубликоваться в Германии. И говорит о своем чувстве, и вновь надеется и ждет. В 1952-м они встретятся в Ниендорфе, на чтениях "Группы 47", куда Целана пригласили благодаря настоятельной просьбе Бахман. Однако надежды на новую встречу, на новое сближение рассыпаются в прах: и под воздействием внешней ситуации — успех Бахман и горькая неудача Целана в этих, как он пишет, "немецких 'джунглях'", воздействуют на него отчуждающе — и прежде всего потому, что Целан, уже многие месяцы встречающийся с другой женщиной, намерен вступить с этой женщиной в брак (что и происходит в декабре 1952-го). "Пиши мне, прошу тебя, пиши, — заклинает его Бахман. — Мне важнее письмо, в котором ты расскажешь о себе, пусть в нем и не будет ответа на мои строки". Но переписка практически обрывается — Целан посылает Бахман в марте 1953 года свою книгу "Мак и память" с коротким посвящением, она в декабре того же года шлет ему свое "Отсроченное время": "Паулю — обменяться, чтобы утешиться".

Кажется, их пути разошлись навсегда. Однако в октябре 1957-го они оба приезжают по приглашению на большую конференцию в Вуппераль, и тут чувство вдруг прорывается в них, разгорается с новой силой — после конференции они вместе оказываются в Кёльне, всего на один день и на одну ночь. Вернувшись через три дня в Париж, Целан теперь чуть ли не каждый день пишет Бахман, шлет ей свои стихи: "Читай, Ингеборг, читай: для тебя, Ингеборг, для тебя". Теперь уже Целан — алчущая встречи и близости сторона, теперь наступило его "время сердца": "...Ты для меня — основа жизни, между прочим и потому, что была и остаешься оправданием моего говорения. <...> Знаешь, что я теперь снова могу говорить (и писать)?"

Она отвечает ему, но между ними — Жизель Лестранж, жена Целана, и маленький Эрик, его сын. Редкие и короткие встречи во время поездок с чтением стихов и письма, письма, письма: "Я еще раз выглянул из окна вагона, и ты тоже оглянулась, но поезд был уже далеко. / И тут что-то навалилось, сдавило горло с неистовой силой". И в ответ: "Каждый новый день теперь для меня — лишь отзвук [нашей встречи]. Но прошу, не избегай теперь Жизели из-за меня. <...> Кого, как не ее, благодарить нам теперь?"

Через год, осенью 1958-го, Бахман переезжает к Максу Фришу, с которым познакомилась летом в Париже — цюрихский театр показывал фран-

цузам его "Господина Бидермана и поджигателей". На письмо Бахман с известием о предстоящей перемене в ее жизни Целан отвечает: "Я говорю своему сердцу, чтобы оно пожелало тебе счастья, — оно и так желает, охотно, без подсказки, ему ведь слышно, как ты надеешься и веришь".

В последний раз они встретятся в Цюрихе, в ноябре 1960-го. Вскоре прекратится и их переписка. Попытки Целана возобновить ее не увенчались успехом (сохранились два его письма, написанные в сентябре 1963-го и июле 1967-го, но так и оставшиеся без ответа). В стихотворении из сборника "Нитяные солнца", написанном в том же, 1967-м, году Целан горько заметит: "Любовь прекрасна, как смирительная рубашка" ("DIE LIEBE, zwangsjackenschön..."). И все же "соответствия" (Korrespondenzen) между ним и Ингеборг Бахман не исчезли, не прекратились вовсе, ведь их поэзия, их стихи были "бутылочной почтой", которая сохраняла эту связь. В "Бременской речи" Целана (1958 года) об этом сказано так: "Ведь стихотворение <...> может стать бутылочной почтой, отправленной в надежде — зачастую, конечно, слабой, — что запечатанную бутылку с посланием где-нибудь когда-нибудь прибьет к берегу. Возможно, то будет берег сердца. Стихи и с этой точки зрения находятся в пути. Они куда-то плывут"[1].

1. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Стихотворение и посвящение в альбоме репродукций Матисса.
Вена, 24.(?)06.1948

В Е*гипте*

Для Ингеборг

Скажи глазам иноземки: "Водой обратись!"
Отыщи в глазах ее тех, кто водой обратился.
Позови их, пусть выйдут вновь из воды:
Руфь, Ноэми, Мириам.
Убери украшеньями их, когда возляжешь с чужой.
Убери украшеньями их из облачных прядей чужой.
И скажи, чтоб услышали Руфи, Мириам, Ноэми:
Смотрите, я сплю с ней!
Убери иноземку лучшими из украшений.
Убери ее болью своей за Руфь, Мириам, Ноэми.
И скажи иноземке:
Смотри, я с этими спал![2]

1. Перевод Марка Белорусца.
2. Перевод Алёши Прокопьева. (*Прим. переводчиков.*)

Мучительно точной,
через 22 года после ее рождения,
от мучительно неточного.

Вена, 23 мая 1948 года. — Целан написал посвящение в альбоме через несколько дней после первой встречи с Ингеборг Бахман. Сама она в письме к родителям (от 20.05.1948) описала эту встречу так:

"...сегодня случилось еще кое-что. Лирик-сюрреалист Пауль Целан, совершенно очаровательный, с которым я познакомилась у художника Жене позавчера вечером, вместе с Вайгелем, великолепнейшим образом влюбился в меня, что придало некоторую прелесть моей унылой поденщине. К сожалению, через месяц он уезжает в Париж. Моя комната в настоящий момент представляет собой маковое поле, потому что он не перестает осыпáть меня этими цветами".

Эдгар Жене (1904—1984) — немецко-французский художник-сюрреалист, художественный редактор журнала "План"; в 1945—1950 годах жил в Вене, потом — во Франции.

Ханс Вайгель (1908—1991) — австрийский писатель и театральный критик, с которым Ингеборг Бахман находилась в близких отношениях.

В свой день рождения (25.06.1948) Ингеборг записала в дневнике:

"От Пауля Целана — два роскошных альбома современной французской живописи с последними работами Матисса и Сезанна, томик Честертона, цветы, сигареты, одно стихотворение, которое будто бы относится ко мне, одна фотография, которую я смогу показать вам на каникулах. (Завтра он уезжает в Париж.) Поэтому вчера, накануне моего дня рождения, я еще успела провести с ним очень праздничный вечер, мы поужинали в городе и выпили вина"[1].

---

2. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена (неотправленное письмо)

Рождество 1948 года

Дорогой, дорогой Пауль!

Вчера и сегодня я много думала о тебе, если хочешь знать — о нас обоих. Пишу не потому, чтобы ты снова напи-

1. Здесь и далее все комментарии, кроме оговоренных случаев, немецкого издателя.

сал, а потому что это мне доставляет радость и я так хочу. А еще я собиралась на днях встретить тебя где-нибудь в Париже, но потом глупое тщеславное чувство долга удержало меня здесь, и я никуда не поехала. Как это понимать: где-нибудь в Париже? Не знаю, совсем ничего не знаю, но уж как-нибудь все получилось бы здорово.

Три месяца назад кто-то неожиданно подарил мне книгу твоих стихов. Я и не знала, что она вышла. Было такое чувство... земля под ногами стала невесомой и поплыла, а рука моя слегка, совсем чуть-чуть, задрожала. А потом снова очень долго не было ничего. Несколько недель назад услышала в Вене, что чета Жене уехала в Париж. И тут я снова отправилась в дорогу.

Я все еще не пойму, что значила прошлая весна. Ты ведь знаешь, я всегда хочу все знать точно. Она была прекрасна, как те стихи и как то стихотворение, которое мы создали вместе.

Я люблю тебя сегодня, и ты со мной рядом. Вот что я непременно хочу сказать тебе — а тогда я часто о таком молчала.

Как только у меня появится время, я смогу приехать на несколько дней. Захочешь ли ты меня увидеть? Хотя бы на час, на два.

Всего самого, самого доброго!

Твоя

Ингеборг.

...книгу твоих стихов. — Имеется в виду сборник "Песок из урн" (1948). Целан письменно запретил распространение этой книги, среди прочих причин — из-за многочисленных опечаток.

...чета Жене... — Художник Эдгар Жене и его жена Эрика Лиллег, с которыми Целан познакомился в Вене и при финансовой поддержке которых вышел "Песок из урн".

---

3. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

31, Рю дез Эколь,

Париж, 26.1.1949

Ингеборг!

Постарайся на минутку забыть, что я так долго и так упорно молчал — у меня было очень много забот, больше, чем мог бы снова снять с меня мой брат, мой добрый брат, чей дом ты наверняка не забыла. Пиши мне так, как если бы ты писала

ему — ему, который постоянно думает о тебе и когда-то вложил в твой медальон записку, которую ты теперь потеряла.

Не заставляй меня, не заставляй его ждать!

Обнимаю тебя,

Пауль.

---

4. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, 12 апреля 1949 года

Любимый, Ты!

Я так обрадовалась, когда пришло твое письмо, — и вот я снова заставляю тебя так долго ждать, вовсе непреднамеренно и без всяких угрюмых мыслей. Ты ведь и сам знаешь, что так иногда бывает. И не понять почему. Я два или три раза принималась писать тебе письмо, а потом его все же не отсылала. Но разве это что-нибудь значит, если мы думаем друг о друге и если, быть может, это продлится еще очень долго.

Я разговариваю не только с твоим братом, сегодня я говорю почти только с тобой одним, ведь сквозь твоего брата я люблю тебя, и не смей думать, что я обошла тебя стороной. — Скоро снова настанет весна, год назад она была такая странная и такая незабываемая. Теперь каждый раз, когда иду через Городской парк, я наверняка знаю, что он может вдруг стать целым миром и каждый раз сама превращаюсь, как тогда, в маленькую рыбку.

Что у тебя огорчения, я чувствовала все время; дай мне знать, поможет ли тебе, если я буду писать чаще!

Осенью друзья подарили мне книгу твоих стихов. То был грустный миг, потому что твои стихи я получила от других людей и ни слова — от тебя. Но каждая прочитанная строчка вновь и вновь меняла все к лучшему.

Тебя, быть может, порадует, если я сообщу, что о тебе здесь иногда спрашивают, не так давно мне даже пришлось дать твой адрес совершенно незнакомым людям из Граца, чтобы их не расстраивать. А у малышки Нани и у Клауса Демуса по-прежнему светятся счастьем глаза, когда разговор заходит о тебе.

Теперь я хорошо понимаю, что ты правильно сделал, уехав в Париж. А что ты скажешь, если я осенью вдруг тоже там объявлюсь? Мне обещают дать стипендию в Америку или

в Париж, после того как получу степень. Даже не верится. Это было бы слишком прекрасно.

О себе рассказывать почти нечего. У меня очень много работы, диссертация движется к концу, кроме того, пишу для газет, для радио и т. д., пишу много больше, чем прежде. Пытаюсь не думать о себе и с закрытыми глазами добираться до смысла того, что, собственно, имеется в виду. Конечно, мы все живем в большом напряжении, не можем освободиться и ищем окольных путей. Но я иногда от этого делаюсь совсем больной, настолько, что опасаюсь — в какой-то момент мне не выдержать.

На прощанье скажу — твоя записка, которую ты вложил в мой медальон, никуда не затерялась, хотя в медальоне ее давно больше нет; я думаю о тебе и все еще слышу тебя.

Ингеборг.

...незнакомым людям из Граца... — Вероятно, речь идет о поэте и переводчике Максе Хёльцере (1915—1984). В 1950 году он вместе с Эдгаром Жене издал альманах "Сюрреалистические публикации", в который включил стихи и переводы Целана.

...у малышки Нани и у Клауса Демуса... — Нани Майер, школьная подруга Бахман, и ее муж, поэт и историк искусств Клаус Демус (р. 1927), — ближайшие друзья Пауля Целана, с которыми он познакомился в конце своего пребывания в Вене.

---

5. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, конец мая – начало июня 1949 года (?)
Недописанное письмо.

Пауль, дорогой Пауль!

Я тоскую по тебе и по нашим с тобой сказкам. Что мне делать? Ты так далеко, и мне теперь мало твоих приветов в открытках, хотя до недавнего времени мне их вполне хватало.

Вчера Клаус Демус принес твои стихи, которых я прежде не знала, три из них — совсем недавние. Невыносимо, что они попали ко мне таким вот окольным путем. Прошу, прошу тебя, не надо так. Ведь хоть что-то должно же оставаться и для меня.

Я умею читать их лучше, чем другие, потому что встречаю в них тебя с тех самых пор, как больше не стало нашей с тобой

Беатриксгассе. Все говорит мне о тебе, я погружаюсь в стихи и разговариваю с тобой, обхватываю ладонями твою чужестранную темную голову и хочу сдвинуть камни с твоей груди, разжать твою руку с гвоздиками и услышать, как ты поешь. Со мной не произошло ничего такого, что вдруг побудило бы меня думать о тебе больше. Все как всегда, у меня есть работа и успех, меня вроде как окружают мужчины, но это не имеет значения: ты слышишь, свет и мрак чередуются друг с другом, и дни пролетают словно миг...

...нашей с тобой Беатриксгассе. — Бахман снимала комнату в квартире по адресу Беатриксгассе 26 до июня 1949 года.

...твою руку с гвоздиками... — Аллюзия на заключительную строку стихотворения Пауля Целана "Девкалион и Пирра": "Пусть придет человек с гвоздикой!" В переработанном варианте стихотворение получило название "Поздно и глубоко", переписана была и заключительная строка: "Пусть придет человек из могилы!"

---

6. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 20 июня 49 года

Ингеборг!

Нет, в этом году я приеду "неточно" и с опозданием. Но, может, лишь потому что хотел бы: пусть никого, кроме тебя, не будет, когда я поставлю маки, очень много маков, и память, памяти тоже не меньше, — два больших сияющих букета — на твой накрытый к дню рождения стол. Вот уже несколько недель я предвкушаю этот момент.

Пауль.

---

7. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, 24 июня 1949 года

Ты, любимый!

Я вовсе и не думала об этом, и вот сегодня, накануне — в прошлом году ведь все так и было, — ко мне в самом деле прилетела

твоя открытка, влетела прямо в сердце, да, именно так, я люблю тебя, я об этом ни слова не говорила, тогда... Я снова почувствовала запах маков, сильно, очень сильно, ты восхитительно колдовал тогда, мне никогда не забыть твоего волшебства.

Порой я хочу только одного: уехать отсюда, в Париж, почувствовать, как ты трогаешь мои руки, как ты всю меня трогаешь цветами, а потом снова не знать ни о чем — ни откуда ты пришел, ни куда уходишь. Для меня ты родом из Индии или из еще более далекой, темной, смуглой страны, ты для меня пустыня, и море, и все, что есть тайна. Я по-прежнему ничего толком не знаю о тебе и потому часто боюсь за тебя, мне невозможно представить, что ты вынужден делать то же самое, что мы, другие, делаем здесь, мне хочется иметь зáмок для нас двоих, и чтобы ты пришел ко мне и был моим заколдованным господином, и там будет много-много ковров и музыки, и мы откроем для себя любовь.

Я часто размышляла о том, что "Корона" — твое самое прекрасное стихотворение, оно самым совершенным образом предугадывает то особое мгновение, когда все обратится в мрамор и будет навсегда. Но мне здесь не придет "время". Я жажду чего-то, что мне недоступно, все тут плоское и затхлое, обессилевшее и использованное еще до того, как им успели попользоваться.

В середине августа собираюсь появиться в Париже, всего на несколько дней. Не спрашивай, почему и зачем, но будь там для меня — всего на один вечер, на два, на три... Поведи меня на набережную Сены, мы будем долго смотреть в ее воды, пока не превратимся в маленьких рыбок и не узнаем друг друга вновь.

Ингеборг.

...не придет "время". — Аллюзия на строки стихотворения Целана "Корона": "Теперь время, чтоб время пришло" (Перевод В. Барского).

---

8. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 4(?).08.1949

Ингеборг, дорогая!

Всего несколько строк, в спешке, чтобы сказать, как я рад, что ты приезжаешь.

Надеюсь, это письмо придет вовремя, и ты напишешь, когда прибывает поезд: можно ли мне тебя встретить? Или лучше не надо, я ведь не смею спрашивать, почему и зачем ты едешь?

Я полон нетерпения, любимая.

Твой Пауль.

Вот мой телефонный номер:
DAN 78–41

...ты приезжаешь. – Ингеборг Бахман приехала в Париж только осенью 1950 года.

DAN 78–41. – Телефонный номер отеля, тогда у Пауля Целана не было своего телефона.

---

9. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

31, Рю дез Эколь

Париж, 20 августа 49 года

Моя дорогая Ингеборг!

Ты, значит, приедешь только через два месяца – почему? Ты этого не говоришь. Ты также не говоришь, надолго ли, не говоришь, получила ли стипендию. Пока что мы, как ты предлагаешь, могли бы "обмениваться письмами". А знаешь, Ингеборг, почему весь последний год я тебе так редко писал? Не только потому, что Париж загнал меня в тупик жуткого молчания, из которого я пока не выбрался; я, кроме того, не знал, что́ ты думаешь о тех коротких неделях в Вене. Как я мог это понять по твоим первым, в спешке набросанным строчкам, Ингеборг?

Может, я ошибаюсь, может, дело обстоит так, что мы избегаем друг друга именно там, где очень хотели бы встретиться, может, виноваты мы оба. Только я иногда говорю себе, что мое молчание, наверное, понятнее, чем твое, потому что тьма, которая навязывает его мне, старше.

Ты знаешь: важные решения каждый должен принимать сам. Когда пришло то письмо, где ты спрашивала меня, выбрать ли тебе Париж или Соединенные Штаты, я бы охотно сказал, как бы меня обрадовало, если бы ты приехала сюда.

Понимаешь, Ингеборг, почему я от этого воздержался? Я сказал себе: если бы ты действительно придавала какое-то (а это значит: больше, чем какое-то) значение тому, чтобы жить в городе, где живу и я, ты бы не спрашивала у меня совета.

Прошел долгий год, год, в который тебе наверняка довелось столкнуться со многим. Но ты мне не говоришь, насколько далеко за чертой этого года остались наши с тобой май и июнь.

Насколько далека или близка мне ты, Ингеборг? Скажи, чтобы я знал, закрываешь ли ты глаза — сейчас, когда я тебя целую.

Пауль.

---

10. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, 24 нояб. 1949 года

Дорогой, дорогой Пауль!

Уже ноябрь. Письмо, которое я написала в августе, по-прежнему не отправлено — все так печально. Ты, должно быть, дожидался его. Примешь ли ты его сегодня?

Я чувствую, что говорю слишком мало, чувствую, что не могу тебе помочь. Мне бы надо приехать, посмотреть на тебя, извлечь тебя наружу, поцеловать и крепко держать, чтобы ты не ускользнул. Прошу, верь, что я однажды приеду и верну тебя. Я со страхом наблюдаю, как тебя уносит в огромное море, но я построю корабль и верну тебя, пропавшего, домой. Только ты сам помоги мне в этом и не усложняй мою задачу. Время и много чего еще — против нас, но мы не позволим ему разрушить то, что хотим спасти из его потока.

Напиши мне поскорее, прошу, и напиши, нужны ли тебе мои слова, примешь ли ты мою нежность и любовь, можно ли тебе чем-то помочь, тянешься ли ты еще ко мне и укрываешь ли меня темным покрывалом тяжелого сна, в котором я хочу просиять светом.

Попытайся же, напиши, задай мне вопрос, освободись от всего, что тебя гнетет!

Я вся с тобой.

Твоя Ингеборг.

Вена, 25 августа 1949 года

Любимый мой!

Письмо это дается мне с трудом. Прошел целый год — ни вопросов, ни ответов, лишь редкие, но очень нежные приветы от тебя, совсем немногословные попытки поговорить, из которых по сию пору ничего не вышло. Помнишь ли ты еще наши первые разговоры по телефону? Как это было трудно: мне всегда словно воздуха не хватало — ощущение, похожее на то, что сопровождало до сих пор нашу переписку. Не знаю, чувствуешь ли ты то же самое, но позволю себе предположить, что да.

Твое молчание наверняка было иного рода, чем мое. Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не станем говорить о тебе и о причинах, которые у тебя были. Они для меня важны, и таковыми останутся, но если что-то и будет положено на чашу весов, то там не окажется ничего, касающегося тебя. Для меня ты — это ты, для меня ты ни в чем не "виноват". Ты можешь не говорить ни слова, но я радуюсь даже самой малости. Со мной все иначе. Я — более простой человек из нас двоих, и все же мне придется объяснить себя, потому что тебе это трудно понять.

Мое молчание прежде всего означает, что я хотела сохранить те недели такими, какими они были; мне хотелось только одного — чтобы время от времени от тебя приходила открытка, подтверждающая, что все это мне не приснилось, что все было действительно так, как было. Я любила тебя, ничуть не меняясь, на той стороне, что была "там, за каштанами".

А потом наступила нынешняя весна, и все изменилось, усилилось, устремилось к тебе, вырвалось из-под стеклянного колпака, которым я все укрыла. Я строила планы, я хотела в Париж, хотела вновь увидеть тебя, хотя не могу сказать для чего и зачем. Я сама не знаю, почему и для чего хочу тебя. И очень этому рада. В иных случаях я это знаю слишком точно.

В этом году у меня много чего было, я продвинулась вперед, я много работала, я закончила несколько первых своих вещей, с большими сомнениями, трудностями и надеждами.

Помнишь ли еще, как ты всегда немножко досадовал по поводу моей прямоты и открытости в некоторых вещах? Не знаю, что тебе сейчас захочется знать, а что — нет, но ты наверняка можешь предположить, что после тебя у меня были

другие мужчины. Твое тогдашнее пожелание на сей счет я выполнила; я тебе об этом еще не говорила.

Но ни разу не возникло прочных отношений, я нигде долго не задерживаюсь, я стала еще беспокойней, чем прежде, и не хочу и не могу никому ничего обещать. Ты спрашиваешь, как далеко теперь отодвинулись наш май, наш июнь — ни на один день не отодвинулись, любимый мой! Тот май и тот июнь для меня — это сегодняшний вечер, или завтрашний день, и так будет еще много лет.

Ты с такой горечью пишешь, как странно я себя вела, когда стояла перед выбором — Париж или Америка. Я слишком хорошо тебя понимаю, и мне теперь тоже очень больно, оттого что ты это так воспринял. Все, что бы я на это сейчас ни ответила, будет неправдой. Быть может, я просто хотела узнать, значу ли я еще что-нибудь для тебя — не обдуманно, а скорее бессознательно. Я делала выбор не между тобой и Америкой, а хотела выбрать что-то в стороне от нас обоих. А еще мне трудно тебе объяснить, насколько часто планы меняются со дня на день. Сегодня речь может идти о стипендиях, на которые завтра уже не придется рассчитывать, потому что заявку надо подать до определенного срока, к которому не успеваешь, а потом не хватает нужных справок, которые не успел собрать. Сегодня у меня на руках две письменные рекомендации, одна на стипендию в Лондон, другая — в Париж, но я не могу с уверенностью сказать, что в результате выйдет, и подаю обе заявки без определенных мыслей, надеясь только, что какую-нибудь из них когда-нибудь удовлетворят. Кроме того, меня тут приглашают частным образом съездить в Париж. Я уверена, что когда-нибудь это получится, ведь один раз поездка чуть было не состоялась. В данный момент главное препятствие — я сама, поскольку история с квалификационными экзаменами по диссертации настолько затягивается, что я такого и предположить не могла.

Из моих объяснений ты сделаешь вывод, что я очень далека от тебя. Скажу тебе одно, каким бы невероятным это ни казалось мне самой: я тебе очень близка.

Прекрасна любовь, в которой я живу с тобой, и только из-за того, что я боюсь сказать слишком много, я не говорю: она — самое прекрасное, что только может быть.

Пауль, я хочу взять в ладони твою бедную красивую голову, встряхнуть ее и убедить тебя в том, что уже сказала очень многое, слишком многое для меня, ведь ты еще должен помнить, как трудно мне находить подходящие слова. Очень хочу, чтобы ты прочитал в строчках моего письма и то, что спрятано между строк.

...”там, за каштанами”. — Аллюзия на первую строчку стихотворения Пауля Целана “На той стороне” из сборника “Песок из урн”: “Лишь там, за каштанами, начинается мир”.

...квалификационными экзаменами по диссертации... — В декабре 1949 года Ингеборг Бахман представила к защите диссертацию “Критический анализ экзистенциальной философии Мартина Хайдеггера”.

---

13. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 7 сентября 1950 года

Моя дорогая Ингеборг!

Вот письмо, в котором госпожа д-р Розенберг приглашает тебя в Париж: надеюсь, этого будет достаточно для получения французской визы. Пожалуйста, сразу предприми необходимые шаги и дай мне знать, все ли идет нормально. Не упускай эту возможность, Ингеборг: если ты в самом деле хочешь в Париж, то лучше всего приезжай прямо сейчас. У тебя не возникнет забот в связи с твоим пребыванием здесь, ни в каком отношении. Я рад, что ты приедешь, и ты, возможно, уже сейчас была бы здесь, если бы вовремя ответила на письмо Нани. Надеюсь, консульство не отложит выдачу визы надолго, но, в любом случае, тебе придется этим заняться. Клаус, который знает французские порядки, вероятно, сможет тебе что-то посоветовать.

Как я понял из устного, а теперь и письменного сообщения Нани, у тебя, Ингеборг, были неприятности. Мне очень жаль. Но я уверен, Париж тебя от таких неприятностей избавит: именно от таких. И, может, я сумею ему в этом немножко помочь. Видишь ли, мне пришлось долго бороться, прежде чем Париж меня по-настоящему принял и причислил к “своим”. Ты не будешь так одинока, как я, не будешь жить в такой изоляции и отверженности, в какой жил я. Потому что первое право, которое человек себе здесь отвоевывает, — защищать своих друзей от всего, чему сам он — беззащитный, ничего толком не понимая — так долго противостоял.

Клаус и Нани расскажут тебе, какой красивый Париж; я же буду рад присутствовать рядом, когда ты увидишь это своими глазами.

Ответь мне побыстрее. Обнимаю тебя,

Пауль.

Большой привет Клаусу и Нани.

...госпожа д-р Розенберг... – Гертруда Розенберг – жена Шарля Розенберга, поверенного и исполнителя завещания немецко-французского поэта Ивана Голля[1] (1891–1950). Целан не мог сам выслать приглашение, поскольку еще не имел французского гражданства.

...письменного сообщения Нани... – Нани Майер писала Целану (1.09.1950) о том, что Бахман перенесла "длительный нервный срыв", который "почти на целое лето загнал ее в постель".

---

16. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 14 или 15 октября 1950 года

Дорогая Ингеборг!

Уже половина пятого, мне пора к ученику. Это было наше первое рандеву в Париже, сердце мое стучит очень громко, а ты не пришла.

Я сегодня должен еще отработать два часа, ехать далеко, и вернусь не раньше, чем без четверти девять.

Ты можешь включить утюг в ту розетку, куда включена лампа; но будь осторожна и хорошенько прикрой дверь, чтобы в гостинице не заметили, что ты гладишь. Можешь также заняться письмами. Ждать письма тяжело.

И подумай немного о том, какая тень коснулась меня, когда я с тобой заговорил.

Пауль.

...мне пора к ученику. – Целан в это время подрабатывал, давая частные уроки немецкого и французского языков.

---

1. Стихи Ивана Голля публиковались в "ИЛ", 2011, № 9. (*Прим. ред.*)

18. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, 4 июля 1951 года

Пауль, любимый!

Сегодня вечером Клаус едет в Париж; передам с ним это письмо и еще несколько писем, написанных давно или не так давно. Даже если у тебя не найдется времени написать мне, я надеюсь скоро узнать через Клауса, как ты поживаешь.

Пожалуйста, обдумай все как следует, по поводу своих стихов; я считаю, что не было бы неправильно дать делу толчок с помощью Юнгера и Додерера.

Главное, не сердись на меня, что я самые важные письма всегда писала на машинке. Я настолько привыкла — более чем привыкла — печатать, что больше не могу выводить чернилами по бумаге слова, которые идут от сердца.

Сегодня я была в Institut Français; там узнала, что, вероятно, смогу поехать в Париж уже в следующем летнем семестре (в феврале или марте 1952-го). Клауса я очень полюбила: в последнее время мы часто виделись и разговаривали, и было бы прекрасно, если бы мы, все четверо, не теряли друг друга из виду.

С любовью,
твоя

Ингеборг.

Вена, 4 июля 1951 года

...с помощью Юнгера и Додерера. — Речь идет о возможном издании сборника Пауля Целана "Песок из урн". По совету Клауса Демуса Целан 11.06.1951 обратился в письме к немецкому писателю Эрнсту Юнгеру (1895—1998) с просьбой поддержать публикацию этого сборника в Германии. К Хаймито фон Додереру (1896—1966), австрийскому писателю, Целан обращаться не стал.

18. 3. Приложение

Вена, 27 июня 1951 года

Дорогой, дорогой Пауль!

Через несколько дней Клаус едет в Париж; он захватит с собой много писем, которые я тебе написала, писем правиль-

ных и неправильных, мне не хватало духа отправлять их по почте. Он лучше сможет рассказать о самом важном из того, что здесь происходит, немножко расскажет и о другом, гораздо более важном, — о чем сказать трудно или вообще невозможно.

Не знаю, стоит ли мне все же попытаться сказать это.

Я очень, очень тоскую по тебе, порой я почти больна от этого и хочу только одного — вновь повидать тебя, повидать где угодно, только не когда угодно, а как можно скорее. Но когда я пытаюсь представить себе, как и что ты мне на это ответишь, все тонет во мраке, вновь всплывают старые недоразумения, которые я так хотела бы отмести.

Помнишь ли ты еще, что мы все же, вопреки всему, были очень счастливы вместе, даже в самые худшие часы, когда мы были худшими врагами себе?

Почему ты мне не писал? Разве мадам Жене еще не приехала в Париж? Почему ты больше не чувствуешь, что я все еще хочу приехать к тебе, хочу всем своим сумасшедшим, сумасбродным и противоречивым сердцем, пусть оно порой и противится?.. До меня постепенно начинает доходить, почему я так сильно защищалась от тебя, почему я, возможно, никогда не перестану защищаться. Я люблю тебя и я не хочу тебя любить, это слишком весомо и слишком трудно; но прежде всего я люблю тебя — я говорю тебе об этом сейчас, пусть и опасаясь, что ты этого больше не услышишь или не захочешь услышать.

До осени мне из Вены ни за что не уехать: у меня очень много дел, и я не могу себе позволить отказаться от места, на которое устроилась. Потом я, возможно, поеду в Германию, осмотрюсь там или останусь на некоторое время. А вот мою парижскую стипендию передвинули на 1952 год. Не знаю, как я все это выдержу, больше всего мне хотелось бы отправиться до той поры в Америку, чтобы как-то скрасить время ожидания. Но все мои планы, о которых я тебе рассказываю, очень шаткие; все может обернуться и совсем иначе — вполне может случиться, что мне придется остаться здесь и отказаться от всего, чего я хотела бы добиться в этом году.

Позволь пожелать тебе всего самого доброго, со всей любовью поцеловать и обнять тебя много раз, хоть ты далеко и не можешь почувствовать этого, позволь мне побыть с тобой хоть на протяжении одной мысли...

Твоя Ингеборг.

...места, на которое устроилась. — С апреля 1951 года Ингеборг Бахман служила в администрации американских оккупационных властей в Вене.

23. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Письмо не отправлено.

Вена, 25 сентября 1951 года

Дорогой Пауль!

На днях верну тебе кольцо, которое ты дал мне в прошлом году; не знаю только, отправить ли его просто по почте или подождать, пока кто-нибудь поедет в Париж. Как только разузнаю все, сразу напишу тебе, выбрала ли я первый, более простой вариант.

Начну с того, что мне наконец удалось повидаться с Нани наедине; стало быть, удалось поговорить о разных вещах, о том, что мне было очень важно узнать.

Твое желание получить кольцо обратно удивило меня меньше, чем те воспоминания, которые ты с ним связываешь. Я бы наверняка поняла, что тебе очень важно сохранить его как память о твоей семье, и уже поэтому я бы не медлила ни секунды и вернула бы его тебе, я бы точно поняла все правильно и меня бы это нисколько не обидело.

А вот теперь из намеков Нани, впрочем, вполне тактичных, я делаю вывод, что память о ситуации, связанной с этим "подарком", опечалила бы тебя или меня. Подозрение, которое живет в твоем сердце по отношению ко мне — и, пожалуй, по отношению к Нани тоже, — представляется мне столь чудовищным, что и теперь, через два дня, после того как я обо всем узнала, мне приходится собирать все силы, чтобы мыслить ясно и не дать хода горечи и отчаянию, на меня навалившимся.

Пауль, неужели ты и в самом деле думаешь, что это кольцо, про историю которого я знала (а что для меня эта история свята, ты понимаешь — какими упреками ни осыпал бы меня), — что это самое кольцо я взяла только потому, что увидела его у тебя и оно мне понравилось? Не хочу оправдываться перед тобой, не хочу отстаивать свою правоту, потому что речь здесь вовсе не о нас с тобой, во всяком случае я так считаю, — дело-то ведь в том, вправе ли существовать то, на чем стою я, перед лицом того, что олицетворяет это кольцо. И

мне нечего сказать тебе, кроме того, что моя совесть чиста перед лицом тех умерших людей, которые когда-то это кольцо носили. Я приняла его от тебя как дар и носила или хранила, всегда сознавая его значение.

Сегодня я многое понимаю лучше: я знаю, что я тебе неприятна и что ты испытываешь ко мне сильнейшее недоверие, и мне жаль тебя — потому что мне непонятно твое недоверие, — мне жаль тебя, потому что ты, пытаясь справиться с разочарованием, не можешь не разрушать для себя и для других людей образ того, в ком ты разочаровался.

Я тебя люблю, но отныне это касается только меня одной. В любом случае я, в отличие от тебя, не буду делать попыток тем или иным способом, с помощью тех или иных упреков отгородиться от тебя, забыть тебя или вытеснить из своего сердца; мне сегодня ясно, что я, пожалуй, никогда не смогу перечеркнуть то, что было между нами, и все же я нисколько не поступлюсь своей гордостью, а вот ты когда-нибудь будешь гордиться тем, что перестанешь думать обо мне как о чем-то очень дурном.

Пожалуйста, не забывай писать мне о своих стихах; я не хотела бы, чтобы другие наши договоренности страдали из-за личных коллизий.

---

25. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

31, Рю дез Эколь,

Париж, 30 октября 1951 года

Моя дорогая Инга!

Эта жизнь, кажется, сплошь состоит из упущений, и, наверное, лучшее, что тут можно сделать, — не искать слишком долго ее разгадку, иначе ни одно слово так и не сдвинется с места. Письма, которые ставили перед собой такую задачу, под моими пальцами, судорожно нащупывающими путь, снова возвращались в ту область, откуда я пытался их вытащить. А в результате я глубоко виноват перед тобой, и это посланьице из Лондона — единственное, что я могу противопоставить твоим письмам, подаркам, усилиям, — пока еще витает у меня в голове. Так что прости, и давай наконец поговорим.

Я бы хотел кое о чем рассказать, что-то сообщить — это, видимо, самая отчетливая моя потребность. В Лондоне: уми-

ротворение, домашний уют, сады и книги, время от времени — прогулки по городу. Встреч никаких, кроме разве что встречи с Эрихом Фридом — освежающей, вернувшей мне жизнь благодаря его сердечности и теплоте. У него, бесспорно, ярко выраженное, сильное поэтическое дарование. Из других представителей "интеллектуальной Вены" я видел только Ханса Флеша, которого Э. Ф. — в тот вечер, когда я читал у него стихи, — пригласил к себе. С Хильдой Шпиль я, к сожалению, не повидался, она в тот момент была еще в Австрии. Я оставил у Эриха Фрида рукопись, и несколько дней назад, очевидно, она наконец попала к госпоже Шпиль. (Как я мог заключить по нескольким строчкам ее письма.)

Трудная встреча с Парижем: поиски комнаты и людей — и то и другое разочаровывает. Болтливые одиночества, растаявший снежный ландшафт, приватные тайны, нашептываемые всем и каждому. Короче, увеселительная игра с мрачными материями — поставленная, разумеется, на службу литературе. Иногда стихотворение кажется маской, существующей лишь потому, что другие порой нуждаются в какой-то штуковине, за которой они могут спрятать свою нежно любимую повседневную рожу.

Однако хватит ругаться — наша Земля не станет от этого круглее, а в Париже и этой осенью во второй раз цветут каштаны.

Дорогая Инга, я должен поблагодарить тебя и Клауса за публикацию двух моих стихотворений в "Ворт унд Вархайт"*: может, они и таким путем доберутся до чьих-нибудь ушей, которые не законопачены наглухо. Тебя наверняка порадует, что теперь и берлинский журнал "Дас Лот" принял несколько моих стихотворений; они будут напечатаны в ближайшем, февральском, номере. Кроме того, кое-что из моего вот-вот должны перевести на шведский. Надеюсь, когда-нибудь переведут и на немецкий.

Видишь? Я еще держусь, обхожу окрестные дома, бегаю по пятам за самим собой... Знать бы мне только взаправду, который час пробил! Но взаправду ли он лежал перед моей дверью — тот камень, который я пытаюсь отвалить? Ах, слово приходит только по воздуху и приходит — я опять этого боюсь — во сне.

Не знаю, Инга, показывал ли тебе Клаус те два стихотворения, которые я ему послал в последний раз. Но вот одно но-

* Mais il les [a] bien publié entre parenthèses, ce cher Hansen-Löve... — Но он их, конечно, опубликовал, зажав скобками, этот милейший Хансен-Лёве...

вое, "последнее", — надеюсь, не самое последнее. (Боже, не будь таким скаредным на слова!)

А ты, Инга? Ты работаешь? Расскажешь мне немного об этом, да? И о своих планах? Я замучил себя угрызениями совести, потому что в письме из Леваллуа отговаривал тебя от запланированного путешествия через океан — беру свои слова обратно, мое суждение было тогда очень поверхностным.

Давай мне знать обо всем, о чем можно сообщить, и сверх того посылай иногда какое-нибудь тихое слово — из тех, которые всплывают, когда человек одинок и может говорить только с далями. Я тоже буду так делать.

Что легче легкого в такой час!

Пауль.

Приложение. Стихотворение "Вода и огонь".

Вода и огонь

Ведь бросил же в башню тебя и тисам я слово сказал,
и вырвалось пламя оттуда,
и мерку на платье сняло тебе, платье невесты:

Ясная ночь,
ясная ночь, что придумала нам сердца,
ясная ночь!

И за морем светит далёко,
и будит лу́ны в проливе Зунд
и кладет их на пенящиеся столы,
омывая от времени:
мертвое, стань живым,
серебро, миской и плошкой стань, словно ракушки!

Стол бушует, волнуется, час за часом,
ветер наполнил бокалы,
море катит нам пищу:
блуждающий глаз, грозо́вое ухо,
рыбу, змею —

Стол бушует, волнуется, ночь за ночью,
надо мной проплывают знамена народов,
рядом к суше гребет люд на гробах,
подо мной все небеснеет и звезди́тся,
как до́ма в Иванов день!

И я гляжу на тебя,
объятую пламенем солнца:
вспомни время,
когда ночь вместе с нами на гору взбиралась,
вспомни то время,
вспомни, что был я тем, что я есмь:
мастер темниц и башен,
дуновение в тисах, пирующий в море,
слово, к которому ты упадешь, догорев[1].

...из Лондона... — Пауль Целан регулярно навещал в Лондоне своих родственников, эмигрировавших туда из Румынии.

...с Эрихом Фридом... — Эрих Фрид (1921—1988) — австрийский поэт и переводчик, с 1938 года жил в Лондоне и был редактором на Би-би-си.

...Ханса Флеша... — Ханс (Иоганнес) Флеш-Бруннинген (1895—1981) — австрийский писатель-экспрессионист и переводчик, с 1934 года жил в Лондоне и работал на Би-би-си.

С Хильдой Шпиль... — Хильда Шпиль (1911—1990) — австрийская писательница и журналистка, в 1936—1963-м жила в Лондоне; она первой в немецкоязычном регионе написала рецензию на стихотворения Пауля Целана. Целан в письме от 19.09.1951 благодарил ее за эту рецензию так: "В немногом, *сказавшемся мне*, Вы разглядели то, что для меня самого отчетливо являлось лишь в редкие мгновения неуверенной надежды: контур и образ; я это воспринял как одно из тех удостоверяющих подтверждений, в непосредственной близости от которых раскрывается дверь, ведущая в бытие".

Я оставил у Эриха Фрида рукопись... — Речь идет о рукописи первого поэтического сборника Целана "Песок из урн", датированной 1950 годом и уже значительно дополненной по сравнению с опубликованным в 1948 году текстом.

...во второй раз цветут каштаны. — Аллюзия на стихотворение Пауля Целана "Темный глаз в сентябре": "...Во второй раз цветет каштан..."

*...в "Ворт унд Вархайт"** (и примечание Целана)... — Фридрих Хансен-Лёве (1919—1997) — датский публицист, член редакционной коллегии венского журнала "Слово и правда".

...опубликовал, зажав скобками... — Пауль Целан имеет в виду, что стихотворения были напечатаны как "заполнение промежутка" между двумя статьями на социально-политические темы.

...теперь и берлинский журнал "Дас Лот"... — Три стихотворения Целана, в том числе "Вода и огонь", были опубликованы в журнале "Лот" только в июне 1952 года.

...в письме из Леваллуа... — В северо-восточном пригороде Парижа Леваллуа-Перре Целан отдыхал летом 1951 года.

---

1. Перевод Алёши Прокопьева.

26. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, 10 ноября 1951 года

Милый Пауль!

Твое письмо так обрадовало меня, ты и представить себе не можешь, я даже спрашиваю себя, был ли ты мне когда-либо более близок, чем в эти дни, — потому что ты, впервые в своих письмах, на самом деле пришел ко мне. Не пойми неправильно мою радость, ведь я почувствовала, как много горечи в твоих словах, — меня лишь радует, что ты в состоянии написать мне об этом.

Понимаю тебя, чувствую вместе с тобой, потому что нахожу в твоем письме подтверждение тому, что мне подсказывает собственное чувство. Ничтожность стремлений — а есть ли они вообще? — у окружающих нас людей, культурная жизнь, в которой я теперь тоже участвую, вся эта отвратительная суета, глупая и надменная болтовня, выставление себя напоказ, ходульная актуальность — все это день ото дня становится для меня более и более чуждым, я завязла в этом, и поэтому все вокруг выглядят в моих глазах как оживленный хоровод призраков.

Не знаю, чувствуешь ли ты, что у меня никого нет кроме тебя, кто бы укрепил мою веру в Иное, что мои мысли постоянно стремятся к тебе, не только к самому любимому человеку, который у меня есть, но и к тому, кто, будучи сам в безвыходном положении, удерживает позицию, которую мы вместе заняли.

Сначала я хочу ответить тебе: я рада публикации твоих стихотворений; тебе в самом деле не надо благодарить меня за "Слово и истину" — да, тебе вообще не надо меня благодарить ни за что и никогда, ведь в такие мгновения меня сильнее тяготит вина по отношению к тебе, я ее глубоко ощущаю, хотя и не могу точно определить, в чем ее суть. Было бы прекрасно, если бы ты установил контакт с Хильдой де Мендельсон; я ее очень люблю и до определенной степени ценю. — А теперь я хочу немного рассказать о себе, мой рассказ будет совсем банальным, но поверь мне, что мои мысли и дела не полностью исчерпываются тем, чем я занята вовне.

Тебе уже известно, что меня приняли на радиостанцию "Красный-белый-красный" в качестве "Script Writer Editor"[1]; я

1. Литературный редактор (*англ.*).

сижу в комнате, где еще два сотрудника и две секретарши; я и эти двое сотрудников обрабатываем театральные пьесы для радио; кроме того, я должна время от времени сама писать радиопьесы, еженедельно готовить рецензии на фильмы, читать и оценивать неимоверное количество рукописей, в массе своей очень плохих. То, чем я занимаюсь, не всегда плохо, для Австрии даже довольно рискованно то, что мы предлагаем нашим слушателям — от Элиота до Ануя, — однако мы, как ни странно, даже имеем успех. Ты, возможно, не одобришь того, что я столь ужасающе "прилежна", я добилась определенного успеха и смогла обеспечить себе очень хорошее положение за короткое время, и, хотя моя работа меня во многих отношениях не удовлетворяет, я делаю ее с удовольствием и радуюсь тому, что могу работать. Я решила для себя — хотя не знаю, удастся ли это осуществить, — что останусь здесь на год, а потом уеду в Германию, перейду на немецкую радиостанцию — если я когда-нибудь полностью освою ремесло. Я случайно попала на радио, и до сих пор мне не приходило в голову сделать эту работу своей профессией, но теперь, когда я вижу, что мне дается шанс — причем не самый худший, если вспомнить, что нынче очень трудно овладеть сколько-нибудь приличной профессией, — я почти готова его использовать. Хочу спросить тебя, как ты к этому относишься, поскольку, строя такие планы, я думаю — пусть тебе это и покажется странным — о "нас".

Дорогой Пауль, я знаю, что ты теперь меня больше не любишь, что ты больше не думаешь о том, чтобы взять меня к себе, — и все же я не могу иначе, не могу не надеяться, не работать с надеждой подготовить тем самым почву для совместной жизни с тобой, что дало бы нам определенную материальную стабильность, позволило бы нам — здесь ли, там ли — начать все заново.

Я больше не могу и не хочу ничего обещать и ни в чем тебя заверять. Скорее, я ищу какое-то доказательство, и мне все равно, примешь ты его или нет; возможно, в твоих глазах это ложное и плохое доказательство. Но я уверилась в том, что могу "обеспечить" именно "эту" сторону жизни лучше, чем ты, и, если я претендую на то, что люблю тебя, я должна суметь ее обеспечить.

Тебя нет здесь со мной, и мне от этого и легче, и тяжелее. Я до боли тоскую по тебе и все же иногда радуюсь, что у меня сейчас нет возможности к тебе поехать; я должна обрести еще большую уверенность, я должна обрести уверенность ради тебя.

Не отвечай мне на эти строки — разве что у тебя самого возникнет такая потребность. Пиши мне вообще, пиши, что-

бы я знала тебя и не была такой одинокой в суете мимолетных дней и событий, среди множества людей и многих дел.

Только что у меня были Нани и Клаус. Нани нашла комнату неподалеку от Главной таможни и очень этому радуется. Два стихотворения, которые ты послал Клаусу, мне известны, я положила их к другим, что у меня были. Сегодня я перепишу для Клауса "Воду и огонь", чтобы тебе не нужно было пересылать ему его.

Об этом стихотворении: оно для меня совершенно ново и неожиданно, у меня такое ощущение, словно вдруг прорвался поток ассоциаций и открылась новая дверь. Возможно, это самое прекрасное твое стихотворение, и я не боюсь того, что оно будет "самым последним". Я несказанно счастлива и, погружаясь в твою темную пору, полна надежды на тебя. Ты часто ставил мне в упрек, что меня не трогают твои стихи. Очень прошу: отбрось подобные мысли — я говорю не об одном этом стихотворении, о других тоже. Порой я живу и дышу только ими и сквозь них.

Прими мои наилучшие пожелания и — если мне позволительно неуклюже воспользоваться твоим словом — "вспомни: что была я тем, что я есмь!"

Ингеборг.

Дорогой мой, этой же почтой отправляю тебе сегодня посылочку к Рождеству; надеюсь, она тебя хоть немного порадует. Желаю тебе всего самого-самого в Сочельник, и попытайся подумать о том, что я думаю о тебе.

Нани и Клаус очень ждут весточки от тебя.

16 дек. 1951 года

...с Хильдой де Мендельсон... — Речь идет о Хильде Шпиль, по мужу — де Мендельсон.

...на радиостанцию "Красный-белый-красный"... — Австрийская радиостанция "Rot-Weiß-Rot" была названа в соответствии с цветами национального флага Австрийской республики.

...писать радиопьесы... — Первая радиопьеса Бахман "Торговля снами" транслировалась по радио в феврале 1952 года.

..."вспомни, что была я тем, что я есмь!" — Аллюзия на строку из "Воды и огня" Целана: "вспомни, что был я тем, что я есмь".

28. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 16.02.1952

Дорогая Ингеборг!

Только потому, что мне очень тяжело отвечать на твое письмо, я пишу лишь сегодня. Это не первое мое письмо к тебе за то время, пока я ищу ответ, но, надеюсь, на сей раз — письмо, которое я еще и отправлю.

Я решился сказать вот что: Инга, не будем больше говорить о том, чего не вернуть: такие разговоры только растравляют старую рану, сердят и расстраивают меня, ворошат прошлое — а это прошлое часто казалось мне провинностью, ты это знаешь, я давал тебе возможность это почувствовать, даже понять, — они окунают все вещи в темень, над которой приходится потом долго сидеть, чтобы опять вытащить их оттуда, дружба же упорно не желает выступить в роли спасителя... Видишь, происходит противоположное тому, чего ты хочешь: немногими словами, которые время часто, но неравномерно приносит мне от тебя, ты создаешь неясности, и мне приходится вести с ними тяжбу, такую же беспощадную, как в свое время — с тобой.

Нет, не будем больше гадать о невозвратном, Ингеборг. И, пожалуйста, не приезжай ради меня в Париж! Мы только причиним боль друг другу, ты мне и я тебе — какой в этом смысл, скажи?

Мы достаточно друг о друге знаем, чтобы понять: между нами возможна только дружба. Другое непоправимо потеряно.

Когда ты пишешь мне, я понимаю, что для тебя эта дружба что-то значит.

Еще два вопроса: д-р Шёнвизе уже раздумал делать радиопередачу по моим стихам? Мило ничего мне не написал, значит, и с приглашением в Германию ничего не выйдет?

От Хильды Шпиль я месяца два назад получил милое письмо, и на этом пока все кончилось; на мое письмо, где я спрашиваю, есть ли еще надежда найти издателя, она не ответила.

Я очень расстроен из-за этой истории с моими стихами, но никто не помогает. Tant pis[1].

1. Тем хуже (*франц.*).

Поскорее дай знать о себе, Инга. Я всегда радуюсь, когда ты мне пишешь. Я в самом деле радуюсь,

Пауль.

Бандероль я, к сожалению, не получил; наверное, она пропала.

...они окунают все вещи в темень... — Отсылка на стихотворение Пауля Целана "В темень обмокнуты вишни любви...", которое, в свою очередь, обыгрывает строчку из Гёльдерлина. (*Прим. перев.*)

Другое непоправимо потеряно. — В начале ноября 1951 г. Целан познакомился с французской художницей-графиком Жизель де Лестранж, в конце 1952-го она стала его женой.

...д-р Шёнвизе... — Эрнст Шёнвизе (1905—1991) — австрийский поэт, в то время — руководитель литературной редакции на радиостанции "Красный-белый-красный" в Зальцбурге.

---

33. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, 10 июля 1952 года

Дорогой Пауль!

Пишу, не дождавшись письма от тебя. Попытайся написать мне поскорее, прошу тебя, мне очень хотелось бы знать, как ты поживаешь! Из Мюнхена я поехала еще и в Штутгарт и разговаривала там с д-ром Кохом, который очень расстроен твоим отказом. Он уже все подготовил для твоего выступления, которое, пожалуй, могло бы иметь важные последствия. С тобой хотел познакомиться Дингельдей, директор издательского объединения. Обязательно напиши Коху, чтобы все получилось с этими переводами и, возможно, с книжкой стихов. Не забудь также, что в этом очень заинтересованы "Франкфуртер Хефте" — издательство.

И в первую очередь: прямо сейчас отправь Ровольту рукопись. Я, разумеется, свою рукопись посылать не стала, потому что не хочу, чтобы нас снова "сталкивали" друг с другом, и чтобы не повторилась ситуация как в Ниендорфе. Моей вины там не было, а ты обвинил меня — что же скажешь на этот раз? Пойми, я не могу послать свою рукопись. На днях я дам Ровольту окончательный ответ.

Я снова виделась с Нани и Клаусом. Мне нелегко далось рассказать им о тебе и о тех днях в Германии; тем более трудно, что я не знаю, как ты теперь к этому относишься, с определенной дистанции. Мне и самой пока еще неясно, почему возникли тогда все эти трения и напряженность. Я лишь отчетливо вижу, что наш первый разговор уничтожил все мои надежды и старания прошлых лет, что ты сумел обидеть меня намного сильнее, чем я тебя когда-нибудь обижала. Не знаю, удалось ли тебе уже дать себе отчет в том, что́ ты мне тогда сказал, в тот самый момент, когда я приняла окончательное решение перебраться к тебе, вновь обрести тебя, отправиться с тобой в "джунгли" — неважно, в какой форме; и я не понимаю лишь одного: почему ты через несколько часов или дней, когда мне уже было известно, что ты уходишь к другой, стал упрекать меня в том, что я не была с тобой рядом в этих самых немецких "джунглях". Ответь мне, как я могу быть рядом с тобой, если ты уже давно ушел от меня? Во мне все холодеет от мысли, что все произошло уже давно и я этого не почувствовала, что я была такой непонятливой.

Но я хочу попытаться сохранить дружбу, которую ты мне предлагаешь. Ей долго еще будет мешать то самое смятение, от которого долго еще будет несвободна и твоя дружба со мной.

Но я и теперь всем сердцем с тобой.

Ингеборг.

Нани очень сердится*, что я не вернула ей рукопись, а отдала тебе. Пожалуйста, пришли нам ее поскорее.

Кроме того, для радиопередачи и для журнала "Фурхе" мне срочно требуются последние твои стихотворения, примерно десять или двенадцать. Проф. Фихтнер недавно звонил мне и спрашивал о них. Пусть там будут "Вода и огонь" и "Сделай горьким меня", ладно?

*Она действительно осыпа́ла меня упреками!

...с д-ром Кохом... — Д-р Кох — главный редактор Немецкого издательского объединения, способствовавший публикации сборника Целана "Мак и память".

...Дингельдей... — Хельмут Дингельдей — сотрудник штутгартского издательства "Крёнер". Бахман ошибочно именует его директором Немецкого издательского объединения.

..."Франкфуртер Хефте"... — левокатолический журнал, основанный в 1945-м во Франкфурте-на-Майне. Стихи Целана публиковались в нем в первой половине 1950-х годов.

...Ровольту... — Эрнст Ровольт (1887—1960) — владелец крупнейшего немецкого издательства "Ровольт", после 1945-го обосновавшегося в Гамбурге. С Целаном он познакомился в 1952 году на собрании объединения молодых немецких писателей — "Группа 47".

...свою рукопись посылать не стала... — Речь идет о рукописи поэтического сборника Ингеборг Бахман "Отсроченное время".

...ситуация как в Ниендорфе. — В Ниендорфе (Германия) в мае 1952 года состоялось собрание "Группы 47", на которое были приглашены Пауль Целан и Ингеборг Бахман. Целан ревниво воспринял успех поэтессы, посчитав, что своим неуспехом он отчасти обязан ей.

...для журнала "Фурхе"... — независимый австрийский католический еженедельник, основанный в 1945 году.

"Сделай горьким меня" — Имеется в виду стихотворение "Пересчитай миндаль".

---

38. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Вена, 29 июня 1953 года

Прости, что я лишь сегодня благодарю тебя за стихи. Я не могла собраться с духом.

Нани и Клаус много рассказали мне о Париже, и теперь мне не так тяжело писать это письмо.

В августе уеду из Вены, поеду в Италию, обратно я не вернусь.

Мне теперь очень жаль, что я не смогла приехать в мае.

Для меня твои стихи — самое ценное из того, что я беру с собой.

Желаю тебе счастья и знаю, что оно к тебе теперь придет.

Ингеборг.

...поеду в Италию, обратно я не вернусь. — В августе 1953-го Бахман поселяется на острове Искья в Неаполитанском заливе, а в октябре переезжает в Рим, где живет до осени 1957-го. В эти месяцы и годы ее связывают близкие отношения с немецким композитором Хансом Вернером Хенце (р. 1926).

---

47. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 20.10.1957

Кёльн. На Подворье

Время сердца, при-
грезившиеся —
цифрами полуночи.

Что-то сказано в тишину, что-то умолчано.
Что-то своею дорогой ушло.
Изгнанное и Забытое
приют обрели.

.....

О, соборы.
О, соборы невидимые,
о, реки укромные,
о, часы глубоко внутри нас[1].

Париж, набережная Бурбон, воскресенье, 20 октября 1957, половина третьего

"Кёльн, На Подворье" — Ингеборг Бахман и Пауль Целан, которые участвовали в конференции "Литературная критика — под критическим углом зрения", после ее окончания, 14 октября, встретились в Кёльне, в отеле на улице Подворье, где остановился Пауль Целан. Улица находится недалеко от собора и берега Рейна; она ведет от дворца архиепископа ("Подворья") к Ратушной площади; в Средние века этот район был заселен евреями. 14 октября возобновились любовные отношения между Ингеборг Бахман и Паулем Целаном; эта связь продолжалась до мая 1958 года.

---

48. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 23 октября 1957 года

Я, Ингеборг, могу понять, что ты мне не пишешь, не можешь писать, не будешь писать: я осложняю тебе жизнь свои-

1. Перевод Алёши Прокопьева.

ми письмами и стихами, осложняю еще больше, чем когда-либо прежде.

Скажи только: стоит ли мне тебе писать и посылать стихи? Стоит ли приехать на несколько дней в Мюнхен (или еще куда-то)?

Ты же понимаешь: поступить иначе я не мог. Поступи я иначе, это бы означало, что я отрекаюсь от тебя — а на это я не способен.

Успокойся и не кури так много!

Пауль.

---

49. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 25.X.57

Сегодня — забастовка почтовых служащих, сегодня письма от тебя не будет.

Во французской газете я прочитал афоризм: "Il est indigne des grands cœurs de répandre le trouble qu'ils ressentent".

И все-таки! Вот:

Через два часа:

Еще одно, потому что оно не вправе остаться невысказанным:

Мое "...Ты знаешь, куда он указал" должно быть дополнено так: указал в гущу жизни, Ингеборг, в жизнь.

А почему я завел об этом разговор: чтобы освободить тебя от ощущения вины, проснувшегося, когда знакомый мир для меня исчез. Чтобы освободить тебя от него навсегда.

Ты должна, ты обязана мне написать, Ингеборг.

Il est indigne des grands cœurs de répandre le trouble qu'ils ressentent. — "Недостойно великих сердец — распространять смятение, которое они испытывают" (*франц.*). — Цитата из "Люси, или Новый эпистолярий", сочинения Клотильды де Во (1815—1846), опубликованного в приложении к работе "Система позитивной политики" ее друга Огюста Конта (1798—1857).

Мое "...Ты знаешь, куда он указал"... — "Куда он указал..." — цитата из немецкого перевода стихотворения английского поэта и драматурга Роберта Браунинга (1812—1889) "Роланд до Замка черного дошел". (*Прим. перев.*)

---

51. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Мюнхен, 28. 10. 1957

Я СЕГОДНЯ НАПИШУ ОЧЕНЬ ТРУДНО ПРОСТИ ИНГЕБОРГ.

---

52. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Понедельник, 28 октября 1957 года

Мюнхен

Пауль!

Десять дней назад пришло твое первое письмо. Я с тех пор каждый день собираюсь ответить и никак не соберусь, все веду с тобой многочасовые, полные отчаяния разговоры.

Сколь многое мне приходится вычеркивать в письме! Поймешь ли ты меня, несмотря на это? Прибавишь ли ты к нему те минуты, когда у меня перед глазами только твои стихи, или только твое лицо, или "Nous deux encore"?

Ты ведь знаешь, мне не у кого попросить совета.

Я благодарна тебе, что ты все рассказал жене, ведь "уберечь" ее от этого — значило бы стать еще более виноватым и унизить ее. Ведь она есть то, что она есть, и ты ее любишь. Но ты догадываешься, какое значение имеет для меня то, что она все приняла и поняла? И какое — для тебя самого? Ты не имеешь права бросить ее и вашего ребенка. Ты мне ответишь, что это, де, уже случилось, что она уже брошена. Но я прошу тебя, не бросай их. Надо ли мне приводить какие-то доводы?

Если мне придется думать о ней и о твоем ребенке — а мне придется думать о них всегда, — то я не смогу обнимать тебя. Больше я ничего не знаю. Ты говоришь, что продолжение означает: "в жизнь". Это годится для *пригрезившихся* во сне. Но неужели мы — всего лишь *пригрезившиеся*? И разве какое-то продолжение не случалось всегда, и разве мы уже не разочаровывались в такой жизни, не разочарованы в ней и сейчас, когда считаем, что все дело в одном только шаге — за порог, в ту сторону, вместе?

Вторник: я снова не знаю, что еще написать. Я не могла уснуть до четырех утра и все пыталась заставить себя писать даль-

ше, но не могла больше прикоснуться к бумаге. Мой самый любимый Пауль! Если бы ты сумел приехать в конце ноября! Я мечтаю об этом. Вправе ли я? Нам надо сейчас увидеться.

В письме к принцессе я вчера, чтобы не отмалчиваться, написала несколько слов о тебе, слов "сердечных". Раньше мне это, несмотря ни на что, давалось много легче, потому что я была счастлива, когда произносила твое имя или писала его. Теперь же мне приходится чуть ли не просить у тебя прощения за то, что не сохраняю твое имя для себя одной.

Но мы оба знаем, каково это — быть вдвоем среди других. Только теперь это больше не будет нас сковывать.

Когда неделю назад я приехала в Донауэшинген, у меня вдруг возникло желание сказать все, необходимость сказать все — как тогда, в Париже, и тебе пришлось сказать все. Но ты должен был сказать, а мне такого даже не позволили, я ведь свободна и потеряла себя в этой свободе. Понимаешь, что я имею в виду? Однако это всего лишь мысль, выхваченная из длинной цепочки размышлений — одной из тех, что сковывают меня.

Ты сказал, что навсегда примирился со мной, я этих слов никогда не забуду. Следует ли мне теперь полагать, что я снова делаю тебя несчастным, снова несу раздор и разрушение, ей и тебе, тебе и мне? Для меня непостижимо, как можно быть настолько проклятой.

Пауль, я отсылаю письмо в том виде, в каком оно написалось, я очень хотела бы быть гораздо более точной. —

Я еще в Кёльне хотела тебе сказать, попросить тебя еще раз прочитать "Песни на путях бегства"; той зимой, два года назад, я была у последней черты и приняла твой отказ. Я больше не надеялась, что буду оправдана. Да и к чему?

Ингеборг.

Вторник, вечером:

Сегодня утром я писала тебе: нам надо сейчас увидеться.

В этом есть большая неточность, и я ее уже ощущаю, ты мне ее должен простить. Ведь мне не отмахнуться от моих же слов: ты не имеешь права бросить ее и вашего ребенка.

Скажи, считаешь ли ты несовместным, что я хочу тебя увидеть и все же говорю тебе такие вещи?

"Nous deux encore?" — "Все еще мы двое?" — Заглавное стихотворение сборника французского поэта Анри Мишо (1899—1984), переведенное Паулем Целаном.

...вашего ребенка. — Сын Пауля Целана Эрик родился в 1955 году.

...к принцессе... — Маргерита Каэтани, принцесса Бассиано, — издательница международного литературного журнала "Боттеге оскуре" ("Темные лавки"), выходившего в Риме с 1948 года. Бахман познакомилась с ней в 1954-м. Стихи Пауля Целана публиковались в этом журнале с 1956 года. Боттеге оскуре — так называлась улица в Риме, на которой, в Палаццо Каэтани, располагалась редакция журнала.

...необходимость сказать все... — В октябре 1957-го Ингеборг Бахман присутствовала на премьере музыкального произведения Х. В. Хенце "Ночные этюды и арии". Ни в Донауэшингене, ни позднее Бахман не рассказала Хенце о своих отношениях с Целаном.

"*Песни на путях бегства*" — Заключительная часть поэтической книги Ингеборг Бахман "Призыв к Большой Медведице".

52.1. Приложение

Из "Песен на путях бегства"

VII

Там, во мне, глаза твои — окна
в тот край, где живу я при ясном свете.

Там, во мне, грудь твоя — море,
что влечет в глубину, на самое дно.

Там, во мне, твои бедра — пристань
Для моих кораблей, приплывших
Из дальних рейсов.

Счастье вьет серебряный трос —
Я на привязи прочной.
Там, во мне, рот твой — пухом выложенное гнездо
Для птенца-подлетка, моего языка.
Там, во мне, твоя плоть,
словно плоть светоносная дыни,
Сладостна бесконечно.
Там, во мне, жилы твои — золотые,
И я золото мóю слезами, однажды
Оно принесет утешенье.

Ты получишь высокий титул, обнимешь владенья,
Дарованные отныне.
Там, во мне, под ступнями твоими — не камни дорог,
А навечно мой бархатный луг.

Там, во мне, твои кости — светлые флейты,
Я из них извлекаю волшебные звуки,
Что и смерть околдуют...[1]

53. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 31 октября 1957 года

Сегодня. День с твоим письмом.

Крушение, Ингеборг? Нет, конечно нет. Но: правда. А она, даже в нашем случае, есть нечто противоположное: потому что она — основополагающее понятие.

Перепрыгивая через многое:

Я приеду в Мюнхен в конце ноября, числа 26-го.

Возвращаясь в перепрыгнутое:

Я — да, не знаю, что все это означает, не знаю, как мне это назвать: предопределение, может быть, или судьба и призвание, поиск названий не имеет смысла, я просто знаю, что это так, навсегда.

Со мной — как с тобой: я отваживаюсь произносить и писать твое имя, не ропща на озноб, который меня при этом охватывает, — что меня делает счастливым, вопреки всему.

Ты ведь знаешь: ты для меня была, когда я тебя встретил, и тем и другим — и чувственным, и духовным. Это никогда не разъединится, Ингеборг.

Вспомни "В Египте". Каждый раз, читая это стихотворение, я вижу, как в него входишь ты: ты для меня основа жизни, между прочим, и потому, что была и остаешься оправданием моего говорения. (На это я намекал, может быть, и тогда, в Гамбурге, сам не подозревая, насколько я правдив.)

Но дело не только в этом, не в говорении, я ведь хотел и молчать с тобой.

Другое пространство в темноте:

Ждать: я и такую возможность обдумывал. Но разве это не означало бы, среди прочего, ждать, что жизнь каким-то образом пойдет нам навстречу?

1. Перевод А. Исаевой.

Нам жизнь навстречу не пойдет, Ингеборг, ждать такого — это был бы, наверное, самый неподходящий для нас способ быть здесь.

Быть здесь: да, это мы можем и имеем на это право. Быть здесь — друг для друга.

Пусть всего несколько слов, alla breve, одно письмо раз в месяц: сердце сумеет этим жить.

(И все-таки один конкретный вопрос, ответь на него быстро: когда ты едешь в Тюбинген, когда — в Дюссельдорф? Меня туда тоже приглашали.)

Знаешь, что я теперь снова могу говорить (и писать)?

Ах, я еще много чего должен тебе рассказать, в том числе и такое, о чем даже ты едва ли догадываешься.

Пиши мне.

Пауль.

P. S.

Как ни странно, по пути в Национальную библиотеку я купил "Франкфуртскую газету". И наткнулся там на стихотворение, которое ты мне прислала вместе с "Отсроченным временем" — написанное на клочке бумаги твоей рукой. Я много раз пытался истолковать его для себя, и вот теперь оно снова ко мне приходит — и при каких обстоятельствах!

1.XI.57.

Прости, Ингеборг, прости мне глупую вчерашнюю приписку — я, может, никогда больше не буду так думать и писать.

Ах, я был несправедлив к тебе все эти годы, и приписка, возможно, — рецидив, который хотел прийти на помощь моей растерянности.

Разве "Кёльн. На Подворье" не красивое стихотворение? Хёллерер, которому я недавно дал его для журнала "Акценте" (был ли я вправе?), сказал, что это одно из лучших у меня. А все благодаря тебе, Ингеборг, благодаря тебе. Разве оно появилось бы вообще, не заговори ты о "пригрезившихся" во сне. Одно лишь слово от тебя — и я могу жить. А ведь теперь у меня в ушах снова звучит твой голос!

...числа 26-го. — Целан приехал в Германию 3 декабря и уехал 11-го. С 7 по 9 декабря он был в Мюнхене.

...и тогда, в Гамбурге... — 23—27 мая 1952 года Ингеборг Бахман и Пауль Целан участвовали во встрече писателей "Группы 47", проходившей в Ниендорфе и Гамбурге.

...вместе с "Отсроченным временем". — Речь идет о поэтическом сборнике Бахман (1953).

Хёллерер... — Вальтер Хёллерер (1922—2003) — немецкий писатель и литературовед, в то время один из издателей журнала "Акценте".

---

55. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

As Lines so Loves oblique may well
Themselves in every Angle greet:
But ours so truly Parallel,
Though infinite can never meet.

Therefore the Love which us doth bind,
But Fate so enviously debarrs,
Is the Conjunction of the Mind,
And Opposition of the Stars.

Andrew Marvell *The Definition of Love*, p. 77.

<Париж> 5 ноября 1957 года

Одно короткое сообщение, Ингеборг, которым я, вероятно, опережаю твой ответ: сегодня пришло письмо из Тюбингена, мне предлагают первую неделю декабря, я соглашусь. Я, наверное, поеду туда через Франкфурт, где хочу получить у Фишера гонорар за небольшой перевод, над которым сейчас работаю, а 29 или 30-го смогу быть в Мюнхене. Смогу остаться там на несколько дней, три или четыре, скажи мне, хочешь ли ты еще этого.

Жизель знает, что я поеду к тебе, она такая мужественная! Я от нее не уйду, нет.

И если ты не хочешь, чтобы я время от времени приезжал к тебе, то попытаюсь смириться и с этим. Но одно ты мне должна обещать: что будешь писать, посылать весточку о себе, раз в месяц.

Я вчера послал тебе три книги, для твоей новой квартиры. (Это так несправедливо, что у меня так много книг, а у тебя так мало.) Истории рабби Нахмана я совсем не знаю, но мне показалось, что книга стоящая, что она должна быть у тебя, и, кроме того, я люблю Бубера.

Ты знаешь эту английскую антологию? Похоже, она была у меня, когда ты приезжала в Париж, — а после каким-то образом пропала. Недавно, в поезде, когда мы уезжали друг от дру-

га, я открыл англ. антологию, подаренную мне в Вуппертале, и снова прочел стихотворение, которое раньше очень любил: "К стыдливой возлюбленной". В первые дни после возвращения я попытался его перевести, было трудно, но в конце концов оно получилось, за исключением нескольких строчек, которые мне еще предстоит привести в порядок, — потом ты его получишь. Читай и другие стихотворения Марвелла: наряду с Донном он, может быть, величайший из английских поэтов. И других тоже читай, они все этого заслуживают.

В стихотворении "День поминовения" я кое-что изменил; теперь это место звучит так:

Метеориты, звезды, черные, полные речью: названные в честь разъеденной молчанием клятвы.

As Lines so Loves oblique may well... — строфы из стихотворения Эндрю Марвелла "Определение любви". В переводе Григория Кружкова:

Ясны наклонных линий цели,
Им каждый угол — место встреч,
Но истинные параллели
На перекресток не завлечь.

Любовь, что нас и в разлученье
Назло фортуне единит, —
Души с душою совпаденье
И расхождение планид. (*Прим перев.*)

...письмо из Тюбингена... — Пауля Целана пригласили выступить с чтением стихов в Тюбингенском университете.

...гонорар за небольшой перевод... — Целан перевел эссе французского художника-абстракциониста Жана Базена (1904—2001) "Заметки о современной живописи".

Истории рабби Нахмана... — "Истории рабби Нахмана, пересказанные Мартином Бубером" (1922).

Ты знаешь эту английскую антологию? — Имеется в виду The Oxford Book of English Verse 1250—1918 (Oxford, 1939) — книга, которую Целан брал на время у своего друга, учителя английского языка Ги Фландра (и в которой остались его пометки).

...англ. антологию, подаренную мне в Вуппертале... — Антология английской поэзии в немецких переводах: Gedichte von Shakespeare bis Ezra Pound (Wiesbaden, 1955).

"К стыдливой возлюбленной". — Стихотворение Эндрю Марвелла (1621—1678).

56. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 7 ноября 1957 года

Можно, пошлю тебе два перевода, возникших несколько дней назад, по требованию госпожи Флоры Клее-Палий, у которой я гощу в Вуппертале и которая сейчас готовит для издательства "Лимес" французскую антологию?

Это немного, я знаю, но все же хоть несколько мгновений твои глаза на них отдохнут.

Поскольку через несколько дней я переезжаю, вчера мне пришлось рыться в старых бумагах. И я наткнулся на карманный календарь 1950 года. Под датой 14 октября обнаружил запись: "Ингеборг". В тот день ты приезжала в Париж. А 14 октября 1957-го мы были в Кёльне, Ингеборг.

О, часы глубоко внутри нас.

Пауль.

Я договорился о своем вечере в Тюбингене на 6 декабря, значит, к тебе смогу приехать до или после — пожалуйста, решай сама.

Приложения: переводы "Молитвы" Антонена Арто и "Зыбкого" Жерара де Нерваля.

...два перевода... — Помимо переводов, посланных в приложении к письму, в немецкоязычную Антологию французской поэзии от Нерваля до настоящего времени (под ред. Флоры Клее-Палий, Висбаден, 1958) вошли два переведенных Целаном стихотворения Робера Десноса (1900—1945).

...госпожи Флоры Клее-Палий... — Флора Клее-Палий (1897—1961) — австрийская художница, переводчица французских поэтов и составитель франко-немецких антологий; была узницей Терезиенштадта. Целан гостил у нее в октябре 1957 года.

58. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

29бис Рю де Монтевидео
с 20.XI.: 78 Рю де Лоншан, Париж, 16-й округ

9 ноября 1957 года

Ингеборг, любимая!

Еще письмо, и сегодня тоже, я не могу от него оторваться, хотя и убеждаю себя, что всем этим только создаю путаницу, что говорю о вещах, о которых ты, вероятно, предпочла бы не заговаривать. Прости.

Позавчера я был у принцессы, речь (как и при первом моем посещении) сразу зашла о тебе, я обрадовался, что могу со спокойной душой произнести твое имя, принцесса постоянно говорила об "Ингеборг", и в конце концов я тоже сказал: Ингеборг.

Ты, если я правильно ее понял, написала "пьесу" (une pièce): могу я ее прочесть, ты мне пришлешь?

И потом, от избытка чувств, я сделал нечто такое, что, наверное, намного превышает мою компетенцию: принцесса заговорила о немецких материалах для весеннего выпуска Б. О., и тут мне в голову (не совсем неожиданно, должен признать), пришла мысль предложить ей, чтобы эту подборку текстов подготовили мы вдвоем, ты и я. Это, конечно, было с моей стороны очень нескромно, прости; ты можешь, как, наверное, делала и раньше, подготовить эту подборку сама, зачем, собственно, тебе нужен я? Не сердись, Ингеборг: то, что я произнес вслух, было только К-Тебе-Хотением, которое внезапно (или не так уж внезапно) поверило, что появился такой шанс, — там, где его никто не оспорит, — и пожелало, чтобы этот — по крайней мере этот — шанс у нас не отняли.

Принцесса согласилась, я ее застал врасплох, но окончательное решение за тобой: если ты не захочешь, все опять будет улажено.

"Боттеге оскуре": это обещает немного темноты и защищенности — ведь там нам никто не помешает обменяться рукопожатием и несколькими словами?

Завтра ты переезжаешь на новую квартиру: можно я скоро приеду и вместе с тобой пойду искать лампу?

Пауль.

...Б. О.... — Сокращенное название журнала "Боттеге оскуре".

...чтобы эту подборку текстов подготовили мы вдвоем, ты и я. — Ингеборг Бахман и Пауль Целан подготовили немецкий раздел выпуска журнала "Боттеге оскуре" (за 1958 год), куда вошли стихотворения Георга Гейма, Нелли Закс, Вальтера Хёллерера, Ханса Магнуса Энценсбергера, а также целановский перевод "Пьяного корабля" Артюра Рембо и драматический отрывок Гюнтера Грасса.

---

65. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Штутгарт, 5.12.1957

Четверг

Послезавтра, в субботу, я буду в Мюнхене — у тебя, Ингеборг.

Сможешь прийти на вокзал? Мой поезд прибывает в 12.07. Если не придешь, я через полчаса буду прохаживаться перед твоим домом по Франц-Йозефштрассе.

Завтра я буду в Тюбингене (Адрес: отель "Ламм" или книжный магазин "Озиандер").

Осталось два дня, Ингеборг.

Пауль.

...Штутгарт... — В Штутгарте Целан гостил у друзей — писателя Германа Ленца (1913—1998) и его жены Ханны.

---

89. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Мюнхен, 2. 02.1958
Воскресенье, вечер

Пауль!

Работа, которая так мучила и тяготила меня, завершена. И я сразу же сажусь за письмо к тебе, пока у меня еще не слипаются глаза.

По поводу новой катастрофы с Голлем: прошу тебя, похорони все эти истории в себе, и тогда, я уверена, они будут похоронены и вовне. Мне кажется, преследования только до тех пор затрагивают нас, пока мы готовы допустить, чтобы нас преследовали.

Истина ведь в том, что ты стоишь выше всех этих историй, а стало быть, со своей высоты можешь отбросить их прочь.

Я получу "Facile"? Все на самом деле стало легко и просто, и ты ни секунды не думай о том, что мне страшно. Очень страшно мне было после Кёльна. Теперь — уже нет.

В последнее время я боюсь не за нас с тобой, а за Жизель и тебя, боюсь, что ты потеряешь ее прекрасную тревожную душу. Но ты теперь и сам вновь обретешь зрение, и сможешь рассеять тьму и для нее тоже. Я в последний раз заговариваю об этом, и ты можешь промолчать в ответ.

После твоего отъезда я впервые снова работала с удовольствием, и даже многочасовое, монотонное перепечатывание на машинке доставляло мне радость, я вся свечусь от усердия.

Разве это не хорошо? Скоро отправлюсь в Тюбинген. По твоим следам.

Ингеборг.

Работа... завершена. — Радиопьеса "Добрый бог Манхэттена".

...новой катастрофы с Голлем... — Эрхарт Кестнер (1904 — 1974) — немецкий писатель, представлявший Целана во время вручения поэту литературной премии города Бремена, среди возможных источников его поэзии назвал творчество Ивана Голля и его жены Клэр Голль. Текст речи Кестнера был опубликован во "Франкфуртер аллгемайне цайтунг", и Целан крайне болезненно отреагировал на этот пассаж, поскольку увидел в нем продолжение "дела о плагиате", инспирированного в свое время Клэр Голль.

"Facile" ("Легко", 1935) — книга стихотворений Поля Элюара (1895—1952), из которой Пауль Целан перевел одно стихотворение.

По твоим следам. — Целан выступал с чтением своих стихов в Тюбингене в декабре 1957 г.

---

90. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 8.2.58.

Май — мой вечер в Дюссельдорфе — еще далеко, не знаю, сумею ли ждать так долго, я попытаюсь писать сквозь это долгое время.

Странно, на сей раз я перевел кое-что с русского: главное, как я думаю, стихотворение революции, вот оно (прости, оригинал послан в издательство Фишера, ты получишь только копию) — скажи, если можешь, понравилось ли, я там затрагиваю удивительные регистры...

Второе, переведенное вчера, — стихотворение Есенина, одно из самых красивых у него.

Получила ли ты "Facile"? Скажи.
Послала бы ты мне копию твоей радиопьесы!

Ты ведь понимаешь, Ингеборг. Ты все понимаешь.

Паулъ.

Приложения: переводы поэмы "Двенадцать" Александра Блока и стихотворения Сергея Есенина "Устал я жить в родном краю..."

...главное, как я думаю, стихотворение революции... — Речь идет о поэме Александра Блока "Двенадцать", которую Пауль Целан перевел за три дня, 2—4 февраля 1958 года.

...твоей радиопьесы! — Радиопьеса Ингеборг Бахман "Добрый бог Манхэттена" была написана летом и осенью 1957 года.

---

104. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Мюнхен, 5 октября 58 года

Пауль, дорогой Пауль!

Я так долго молчала и все же постоянно думала о тебе, ибо молчание показалось мне более честным в то время, за которое я смогла бы написать тебе только одно письмо, где бы ни слова не было о том, что на самом деле происходило. И все же я очень мучилась, ведь я так боялась за вас в эти уже миновавшие беспокойные парижские дни!

Нынешние август и сентябрь: полные сомнений, и все то новое, что случилось. Помнишь, в тот послеполуденный час, когда мы вышли из твоего дома на рю де Лоншан, пили в кафе перно и ты пошутил — не влюблена ли я? Тогда это было не так, а позднее все произошло очень странным образом, только я не прибегну к таким словам. Несколько дней назад я вернулась из Каринтии, где провела последнее время... нет, я начну иначе, не стану тянуть. В эти последние дни, мои первые в Мюнхене, сюда приехал Макс Фриш, приехал, чтобы спросить меня, смогу ли я жить с ним вместе, и вот теперь все решилось. Я останусь в Мюнхене еще месяца на три, а потом перееду в Цюрих. Пауль, если бы ты был здесь, если бы я могла с тобой поговорить! Я рада случившемуся, я чувствую себя защищенной его любовью, добротой и пониманием, и я лишь иногда печалюсь

о самой себе, потому что страх и сомнения не совсем покинули меня, они касаются только меня, а не его. Думаю, что имею право так сказать, ведь мы с тобой знаем — для нас почти невозможно жить с другим человеком. Но поскольку мы это знаем, поскольку мы не обманываем себя и не пытаемся обмануть другого, то может получиться что-то хорошее и доброе, если каждый день прилагать усилия, я теперь все же в это верю.

Хотела бы я пробраться в твои мысли, когда ты прочтешь это письмо. Думай обо мне хорошо!

Когда ты приедешь? Или мне приехать куда-то? Ты приедешь ко мне? Скажи! Я могу открыто видеться с тобой и всегда смогу, я этому очень рада.

Пошли мне свои стихи, всё, что есть нового! И вымолви хоть слово!

Ингеборг.

P. S.

Около двух месяцев назад я снова написала Эжену Вальтеру, я полагаю, что все теперь уладилось, я это сделала еще до того, как пришло твое письмо. Выехав из Неаполя, я хотела сделать остановку в Риме и навестить принцессу, но я была тогда не в состоянии видеть людей, все вокруг, и просто не смогла. И без того здесь, в Мюнхене, приходится подчиняться обстоятельствам (мне придется еще месяц отработать на телевидении), снова люди вокруг, почта, скопившаяся за три месяца, я совершенно потеряла голову, все путаю и привожу в беспорядок.

Зато здесь побывал Клаус, он поднялся по лестнице как раз в тот момент, когда я стояла с чемоданами перед дверью, только что с вокзала, и он был счастлив, рассказывал о Париже и Трире, это было прекрасно, и мы провели вместе два вечера, прежде чем он вместе со своими картинами вернулся в Вену. Сколько раз я в наших разговорах произносила имя Пауль...

И.

...беспокойные парижские дни! — В сентябре 1958-го по Парижу в преддверии референдума о судьбе французских колоний прокатилась волна терактов.

...теперь все решилось. — Ингеборг Бахман жила со швейцарским драматургом и прозаиком Максом Фришем (1911—1991) с ноября 1958-го по осень 1962 года.

...Эжену Вальтеру... — Эжен Вальтер (Юджин Уолтер; 1921—1998) — американский сценарист, поэт, издатель, с 1950-го жил в Париже и Риме, где редактировал журнал "Боттеге оскуре".

105. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 9 октября 1958 года

Моя дорогая Ингеборг!

Я должен подумать что-то доброе, для тебя, говоришь ты, — я охотно это думаю, думаю так, как, предваряя меня, думает твое письмо, из которого однозначно говорит доброе. Защищенность, доброта, любовь и готовность к пониманию: ты обо всем этом говоришь, и уже сама способность-к-такому-говорению — порука, что для тебя это сбудется. Возможно, говорю я себе, тебе не стоит так надолго задерживаться в Мюнхене: три месяца это долгий срок.

Удавалось ли тебе и работать? Не забывай, ты хотела мне что-то послать, прозу или стихи.

Я говорю сердцу, чтобы оно пожелало тебе счастья, — оно и так желает, охотно, без подсказки: ему ведь слышно, как ты надеешься и веришь.

Пауль.

...9 октября... — На почтовом штемпеле указано другое число: 8 октября.

---

106. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Мюнхен

Воскресенье, 26. 10. 1958

Пауль!

Спасибо тебе! Ты видел все дальше, чем я, и сказал мне, не знаю почему, что мне надо уехать отсюда раньше, и вот я на самом деле скоро уезжаю из Мюнхена, 15 ноября. Я скучаю по покою и порядку, а здесь одно сплошное беспокойство, слишком много равнодушия, столько помех, которые я с каждым днем ощущаю все сильнее.

Сначала у меня будет в городе своя квартира (Цюрих, по адресу: семья Хонеггер-Лафатер, Фельдэгштрассе, 21), но потом, весной, перееду в сельскую местность, неподалеку от города.

У меня здесь были трудные дни, много сомнений, бездна отчаяния, но все страхи надо адресовать лишь реальности и растворять их в ней, а не накапливать в голове.

Ты мне не сказал, когда приедешь, когда мы сможем увидеться. Ты не прислал своих стихов! Не убирай от меня свою руку, Пауль, пожалуйста, не убирай!

И напиши мне о себе, о своих днях, мне нужно знать, на чем ты стоишь.

Твое прекрасное, милое письмо, еще раз и еще много раз я радуюсь ему — никакой "тишины".

Ингеборг.

...никакой "тишины". — Аллюзия на стихотворение Целана "Тишина!" ("Тишина! Я вонзаю шип в твое сердце...").

---

112. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 2.XII.58.

Дорогая Ингеборг,

посылаю тебе копию одного сообщения о моем боннском вечере. (Отрывок из письма некоего студента.) Скажи мне, пожалуйста, что ты об этом думаешь.

Пауль.

112.1. Приложение (отрывок из письма Жана Фиргеса)

"...Другие высказывали мнение, что Ваша манера произносить заголовки стихотворений напоминает комика Хайнца Эрхардта. (Я с этим мнением не согласен.) Но главным образом всех возмутила пафосность того места, где речь идет об "осанне". Уже после окончания вечера мне на глаза попался несправедливый критический выпад в форме карикатуры. На ней был изображен согнувшийся скованный раб, сопением выражающий протест против своих цепей. Под рисунком значилось (здесь-то и начинается подлость): осанна Сыну Давидову!"

...о моем боннском вечере. — Вечер Целана состоялся 17.11.1958 в Боннском университете.

...Жана Фиргеса. — Жан Фиргес (р. 1934) — бельгийско-немецкий литературовед и прозаик, первым написал докторскую диссертацию о поэзии Целана. Публикуемый здесь отрывок из письма Фиргеса (от 19.11.1958) Целан в тот же день послал писателям Вальтеру Хёллереру, Генриху Бёллю, Паулю Шаллюку и Рольфу Шрёрсу.

...речь идет об "осанне". — В стихотворении "Стретта": "...эти // хоры, некогда, эти / псалмы. О, о- / санна". Перевод Ольги Седаковой. (*Прим. перев.*)

---

113. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Цюрих

<Цюрих> 10.XII.58

Пауль!

Размышляю над твоим вопросом и над этим письмом, не могу записать всего, о чем думаю, начну, пожалуй, с конца. Считаю, что на твой вопрос нет ответа — ни для тебя, ни такого, который кто-то мог бы дать за тебя в качестве возражения на эту публикацию: ей место в корзине для мусора. Нам ведь известно, что такие люди существуют, в Германии ли или где-то еще, и мы бы очень удивились, если бы все они вдруг разом исчезли. Скорее вопрос тут в том, готов ли ты, входя в зал, заполненный людьми, которых ты специально не отбирал, все-таки читать для тех, кто хочет тебя слушать и кому стыдно за тех, других. Практически лишь с этой позиции можно что-то сделать, принять какое-то решение.

Я не знаю, как изгнать зло из мира, не знаю также, нужно ли его просто терпеть. Но ты ведь существуешь, ты здесь, и ты оказываешь какое-то воздействие, а твои стихи действуют сами по себе и защищают тебя — вот в чем ответ и противовес такому миру.

23 декабря

Рождество совсем близко, мне нужно торопиться. Сегодня утром пришла посылочка от вас; я положу ее завтра утром под

рождественскую елку, только потом открою. На прошлой неделе я вам тоже кое-что послала и очень надеюсь, что все дойдет в целости и вовремя. Сразу после Нового года я на несколько дней поеду к своим родителям, надо кое-что обсудить с ними. Мой брат собирается на практику в Израиль. Он принял решение самостоятельно, и меня это радует, по поводу и без повода.

Завтра буду думать о вас. Об Эрике, который сделает этот вечер всамделишным. Нам это удается с трудом.

С любовью.

Ингеборг.

P. S. Получила письмо от принцессы; она послала Нелли Закс 100 долларов, оплатила публикацию Гейма и высылает чеки другим авторам. Прошу тебя, напиши мне, получил ли ты от нее что-нибудь! Я в любом случае, не дожидаясь твоего письма, напишу ей несколько слов, чтобы все было в порядке: она сама просила меня напоминать ей обо всем, так что это будет выглядеть вполне естественно.

---

117. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Цюрих, 8 февраля 1959 года

Пауль, письмо не сразу написалось, потому что мне пришлось пережить несколько трудных дней, весьма волнительных, а тут еще и грипп, ничего серьезного, но у меня ни на что нет сил, не могу работать, а ведь перед этим все так хорошо шло. И вот теперь опять: холостой ход, сомнения, подавленное состояние.

Непременно хочу увидеть тебя и прикидываю лишь, что́ удобнее, Базель или Страсбург, на этот раз, в первый раз после такой перемены в моей жизни. Не лучше ли нам повидаться в Цюрихе? Причина в том, что для Макса было бы легче, если бы ты с ним встретился; он уже давно просил меня, чтобы мы не исключали его из своего круга. Не знаю, получается ли у меня все объяснить — он знает, что́ ты значишь для меня, и никогда не будет возражать против наших встреч, в Базеле, Париже или где-то еще, но я не должна вести себя так, чтобы у него возникло ощущение, будто я с ним тебя избегаю или его — с тобой.

Скажи, как ты к этому относишься! Могу предположить, что тебе будет нелегко, возможно, даже тяжело поддерживать с ним контакт, но ведь познакомиться друг с другом все же можно. И нисколько не сомневайся, не бойся, что у нас с тобой в Цюрихе будет мало времени друг для друга.

Я пока не говорила Максу, что мы с тобой собираемся увидеться, потому что должна сначала услышать ответ от тебя.

Прошу тебя, Пауль, теперь о другом, поскольку мне надо кое-что сказать тебе по поводу телефонного разговора: ты ставишь меня в трудное положение только в том случае, когда начинаешь предполагать, что я могла что-то понять неправильно. Говори мне все, что хочешь сказать, и обдуманное, и необдуманное, для меня все годится — все правильно и все годится.

Твой Блок великолепен, ненарочито необуздан — вулканический взрыв немецкой речи, вызывающий изумление. Я счастлива им, он весь — целое и единое!

Скоро выйдут твои стихи, снова связанные с нашим с тобой временем. (Не забудь позаботиться об обложке, тут порой случаются неприятные сюрпризы.)

Думаю о тебе сильно и много!

Ингеборг.

...стихи, снова связанные с нашим с тобой временем. — Имеется в виду сборник "Решетка языка", в четвертом разделе которого содержатся стихи, написанные между октябрем 1957-го и январем 1958 года.

---

123. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 2 марта 1959 года

Дорогая Ингеборг,

прежде всего позволь поздравить тебя с премией. Тут ведь приложили руку слепые, однако один из них, должно быть, оказался зрячим — а может, даже многие.

О себе я мало что могу сообщить. Ежедневно сталкиваюсь с подлостями, их мне подносят в изобилии, на каждом перекрестке. Последнего "друга", который премировал меня (и Жизель) своей лживостью, зовут Рене Шар. Почему бы и нет? Я ведь переводил написанные им стихи (к сожалению!), поэтому дело не могло обойтись без его благодарности, которую

я имел удовольствие испытывать на себе и раньше — правда, в меньших дозах.

Ложь и подлость. Почти повсюду.
Мы одиноки и беспомощны.
Передай привет Максу Фришу —
Пусть тебе будет хорошо и легко —

Твой Пауль.

...с премией. — За радиопьесу "Добрый бог Манхэттена" Ингеборг Бахман в 1959 году получила премию Союза слепых ветеранов войны.

...Рене Шар. — Что конкретно имеет в виду Целан, неясно. Встреча между ним и французским поэтом Рене Шаром (1907—1988) состоялась 27.01.1959.

---

197. Пауль Целан — Максу Фришу

78, Рю де Лоншан

Париж, 14 апреля 1959 года

Дорогой Макс Фриш,

я вчера позвонил, неожиданно, в надежде, что Вы, как уже было однажды — но тогда я на это не рассчитывал, — окажетесь у телефона; я хотел попросить у Вас совета, договориться о встрече и разговоре, в Цюрихе или в Базеле, хотел спросить, что можно сделать — ведь что-то делать надо! — в связи с такой ложью, и подлостью, и гитлеризмом, распространяющимися шире и шире: ибо несколько часов назад я получил письмо от Генриха Бёлля, в очередной раз показавшее мне, сколько низости таится в душах людей, от которых, как мы легковерно полагаем, — но кто, если хочет сохранить веру в человека, откажется от легковерия? — что-то "зависит".

Увы, стоит поставить им на вид то, что они в действительности делают и чем являются, как они мгновенно предстают в своем истинном облике. Такой (отнюдь не новый) жизненный опыт я теперь приобрел и относительно Бёлля. Не то чтобы я не был к этому готов; но что все получится именно так, так однозначно в своей подлости, — этого я, видит Бог, не ждал.

И потому я позвонил, чтобы спросить Вас и Ингеборг: можно ли мне со всеми этими вопросами и недоумениями —

которые известны и Вам, причем с давних пор и во всяческих обличьях! — приехать в Цюрих, примерно через неделю? Пожалуйста, скажите, удобно ли это вам: я могу — в самом деле — приехать и позже (а до того момента и после него продолжать жить со своими вопросами), скажем, в мае, по пути в Австрию (где мы хотим провести лето), или в июне.

Извините, пожалуйста, за спешку и за отрывочность этих строк и примите мой самый сердечный привет.

Ваш Пауль Целан.

...письмо от Генриха Бёлля... — 2.12.1958 Целан послал Генриху Бёллю копию отрывка из письма Фиргеса (см. письмо № 112), на что Бёлль ответил (лишь 3.04.1959), что по-настоящему выскажется об этом инциденте в своем следующем романе. На раздраженное письмо Целана (от 8.04.1959) Бёлль ответил столь же раздраженным письмом, а 10.08.1959 Целан мог прочесть во "Франкфуртер аллгемайне цайтунг" очередную часть печатавшегося с продолжениями романа Бёлля "Бильярд в половине десятого". Рассказчик там вспоминает о своем дяде, двадцатилетнем учителе: "...а в сумерках, гуляя вдоль болота, грезил о девичьих губах, о хлебе, о вине и о славе, которую должны были принести ему, в случае удачи, его стихи; вот какие сны снились ему на заболоченных тропках два года подряд, пока кровохарканье не оборвало жизнь учителя и не унесло его к темному берегу; после него осталась тетрадка стихов в четвертушку листа, черный костюм, перешедший по наследству ко мне..." Чуть ниже рассказчик описывает себя самого в юности, и этот портрет будто списан с фотографий Целана: "...я был хрупкий, можно сказать, маленький и походил не то на молодого раввина, не то на художника; волосы у меня были черные, и весь я был в черном; нечто неуловимое в моей внешности обличало во мне провинциала" (глава четвертая; перевод Л. Черной). (*Прим. перев.*)

...по пути в Австрию... — Пауль Целан отдыхал в Криммле под Зальцбургом с 26 мая по 28 июня 1959 года, совершая оттуда короткие поездки в Вену и Инсбрук.

---

198. Макс Фриш — Паулю Целану

Утикон, 16.04.59

Уважаемый и дорогой Пауль Целан!

Только что получил письмо от Вас. Перед этим я отнес на почту письмо Инги к Вам. Приезжайте поскорее! Прошу снисхождения, если это письмо не очень похоже на непосредственную реакцию. Письмо с непосредственным откликом я напи-

сал Вам вчера вечером, но госпожа решила, что в нем содержится одно неуместное придаточное предложение, мелочная, болтливая фраза, касательно "фольксвагена", на котором Вас встретят и привезут к нам, а в мои привычки не входит дезинфекция подобных "непосредственных" писем. Мы, следовательно, повздорили! — в остальном же письмо, которое я скомкал и выбросил, было попыткой сообщить Вам, что я воистину рад предстоящей встрече, что я с некоторых пор желаю этой встречи, что я испытываю при этом некоторую робость, поскольку знаю о Вас много, от Инги, и одновременно очень мало, робость не из-за Инги, а в виду Вашего творчества, которым я, будучи в некотором объеме с ним знаком, восхищаюсь, робость же — потому что до сего времени оно оставалось для меня не вполне доступным. Полагаю, что Утикон — лучше, чем Базель, где встречаются обычно в каком-нибудь ресторане; здесь неподалеку, в двух сотнях шагов от нашей квартиры, есть очень милый отель, где Вы можете остановиться, и у нас здесь очень тихо и покойно, мы можем даже совершить поездку в окрестности. Оставайтесь не на слишком короткий срок! Надо дать себе шанс: после всякой беседы — ведь утро вечера мудренее — на следующий день можно лучше понять собеседника, продолжив разговор. Не останетесь ли Вы на несколько дней? Поверьте мне, что я очень рад.

В ожидании Вашего приезда.

Сердечно Ваш

Макс Фриш.

---

143. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 17.X.59.

Дорогая Ингеборг,

прилагаемая рецензия дошла до меня сегодня утром — пожалуйста, прочитай и скажи, что ты о ней думаешь.

Пауль.

143.1. Приложение (Гюнтер Блёкер. Рецензия на "Решетку языка")

Заглавие нового поэтического сборника Пауля Целана необычайно метко и вместе с тем разоблачительно. Тонкие линии этих стихов действительно образуют языковую решетку. Только напрашивается вопрос: что через такую решетку можно увидеть. На вопрос этот – как всегда происходит с Целаном – ответить трудно, потому что его лирика редко бывает обращена к объекту. Как правило, ее словесная филигрань, напоминающая нити паутины, порождается, так сказать, самими языковыми железами. Изобильные метафоры Целана никогда не заимствуются у реальности и не служат ей. Обычный поэтический образ – то есть лучше понятая, точнее увиденная и чище воспринятая реальность – остается у него исключением. Его образная речь живет собственной милостью. Читатель присутствует при своего рода абиогенезе образов, которые затем соединяются в языковые плоскости. Существенно тут не мировоззрение, а комбинаторика.

Даже там, где Целан вводит в игру природу, не возникает лирического именования в духе классического пейзажного стихотворения. Тимьянный ковер в "Отчете о лете" не опьяняет нас, ибо он лишен аромата – характеристика, вполне применимая к этой лирике в целом. Стихи Целана – преимущественно графические фигуры. Вовсе не очевидно, что даже музыкальность может служить адекватной заменой отсутствующего в них чувственного восприятия вещного мира. Правда, автор охотно работает с музыкальными понятиями: вспомним хотя бы весьма прославленную "Фугу смерти" из "Мака и памяти" или, в рецензируемом сборнике, "Стретту". Однако все это напоминает упражнения в контрапункте на нотной бумаге или на обеззвученных клавишах – музыку для глаз, оптические партитуры, которые никогда не обретут полноценного звучания. Редко в этих стихах звук поднимается до того рубежа, где он может принять на себя смыслообразующую функцию.

Целан относится к немецкому языку с бóльшей свободой, чем большинство его коллег по поэтическому цеху. Это, возможно, объясняется его происхождением. Коммуникативный характер языка сдерживает и отягощает его меньше, чем других. Правда, именно по этой причине он часто поддается соблазну действовать в пустоте. Нам же представляются наиболее убедительными именно те стихи Целана, где он еще не полностью отказался от контакта с реальностью, лежащей за пределами его увлеченного комбинаторикой интеллекта. Стихи, скажем так, в духе начальных строк "Ночи":

Галька и гравий. И звон черепка, тонко, –
утешением от этого часа.

Особенно мне нравится здесь, как ночной страх (спотыкающееся "галька и гравий"!) смягчается шорохами и как "звон черепка, тонко" предвосхищает ощущение успокоенности, возникающее от следующей фразы с ее "темной" гласной "у": "утешением от этого часа". Или – как в стихотворении "Этот мир" голые древесные стволы превращаются в знамена, под которыми сражается покинутый человек:

/ Два древесных древка.....знамен. /

Вот настоящие лирические метаморфозы, пребывающие по ту сторону одержимости чистой комбинаторикой. В таком направлении можно было бы помыслить дальнейшее развитие нашего автора – вполне в духе его утверждения, что поэт – это человек, который "в поисках действительности, израненный ею, <...> устремляется вместе со своим бытием к языку".

Гюнтер Блёкер "Дер Тагесшпигель". Берлин, 11.X.59.

...прилагаемая рецензия... – Рецензию Гюнтера Блёкера (1913–2006) на свой поэтический сборник "Решетка языка" (1959) Целан получил от живущей в Берлине знакомой Эдит Арон (в письме от 14.10.1959). В тот же день он послал копию рецензии Рольфу Шрёрсу, а 23.10.1959 отметил в дневнике, что ни от кого не получил ответа. Ответ самого Целана на эту рецензию см. в приложении к письму 201.

..."в поисках действительности <...> к языку". – Цитата из речи Целана при получении Литературной премии Вольного ганзейского города Бремена.

---

201. Пауль Целан — Максу Фришу

<Париж> 23.X.59.

Дорогой Макс Фриш,

гитлеризм, гитлеризм, гитлеризм. Те самые фуражки.

Вы уж взгляните, пожалуйста, что пишет господин Блёкер – первейший немецкий критик нового поколения, милостью господина Рихнера; автор, ах, сочинений о Кафке и Бахман.

Всего доброго!

Ваш Пауль Целан.

201.1. Приложение

Пауль Целан
78, Рю де Лоншан (16 округ)

Париж, 23 октября 1959

(Надписано)

В редакцию литературного приложения к газете "Тагесшпигель", Берлин

Поскольку я, как бы ни обстояли теперь дела в Германии, не могу допустить, чтобы один из ваших, надеюсь, многочисленных читателей сказал по поводу появившейся в вашем выпуске от 11 октября сего года рецензии на мои стихотворения (рецензент: Гюнтер Блёкер) то, что тут необходимо сказать, я это сделаю сам: это, как и моя бóльшая свобода по отношению к немецкому языку – родному для меня, – возможно, объясняется моим происхождением.

Я пишу вам письмо: ибо коммуникативный характер языка сдерживает и отягощает меня меньше, чем других; я действую в пустоте.

"Фуга смерти" – а сегодня я вынужден признаться, что являюсь ее легкомысленным автором – в самом деле представляет собой графическую фигуру, в которой звук не поднимается до того рубежа, где он может принять на себя смыслообразующую функцию. Существенно тут не мировоззрение, а комбинаторика.

Освенцим, Треблинка, Терезиенштадт, Маутхаузен, убийства, отравляющие газы: даже там, где мое стихотворение вспоминает о них, получаются лишь упражнения в контрапункте на нотной бумаге.

Сейчас действительно самое время разоблачить того, кто, хотя и не вполне утратил память, пишет стихотворения по-немецки – это, возможно, объясняется его происхождением. Для разоблачения настоятельно рекомендуется употреблять такие проверенные выражения, как "увлеченный комбинаторикой интеллект", "лишенный аромата" и тому подобное. Впрочем, некоторые авторы – это, возможно, объясняется их происхождением – в один прекрасный день сами себя разоблачают; тогда достаточно вкратце намекнуть на уже имевшее место саморазоблачение; после чего можно спокойно продолжать писать о Кафке.

Но, возразите вы, под "происхождением" рецензент подразумевает всего лишь место рождения автора этих графических фигур. Я вынужден с вами согласиться: реальности Блё-

кера — и не в последнюю очередь дружеские советы в конце его рецензии — определенно свидетельствуют в пользу такого толкования. Значит, мое письмо — скажете вы теперь, как бы ставя точку, — не имеет ничего общего с вышеупомянутой рецензией. Я и на сей раз с вами соглашусь. Действительно. Ничего общего. Ни малейших точек соприкосновения. Ведь я действую в пустоте.

(*Пауль Целан*)

P. S. Всё в этом письме, что подчеркнуто, вышло из-под пера вашего сотрудника Блёкера.

Второе приложение: копия рецензии Гюнтера Блёкера "Стихотворения как графические фигуры".

...милостью господина Рихнера... — Макс Рихнер (1897—1965) — заведующий литературным отделом цюрихской газеты "Ди Тат"; одним из первых на Западе опубликовал в 1948 году несколько стихотворений Целана. Какое отношение он имеет к Блёкеру, непонятно.

...сочинений о Кафке и Бахман. — В сборнике статей Гюнтера Блёкера "Новые реальности" (Дармштадт, 1957) имеется эссе о Кафке. Блёкер с самого начала писал рецензии на произведения Бахман; его рецензия на радиопьесу "Добрый бог Манхэттена" появилась в газете "Цайт" 17.10.1958.

---

203. Макс Фриш — Паулю Целану

Утикон, 6.11.59

Дорогой Пауль Целан!

Написал Вам уже четыре письма, очень длинные, а потом еще и пятое, короткое, ни одно не отправил. Однако не ответить Вам я не могу. Что же мне написать Вам? Мое политическое согласие с Вами, на которое Вы, естественно, можете рассчитывать, лишь заслонило бы собой то, что особенно задело меня в Вашем коротком письме, — Вашу личную проблему, о коей мне не приличествует рассуждать, в особенности потому, что Вы представили ее мне не как таковую, а как проблему политическую, объективную. Поверьте мне, я пребываю в подлинном замешательстве, и письмо к Вам занимает меня уже несколько дней, я потратил на него все утренние и

все вечерние часы. Вы удостаиваете меня кредитом доверия, предполагая, что я не являюсь антисемитом. Поймете ли Вы, если я скажу, что не знаю, как таким кредитом распорядиться? Я не имею ни малейшего представления, в чем еще удостаиваете Вы меня доверием. Мой жизненный опыт подсказывает, что с точки зрения человеческих отношений ничего хорошего не получится, если, как это могло бы произойти между Вами и мной, я просто призна́ю Вашу правоту, и я обеспокоен тем, что мне отводят достаточно ограниченную роль надежного противника нацизма. Ваше письмо, дорогой Пауль Целан, не адресует мне вопроса, оно дает мне шанс хорошо зарекомендовать себя, если я отреагирую на критику Блёкера так же, как Вы. Именно это и вызывает во мне неприятие. После стольких несостоявшихся писем я хотел было написать Вам: да, Вы правы, Вы правы. Я хотел подчиниться. Как же мне трудно дается это подчинение, дорогой Пауль Целан. Помните нашу встречу в Сильсе: я так обрадовался, увидев Ваше лицо и услышав Ваш голос, после того как Ваше имя — а оно для меня давно уже было именем поэта — стало играть важную роль в моей самой что ни на есть личной жизни. Я тогда боялся Вас, теперь я снова Вас боюсь. Способны ли Вы на дружбу? Даже в том случае, если я в чем-то не согласен с Вами? Могу Вас заверить, что меня тоже ужасают симптомы гитлеризма, укажу далее на то, что новые угрозы, как нам обоим известно, едва ли можно распознать по признаку схожести с гитлеризмом прошлого. Однако если мы хотим мыслить политическими категориями, нам, как мне кажется, следует абстрагироваться от всех ситуаций, к которым может быть примешан вопрос о том, как нам следует относиться к литературной критике вообще. Не знаю, бывает ли так с Вами, но со мною бывает: я радуюсь, когда выясняется, что критик, задевший мое самолюбие, с политической точки зрения представляет сомнительную фигуру. А что меня, к примеру, обижает больше всего, так это не разгромная рецензия, а звучащие в ней полутона признания, которые показывают: критик (как бы ублюдочно он ни выражался) почуял мою сегодняшнюю слабину или пределы, которые мне вообще не дано переступить. С определенного возраста, а именно с той поры, когда наш путь уже отмечен некоторыми достижениями, мы меньше страдаем от какой-то случайной неудачи, чем от вдруг обнаружившихся пределов наших возможностей как таковых, и я могу предположить, что от этого страдает даже человек, чьи возможности огромны и необычны, то есть такой человек как Вы. Не обижайтесь на меня, дорогой Пауль Целан, если я позволю себе

вспомнить, сколь болезненно действует на нас публичное непонимание и в том случае, когда нет причины подозревать критика в антисемитизме. ГИТЛЕРИЗМ, ГИТЛЕРИЗМ, ГИТЛЕРИЗМ. ТЕ САМЫЕ ФУРАЖКИ! — пишете Вы. Я считаю, что рецензия Блёкера нехороша, она не свободна от двусмысленных выражений, в этом я с Вами согласен, хотя позволю себе заметить и другое: и Ваш ответ на рецензию, хотя он являет собой шедевр словесного остроумия, тоже нехорош. Ваш ответ *принуждает* меня (хотя я уважаю Вас добровольно, без принуждения) уважать Вас, то есть безоглядно поверить в то, что Вы, дорогой Пауль Целан, совершенно свободны от побуждений, которые воздействуют на нас всех, от побуждений, связанных с тщеславием и оскорбленным самолюбием. Ибо если в Вашем гневе содержится хотя бы искорка этих чувств, то взывать к памяти о лагерях смерти, как мне кажется, непозволительно и чудовищно. Впрочем, кому я это говорю! Когда Вы превращаете литературную критику, подобную блёкеровской, в политический феномен, то с одной стороны, как я полагаю, это справедливо, с другой же — нет, и одна проблема представляет другую в ложном свете. Мне нелегко отправлять это письмо, которое может привести к тому, что Вы от меня отвернетесь или же отмолчитесь, что означало бы конец нашей дружбы, еще по-настоящему не начавшейся. Возможно, в том, что я понимаю под дружбой, Вы вовсе и не нуждаетесь, не желаете ее, но дружба — единственное, что я готов предложить.

От всего сердца Ваш

Макс Фриш.

---

144. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Кирхгассе, 33

Цюрих, понедельник. /9 ноября 1959 года/

Дорогой Пауль!

Я ненадолго съездила в Германию и вернулась больная — грипп, жуткая головная боль, поэтому не получилось написать тебе сразу. А вот теперь по другой причине не получается написать тебе так, как обычно, поскольку я узнала, что Макс написал тебе письмо, и это навалилось на меня — нава-

лились мои страхи и беспомощность. Я могла бы воспрепятствовать отправлению его письма, но по-прежнему считаю, что не имела на это права, и вот теперь мне придется провести следующие дни в ожидании и неопределенности.

Я хочу вернуться к исходной точке и ответить тебе — независимо от всего этого, — но ответ мой не складывается, и не потому, что я лишена самостоятельности, а потому, что на первую проблему наваливается проблема вторая.

Ответил ли тебе Блёкер в какой-либо форме, и что он ответил? Мне хорошо известно, что он иногда запросто и самым легкомысленным образом может обидеть своей критикой, так он поступил и со мной, когда вышла вторая книжка моих стихов. Существует ли в случае с твоей книгой какая-то другая причина, не в антисемитизме ли тут дело? Получив твое письмо, я тоже так подумала, но не уверена полностью, поэтому и спрашиваю, ответил ли он тебе. Позволь, я начну о другом: Пауль, я порой боюсь, что ты вообще не замечаешь, насколько люди восхищаются твоими стихами, сколь велико их воздействие, и как раз твоя слава (позволь мне произнести это слово вслух, первый и последний раз, и не отмахивайся от него) служит и будет служить причиной тому, что многие будут стараться принизить ее, любым способом, и, наконец, существуют ведь и нападки беспричинные — словно все необычное, выпадающее из ряда, для людей невыносимо, словно они этого не желают терпеть. Мне бы лучше всего сейчас позвонить тебе, поговорить обо всем, но я боюсь подойти к телефону, ведь поговорить можно лишь очень коротко, да я и не знаю, как ты сейчас отреагируешь на мой звонок.

25 и 26 ноября я буду во Франкфурте, а потом — еще через две недели, в декабре, — выступлю с лекциями там же.

Если бы нам удалось повидаться! Если ты не сможешь хоть раз приехать зимой во Франкфурт, я попытаюсь приехать в Париж.

Дорогой Пауль, как мало в моем письме того, что волнует меня сейчас. Если бы твои чувства смогли дополнить написанное мною, пока я тебя снова не увижу!

Твоя

Ингеборг.

/9 ноября 1959 года/ — Дата вписана рукой Пауля Целана.

...съездила в Германию... — Ингеборг Бахман принимала участие в собрании "Группы 47" в замке Эльмау в конце октября 1959 года.

...Макс написал тебе письмо... — Письмо от 6 ноября 1959 года, по поводу которого Целан записал в своем дневнике: "Трусость, изолганность, низость".

...выступлю с лекциями там же. — С конца ноября 1959 года Ингеборг Бахман читала во Франкфуртском университете лекции о поэтике.

145. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 12 ноября 1959 года

Я написал тебе 17 октября, Ингеборг, — попав в беду.

23 октября, не дождавшись ответа, я, еще не справившийся с этой бедой, написал Максу Фришу. Потом, поскольку беда продолжалась, я пытался связаться с тобой по телефону, много раз — но напрасно.

Ты — как я узнал из газет — поехала на встречу "Группы 47" и там снискала большой успех рассказом "Всё".

Сегодня утром пришло наконец твое письмо, сегодня во второй половине дня — письмо от Макса Фриша. Что ты мне написала, Ингеборг, ты знаешь сама.

Что написал Макс Фриш, ты тоже знаешь.

Ты также знаешь — точнее, знала когда-то, — что́ я пытался выразить в "Фуге смерти". Ты знаешь — нет, знала раньше, — а потому должна теперь вспомнить, что "Фуга смерти" для меня, помимо прочего, вот что: надгробная надпись и могила. Кто пишет о "Фуге смерти" так, как написал этот Блёкер, — оскверняет могилы.

У моей мамы тоже есть только такая могила.

Макс Фриш подозревает меня в тщеславии и честолюбии; на мои написанные в беде фразы — да, там была всего одна фраза: но я (по глупости) верил, что за ней угадывается много других! — он отвечает различными aperçus[1] и предположениями касательно всяких проблем, возникающих у "писателя", — например, "нашего отношения к литературной критике вообще". Нет, я должен, хотя и думаю, что Макс Фриш сохранил копию своего письма — сам я тоже сейчас пишу под копирку... — процитировать еще одну его фразу: "Ибо если в Вашем гневе содержится хотя бы искорка этих чувств (имеются в виду "тщеславие и болезненное честолюбие"), то взывать к памяти о лагерях смерти, как мне кажется, непозволительно и чудовищно". Это пишет Макс Фриш.

1. Остроумными замечаниями (*франц.*).

Ты же, Ингеборг, пытаешься утешить меня моей "славой".

Как ни тяжело мне, Ингеборг, — а такое дается тяжело, — я прошу тебя больше мне не писать, не звонить и не посылать никаких книг; ни сейчас, ни в ближайшие месяцы — еще долго. Ту же просьбу я направляю через тебя Максу Фришу. И, пожалуйста, не ставьте меня в положение, когда я вынужден буду посылать ваши письма обратно!

Я, хотя перед глазами у меня стоит многое, не хочу продолжать это письмо.

Я должен думать о маме.

Я должен думать о Жизели и нашем ребенке.

Я искренне желаю тебе, Ингеборг, всего доброго! Пусть у тебя все будет хорошо!

Пауль.

...написал Максу Фришу. — См. письмо 201.

...письмо от Макса Фриша. — См. письмо 203.

...Я должен думать о маме. — Мать Пауля Целана, Фридерика Анчель (1895—1942?), была убита зимой 1942/1943 г. в Михайловке, немецком концентрационном лагере на Украине.

---

146. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 17.XI.59

Я беспокоюсь о тебе, Ингеборг.

Но ты должна понять: мой крик о помощи — ты его не слышишь, ты не в себе (где я надеюсь тебя застать), ты... в литературе.

А тут еще Макс Фриш, воспринимающий этот "случай" — на самом деле крик! — как нечто интересное в литературном плане...

Так что напиши, пожалуйста, или пошли мне — телеграммой — телефонный номер своей квартиры на Кирхгассе.

(Пожалуйста, не звони: у нас гость, Рольф Шрёрс...)

Пауль.

...квартиры на Кирхгассе. — Квартира Ингеборг Бахман в Цюрихе.

---

147. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Цюрих, 18.11.1959

Среда, полдень,

только что экспресс-почтой пришло твое письмо, Пауль, слава богу. Я снова могу дышать. Вчера я в отчаянии попыталась написать Жизели, недописанное письмо лежит передо мной, не хочу приводить ее в смятение, но передаю ей через тебя мою искреннюю просьбу отнестись ко мне по-сестрински, с чувством и пониманием, которое может донести до тебя мою беду, весь конфликт — и всю мою несвободу в том письме, плохом, я это знаю, лишенном жизни.

Последние дни здесь, с тех пор как получила твое письмо, — все было ужасно, во взвешенном состоянии, на краю разрыва, друг другу нанесено столько ран. Но я не могу и не имею права говорить о том, что происходит здесь.

А вот о нас с тобой я говорить должна. Нельзя такому случиться, чтобы ты и я еще раз потеряли друг друга, — меня это уничтожит. Ты говоришь, что я не в себе, а... в литературе! Нет, прошу тебя, это не так, куда завели тебя твои мысли? Я там, где я была всегда, только вся потерянная, готовая рухнуть под давящим грузом, как тяжело нести на себе даже одного человека, впадающего в одиночество под воздействием болезни и саморазрушения. Я знаю, мне надо быть еще сильнее, и я смогу.

Я услышу тебя, но и ты помоги мне — услышь меня. Шлю тебе телеграмму с номером телефона и молюсь о том, чтобы мы нашли нужные слова.

Ингеборг.

...что происходит здесь. — Имеются в виду отношения Ингеборг Бахман с Максом Фришем.

---

151. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Цюрих, 21.12.1959
Понедельник
20–12–1959

Дорогой Пауль!

Я долго не решалась написать и лишь поздравила тебя с днем рождения. Надеюсь, я что-нибудь придумаю или что-нибудь по-

может мне найти слова, которые помогли бы нам всем, ведь дело касается не только тебя и меня, и я надеюсь также, что Клаус обрисует тебе всю трудность здешней ситуации лучше, чем это получилось бы у меня в письме. Вчера вечером мы примерно на час увиделись с Клаусом, поговорить удалось немного, под шум громкоговорителей в кафе между двумя поездами, и лишь после этого все снова обрушилось на меня: вопросы, вопросы, и у меня такое чувство, будто я теперь знаю обо всем не больше, чем прежде, несмотря на то что милый Клаус очень старался все рассказать. Пауль, по этой причине мне придется сказать о некоторых вещах очень прямо, чтобы не осталось недомолвок и никакой неопределенности. Тот совет, который я не могла дать во время нашего телефонного разговора, — ты помнишь? Сначала вот что: все началось с того, что ты посчитал письмо Макса недостойным ответа и что оскорбление, связанное с твоим, содержащимся в письме ко мне, обидным отказом от письменного общения с ним, остается для него в силе и теперь, когда ты и я нашли друг для друга слова примирения. Макса же это не коснулось, ведь именно его письмо было главной причиной случившегося; больше того, это наводит его на еще худшие мысли, и по отношению ко мне тоже, поскольку ситуация выглядит так, будто мне есть дело только до тебя, до твоей беды, до наших с тобой отношений. Тогда, после твоего первого письма и раздора, которое оно вызвало между Максом и мной, так что я опасалась буквально за все, я смогла добиться только одного — чтобы мы с ним об этом молчали (и стало еще хуже: тягостное молчание между мною и Максом). А недавно Хильдесхаймер, который был здесь проездом, рассказал мне, что ты назвал поведение Макса "подозрительным"; мы говорили с глазу на глаз, и я Максу не стала это передавать, но рассказ Хильдесхаймера привел меня в ужас: я в таком случае не могу понять, чего ты от меня ждешь и как это молчаливое приятие оскорбления, этот стыд должны согласоваться с требованиями человека, с которым я живу, хотя бы самыми элементарными. Порой у меня все настолько путалось в голове, что я хотела уйти отсюда, навсегда, и не хотела тебя больше видеть — из-за этого, а еще и потому, что считала: либо я вас обоих сохраню, либо обоих потеряю, и оказывалась перед невозможным выбором. Но возможность существует, она должна существовать, вот только в одиночку ее не создать. Думаю, ты должен написать Максу, как бы там ни было, но написать с той четкостью, которая породит определенность. И я знаю, для него непереносимо — думать, что я должна загладить конфликт, который возник между вами.

Пауль, я догадываюсь, какую трудную пору ты пережил, но догадываешься ли ты, что произошло здесь, со мной, — в этом

я порой сомневаюсь. Я и Клаусу не все смогла рассказать, это было невозможно.

А еще эти нагрузки, Франкфурт, работа днем и ночью несколько недель подряд, ведение хозяйства на два дома, без прислуги, все сошлось вместе так, что хуже не бывает, — я порой удивляюсь, что еще держусь на ногах. Дальше так невозможно, и как только закончится семестр, мы уедем в деревню, в Южную Швейцарию или Северную Италию, насовсем, — если только удастся до того времени продержаться.

А еще впереди Рождество. В Каринтию я не поеду, нужно работать, праздника у меня не будет. Сегодня во второй половине дня я написала Жизели — не осложняй ее жизнь, будьте счастливы, и у вас есть Эрик, я часто думаю о нем и о том, что он есть на свете.

Ингеборг.

...между двумя поездами... — Клаус Демус во время деловой поездки 19.12.1959 был в Париже и посетил Целана, а затем сделал остановку в Цюрихе.

...Хильдесхаймер... — Вольфганг Хильдесхаймер (1916—1991) — немецкий писатель и художник, член "Группы 47", посетил Пауля Целана в Париже в конце декабря 1959 г.

---

157. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

19.02.1960

Февраль 1960 года
Цюрих

Дорогой Пауль!

После всего, что случилось, я считаю, что для нас больше не существует никакого продолжения. Для меня оно теперь невозможно.

Мне очень трудно говорить об этом.

Желаю тебе всего доброго.

Ингеборг.

...невозможно. — На сохранившемся конверте рукой Целана написано: "Браво, Блёкер! Браво, Бахман!"

---

159. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

/Poincaré 39–63/

Париж, 19 мая 1960 года

Я пишу тебе, Ингеборг.

Ты еще помнишь, что я сказал, когда видел тебя в последний раз, два года назад, в Париже, в такси перед твоим отъездом?

Я это помню, Ингеборг.

"Не растрачивай себя в авантюрах, Ингеборг", — вот что я тогда сказал.

Ты растратила себя в авантюрах — а что ты этого даже не понимаешь, как раз и является... доказательством.

Всем, кто так охотно клевещет на меня, ты веришь на слово; а моего мнения даже не спрашиваешь. Всё, что обо мне налгали, для тебя имеет силу свидетельства. Меня же самого ты не воспринимаешь всерьез, не хочешь всерьез признавать, не хочешь ни о чем спрашивать.

Ингеборг, на чьей же ты стороне? Приходит такой вот Блёкер, приходит осквернитель могил, я пишу тебе, в отчаянье, а у тебя не находится для меня ни словечка, ни звука: ты уезжаешь на литературные чтения. (Но когда речь заходит о какой-то литературной премии, ты пишешь мне сразу же, "во вторник ночью".)

И потом вдруг — а я ведь далеко не все перечислил — я получаю письмо, где "после всего, что произошло", ты выражаешь дружеские чувства ко мне...

Тебе не стыдно, Ингеборг?

Я пишу тебе, Ингеборг.

Пишу, среди прочего, и потому, что должен сказать тебе: 24-го я еду в Цюрих, чтобы увидеться с Нелли Закс.

Я знаю, ты будешь встречать ее в аэропорту. Я охотно составил бы тебе компанию — но был вынужден сказать Нелли Закс, что меня такой возможности лишили.

Если ты, тем не менее, считаешь такое возможным, то скажи об этом Нелли Закс прямо сейчас и, пожалуйста, поставь в известность меня. Нелли Закс наверняка этому обрадуется.

Если ты хочешь, чтобы мы с тобой поговорили, сообщи мне, пожалуйста, и об этом.

Я не особенно хорошо о тебе высказывался, Ингеборг, в эти последние месяцы — если ты хоть на минуту опять станешь самой собой, ты поймешь, как и почему это получилось.

И — пожалуйста — : Не спрашивай сейчас, прежде чем отвечать или не отвечать мне, совета у других — Спроси себя.

Пауль.

...Poincaré 39–63... — Номер телефона Целана.

Всё, что обо мне налгали... — В начале мая 1960 года вдова поэта Ивана Голля, Клэр Голль (1890—1977), опубликовала материалы "Неизвестное о Пауле Целане", обвинив Целана в плагиате, в заимствовании мотивов из поздних немецкоязычных стихов ее покойного мужа. Поскольку 19 мая стало известно о присуждении Целану литературной премии имени Бюхнера, в прессе началось бурное обсуждение этих обвинений.

..."во вторник ночью". — Начало письма Бахман от 29.12.1959 (см. № 153).

..."после всего, что произошло"... — Цитата из письма Бахман от 12.2.1960 (см. № 157).

...чтобы увидеться с Нелли Закс. — Немецкая поэтесса Нелли Закс (1891—1970), в 1940-м эмигрировавшая в Швецию, прилетела 24 мая 1960 года в Цюрих, чтобы оттуда поехать в Меерсбург (Германия) и 29.05.1960 получить там присужденную ей литературную премию имени Аннеты фон Дросте-Хюльсхоф. Целан встретился с Нелли Закс 25 мая в Цюрихе.

---

166. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

<Париж> 17.XI.60.

Моя дорогая Ингеборг,

все ли еще в Цюрихе ты, вы оба? Я еду туда 25-го, чтобы поговорить с д-ром Вебером.

В "Вельт" от 11.11 снова опубликована гнусность, дальше некуда. И — в "Христ унд Вельт".

(Христос и...)

Видишь, Ингеборг, я ведь заранее знал, что даже Бюхнеровская премия не положит конец этим махинациям... Как хорошо, что появилось ваше опровержение — от всего сердца благодарю за то, что ты поставила под письмом свою подпись. Пусть будет хорошо вам обоим, urbi et orbi[1].

Твой

Пауль.

1. Городу (Риму) и миру (*лат.*). Стандартная фраза, с которой начинаются воззвания римских пап.

...в Цюрихе <...> поговорить с д-ром Вебером. — Целан приехал в Цюрих, чтобы обсудить "дело Голля", и находился там 25—27 ноября 1960 года. С Бахман он встречался каждый день, с Вернером Вебером (1919—2005), в то время редактором "Новой Цюрихской газеты", — 26 ноября. Это были последние встречи Бахман и Целана.

...В "Вельт" <...>. И — в "Христ унд Вельт". — 11.11.1960 молодой литературовед Райнер Кабель опубликовал (под псевдонимом Райнер К. Абель) в немецкой газете "Вельт" статью "Спорная экскурсия в прошлое", где поддержал обвинения, выдвинутые Клэр Голль против Целана. Еще раньше, 27.10.1960, он напечатал статью такого же содержания ("Каждый человек — Орфей") в штутгартском еженедельнике "Христос и мир".

...ваше опровержение... — Имеется в виду текст, опубликованный 20.11.1960 в литературном журнале "Нойе рундшау" и подписанный немецкой писательницей Марией Луизой Кашниц (1901—1974), Клаусом Демусом и Ингеборг Бахман.

...urbi et orbi. — Целан имел в виду, что Бахман и Фриш собирались переселиться в Рим (и осуществили переезд в июне 1961 года), о чем Целан узнал, когда встречался с ними в Париже 30.10.1960.

---

167. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

<Утикон-ам-Зее> 18–11–60

Дорогой, дорогой Пауль!

Двадцать пятого числа я здесь буду — так что мы увидимся! Я так рада, что опять могу радоваться, что вновь обрела тебя в тот дождливый день в Париже. Мы с тобой найдем путь и средство изгнать из мира худой мир. Я увижу д-ра Вебера на следующей неделе, мы об этом поговорим, он покажет мне эти публикации. Сцонди, говорят, очень хорошо ответил на них в газете.

В Риме я была всего несколько дней, чтобы устроить все необходимое для Макса, чтобы ему первое время было легче. Останусь здесь еще на месяц, мне надо заканчивать работу, это получается только здесь, иначе не получается. Пожалуйста, напиши мне, когда ты приезжаешь, я тебя встречу. Не звони, телефон я отключила! Где ты остановишься? Хотела бы, чтобы у меня, но не выйдет: этот дом, где я снимаю жилье, такой швейцарский.

Буду ждать тебя на вокзале —
Твоя

Ингеборг.

Сцонди... — Петер Сцонди (1929—1971) — литературовед-германист, опубликовавший в швейцарской "Нойе цюрхер цайтунг" статью "Заимствование, или Ложное обвинение? К дискуссии о Пауле Целане" (18. 11. 1960).

---

189. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Париж, 11.09.1961, не отправлено

Дорогая Ингеборг,

дела у меня, особенно после провокации в "Форвэртс" (наверняка не последней), складываются не лучшим образом. Я говорю себе — эта мысль, вероятно, объясняется не только моим эгоизмом, — что разговор с тобой и Максом Фришем мог бы тут помочь, кое-что прояснить, просветлить.

И поэтому я прошу тебя и Макса Фриша о таком разговоре.

Я, к сожалению, приехать к вам не могу — поэтому, пожалуйста, приезжайте вы, когда сможете, завтра или послезавтра, но дайте мне знать об этом уже сейчас.

Искренне желаю вам обоим всего хорошего!

Пауль.

11.09.61.

...после провокации в "Форвэртс"... — 28.06.1961 Рольф Шрёрс опубликовал в газете СДПГ "Форвэртс" статью "Литературный скандал", посвященную "делу Голля", где намекнул, что Целан психически нездоров. 19.7.1961 Феликс Мондштраль (1931—1988), в свое время уговоривший Клэр Голль начать кампанию против Целана, в статье "Весьма странное дело", опубликованной там же, продолжал настаивать на предъявлявшихся Целану обвинениях в эпигонстве и плагиате.

---

190. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

78, Рю де Лоншан
(Poi 39–63)

<Париж> 27.09.61.

Моя дорогая Ингеборг,

я долго не писал, даже не поздравил тебя с днем рождения, не поблагодарил за присланные тобою книги. Позволь исправить это упущение сейчас.

Всего, всего тебе доброго, Ингеборг!

Я говорю себе — повторю это сейчас и Максу Фришу: то, что встало между нами, может быть только недоразумением, трудно исправимым, наверное, но все-таки — только этим.

Давайте же попытаемся, все вместе, его устранить. Я верю в разговоры, Ингеборг. Да, попробуем говорить друг с другом — я прошу об этом и Макса Фриша.

С любовью!

Пауль.

...присланные тобою книги. — Ингеборг Бахман послала Целану свои новые публикации: сборник рассказов "Тридцатый год" (1961) и переведенные ею с итальянского "Стихотворения" Джузеппе Унгаретти (1888–1970).

...повторю это сейчас и Максу Фришу... — См. письмо Пауля Целана Максу Фришу (№ 210).

---

210. Пауль Целан — Максу Фришу

78, Рю де Лоншан

Париж, 27.09.61

Дорогой Макс Фриш!

Я часто спрашиваю себя, откуда теперь между нами столько молчания.

Дело тут, может быть, только в недоразумениях — весомых, конечно, но все же таких, которые, я уверен, можно устранить посредством разговора.

Давайте попробуем со всем этим разобраться, раз и навсегда!

Из газеты я узнал, что осенью Вы едете в Кёльн — туда мне добираться недалеко. Или Вы сами через обозримое время заглянете в Париж?

Я одновременно пишу и Ингеборг — в том же духе, с той же надеждой.

Искренне Ваш

Пауль Целан.

Из газеты я узнал, что осенью Вы едете в Кёльн... — Пауль Целан прочитал 24.5.1961 в газете "Вельт", что Макс Фриш приглашен на следующий сезон в городской театр Кёльна заведующим литературной частью.

...пишу и Ингеборг... — См. письмо № 190.

---

191. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

Цюрих, после 27.9.1961. Письмо не отправлено

Дорогой Пауль!

Несколько минут назад мы говорили по телефону — позволь мне все же, несмотря на это, сначала попытаться ответить на твое письмо. Я не знаю, что встало теперь между нами — обычное ли недоразумение или нечто, о чем следует объясниться. Я воспринимаю ситуацию иначе: ты неожиданно замолкал надолго, не реагировал на самые простые вещи, я от этого терялась, не знала, что и думать, могла только строить предположения, заводившие меня в тупик, а потом я снова слышала от тебя, как и на этот раз, что тебе очень худо, и снова терялась, умолкала и не знала, как понять тебя и как мне снова стать деятельной, исполненной жизненных сил в отношениях с тобой. В некоторых случаях я отчетливо вижу, отчего это получилось: вижу некоторые вещи, события той плохой поры в прошлом году, которые мне и сегодня еще непонятны и которые я стараюсь забыть, потому что не хочу их воспринимать, потому что не хочу знать, что ты так вот поступил, так сказал, так написал. И сейчас я снова испугалась, когда ты сказал по телефону, что просишь прощения за то, что сделал, и я не знаю, что ты имел в виду, но мне снова боязно, и не потому, что мне снова что-то принесет огорчение, а потому, что я чувствую, как лишаюсь всякого бесстрашия, нужного для нашей дружбы, для дружбы, что превышает

обычное сочувствие к человеку и желание, чтобы у тебя все изменилось к лучшему. Этих чувств мне слишком мало, и для тебя их тоже недостаточно.

Дорогой Пауль, возможно, сейчас опять неподходящее время, чтобы сказать кое-что, о чем сказать трудно, однако подходящего времени для этого не существует, ведь в противном случае я бы на такое давно решилась. Я в самом деле считаю: самое большое несчастье заключается в тебе самом. Все дурное, что приходит извне, — и не уверяй меня, что так все и обстоит, ведь по большей части мне это известно, — хотя и содержит в себе отраву, но ему можно противостоять, ему должно противостоять. Теперь только от тебя зависит, сможешь ли ты его достойно встретить, ты ведь видишь, что любые объяснения, любое участие, какими бы правильными и необходимыми они ни были, нисколько не уменьшили в тебе ощущение несчастья, и, когда ты говоришь со мной, мне представляется, что все осталось по-прежнему, как год назад, словно тебе все равно, что столько людей старались ради тебя, словно имеет значение только другое — грязь, злорадство, глупость. Ты теряешь друзей: ведь люди чувствуют, что тебе все равно, что ты не приемлешь их возражений там, где они кажутся им уместными. Возражения легче вызывают отрицательную реакцию, чем понимание и сочувствие, однако порой они более полезны, даже в том случае, если потом ты сам понимаешь яснее, чем другие, в чем состояла твоя ошибка. Но не будем говорить о других.

Из всех несправедливостей и оскорблений, которые до сих пор выпадали на мою долю, самыми тяжелыми были для меня те, что исходили от тебя, — еще и потому, что я не могу ответить на них презрением или равнодушием, потому что мне не защититься от них, потому что мое чувство к тебе всегда остается слишком сильным и делает меня безоружной. Несомненно, для тебя речь сейчас идет в первую очередь о других вещах, о твоих бедах, но мне кажется: чтобы речь могла идти о них, мы должны прежде всего обсудить наши с тобой отношения, и лишь потом подлежит обсуждению все прочее. Ты говоришь, что не хочешь терять нас, и я перевожу себе: "не хочу терять тебя", потому что это поверхностное отношение к Максу — ведь без меня вы, по всей вероятности, никогда бы не познакомились или познакомились бы по другим причинам, более существенным, чем те, что связаны со мной, — итак, скажем честно: речь идет о том, чтобы мы с тобой не потеряли друг друга. И вот я спрашиваю себя, кто я для тебя, кто — по прошествии стольких лет? Призрак или реальность, которая больше не соответствует призраку? Ведь у меня столько всего произошло, и я хочу быть тем, кто я есть сего-

дня, а воспринимаешь ли ты меня сегодня вообще? Как раз этого я не знаю, и это приводит меня в отчаяние. Какое-то время, после нашего свидания в Вуппертале, я верила в это "сегодня", я полностью приняла тебя, а ты меня в моей новой жизни, так мне представлялось, я приняла тебя не только вместе с Жизелью, но и вместе с новыми изменениями, новыми страданиями и новой возможностью счастья, которые открылись для тебя после нашего с тобой времени.

Ты меня однажды спросил, какого мнения я о рецензии Блёкера. Сейчас ты поздравляешь меня с выходом моей книги (или книг); я не знаю, относятся ли сюда рецензия Блёкера и все другие критические рецензии, или ты считаешь, что одна фраза, направленная против тебя, значит больше, чем тридцать фраз против меня? Ты действительно так считаешь? И ты действительно считаешь, что журнал, устраивающий на меня травлю с тех самых пор, когда он был основан, — то есть журнал "Форум", например, — можно оправдать потому, что он выступил однажды в твою защиту? Дорогой мой, я обычно ни на кого не жалуюсь, ни на какие низости, но они бросаются мне в глаза, если люди, способные на подобные низости, вдруг ссылаются на тебя. Не пойми меня неправильно.

Я могу вынести все — за счет выдержки или, в худшем случае, за счет нервного срыва. Мне не придет в голову к кому-то обращаться за помощью, в том числе и к тебе, потому что я чувствую себя более сильной.

Я не жалуюсь. Я, сама того не сознавая, всегда понимала, что путь, которым я хотела пойти, которым я и пошла, не будет усеян розами.

Ты говоришь, что тебе отравляют радость от твоих переводов. Дорогой Пауль, это, пожалуй, было единственным, в чем я несколько сомневалась, я имею в виду не достоверность твоих рассказов, а значимость таких вещей, однако теперь я полностью верю тебе, ибо пережила на своем опыте коварство профессиональных переводчиков, на вмешательство которых я тоже не рассчитывала. О якобы допущенных мною ошибках с удовольствием рассуждают люди, которые, и это меня бы не обидело, знают итальянский хуже меня, рассуждают и те, кто, возможно, знает язык лучше, однако в любом случае — люди, не имеющие представления о том, как стихотворение должно звучать по-немецки. Понимаешь? Я верю тебе, верю во всем, во всем. Вот только не верю, что сплетни и критика касаются только одного тебя, ведь я с таким же правом могла бы верить, что они касаются только меня. И я могла бы доказать тебе, как ты доказываешь мне, что все так и есть на самом деле.

Вот чего я не могу, так это доказать все окончательно, потому что всякого рода анонимные и прочие бумажонки я выбрасываю прочь, ибо верю, что я сильнее этих бумажонок, и я хочу, чтобы ты был сильнее, чем эти бумажонки, которые ничего, ровным счетом ничего, не значат.

Однако ты не хочешь понять, что это все ничего не значит, ты хочешь, чтобы все это безмерно усилилось, ты хочешь, чтобы все это погребло тебя под собой.

В этом твое несчастье, которое я считаю более серьезным, чем несчастья, с тобой случающиеся. Ты хочешь быть жертвой, но в твоей власти — не быть ею, и я вспоминаю книгу, которую написал Сцонди, вспоминаю эпиграф, который глубоко тронул меня, потому что я сразу подумала о тебе. Несомненно, несчастье придет, оно уже идет, оно придет сейчас извне, но ты санкционируешь его приход. И вопрос в том, санкционируешь ли ты, принимаешь ли ты его. Однако в таком случае это касается тебя, а меня это не будет касаться — если ты ему поддашься. Если ты с ним согласишься. А ты с ним соглашаешься. Вот в чем я тебя упрекаю. Ты с ним соглашаешься и тем открываешь ему дорогу. Ты хочешь, чтобы оно тебя уничтожило, но я этого никак не могу одобрить, ибо ты сам в состоянии все изменить. Ты хочешь, чтобы на этих людях лежала вина за тебя, и я не смогу воспрепятствовать твоему желанию. Пойми же меня, из [*неразборчиво*]: я не верю, что мир может перемениться, но мы-то можем, и мне хочется, чтобы смог и ты. Приложи рычаг здесь. Не какой-то "уличный метельщик" сметет все прочь, а только ты это сможешь, только ты один. Ты скажешь, что я слишком многого требую от тебя для тебя. Да, требую. (Но я того же требую и от себя для себя, поэтому могу так говорить с тобой.) Нельзя требовать ничего другого. Ни я, ни ты не сможем выполнить это требование до конца, но на пути к его осуществлению отпадет много лишнего.

Когда я думаю о тебе, мне часто становится горько, и порой я не могу себе простить, что не в силах ненавидеть тебя за стихотворение, которое ты написал, за это обвинение в убийстве. Обвинял ли тебя когда-нибудь человек, которого ты любишь, в убийстве, — невинный человек? Я *не ненавижу* тебя, хотя такая реакция — безумие; однако, если что-то требуется исправить, то попытайся начать прямо с этого и дай мне ответ, ответ, не написанным словом — а в чувствах, в поступках. Вот чего я жду — а не ответа и не извинения, потому что никакое извинение тут не поможет, да я его и не смогу принять. Я жду, чтобы ты, придя мне на помощь, помог самому себе, ты — себе.

Я сказала, что тебе легко со мной, но в такой же мере правда и то, что тебе будет со мной тяжелее, чем с кем-либо другим. Я счастлива, когда ты идешь мне навстречу в отеле "Лувр", когда

ты весел и свободен от тягот, я в такой момент все забываю и радуюсь тому, что ты весел, что ты можешь быть веселым. Я много думаю о Жизели, хотя мне и не дано говорить об этом громко и вслух, и уж никак не дано — сказать прямо ей самой, но я действительно думаю о ней и восхищаюсь ее великодушием и стойкостью, которых у тебя нет. Прости меня: но я полагаю, что ее самоотверженность, ее красивая гордость и ее терпение по отношению ко мне гораздо весомее, чем твои жалобы.

Она сжилась с твоим несчастьем, но ты бы с ее несчастьем не сжился. Я требую, чтобы мужчине было довольно моего признания, однако за ней ты такого права не признаешь — какая несправедливость.

...тебе очень худо... — Ухудшение психического состояния Пауля Целана многие исследователи напрямую связывают с "делом Голля".

...любые объяснения, любое участие... — Ингеборг Бахман имеет в виду многочисленные публикации в защиту Целана.

...отравляют радость от твоих переводов. — Речь идет об опубликованных в немецких газетах критических рецензиях на переведенные Паулем Целаном "Стихотворения" Сергея Есенина и поэму "Юная парка" Поля Валери (1871—1945).

...я сразу подумала о тебе. — Сцонди открывает свою книгу "Эссе о трагическом" (1961) двумя эпиграфами. Один — из Агриппы д'Обинье: "Если ты причинил нам боль, значит, она исходит от нас самих"; другой — из Жана де Спонда: "Пытаясь облегчить свою жизнь, я приношу вред самому себе".

...за это обвинение в убийстве. — Речь идет о стихотворении Пауля Целана "Волчий боб": "Вчера / пришел один из них и / убил тебя / во второй раз в / моем стихотворении". Целан имеет в виду Гюнтера Блёкера и его критические высказывания по поводу "Фуги смерти", оскорбительные, как считает поэт, для его погибшей в лагере матери.

---

211. Пауль Целан — Максу Фришу

<Париж> 10.10.61

Дорогой Макс Фриш!

От д-ра Унзельда, который недавно звонил — и я поэтому еще успел кое-что послать для посвященного Нелли Закс сборника, — я знаю, что Вы сейчас в Цюрихе. Д-р Унзельд также упомянул письмо, которое Вы, как он будто бы припоминает, написали мне несколько месяцев назад — это письмо до ме-

ня не добралось, дорогой Макс Фриш! Я сам дней десять назад написал Вам и Ингеборг на Ваш римский адрес.

Надеюсь, что очень скоро нам представится возможность для долгой беседы!

Искренне Ваш

Паулъ Целан.

...для посвященного Нелли Закс сборника... — 5.06.1961 Целан в беседе с Хансом Магнусом Энценсбергером, инициатором публикации сборника, посвященного семидесятилетию Нелли Закс, отказался участвовать в этом проекте, заявив, что не хочет, чтобы его имя упоминалось рядом с именами авторов, наподобие Германа Казака (1896—1966), запятнавшими себя в "деле Голля". Тем не менее 27.09.1961 он сам предложил для сборника свое стихотворение "Цюрих, 'У аиста'. Сборник "В честь Нелли Закс. Стихотворения — проза — статьи" вышел во Франкфурте-на-Майне в 1961 г.

...возможность для долгой беседы! — 12.10.1961 Целан записал в дневнике: "Позавчера позвонил Фришу, сказал ему, что я нуждаюсь в его дружбе..." Пауль Целан и Макс Фриш в 1961 году так и не встретились, а позже иногда встречались — например, 18.04.1964 в Риме и 19.09.1967 в Цюрихе (обе встречи отмечены в дневнике Целана).

---

193. Ингеборг Бахман — Паулю Целану

5-12-61

Виа де Нотарис, 1
Рим

Дорогой, дорогой Пауль!

Я каждый день собиралась написать, но наша обратная поездка — а для меня еще и поездка, которую я совершила перед этим, — препятствовала мне во всем; если бы я, как это делают другие, могла написать письмо в свободный час или вечер — однако вот уже давно со мной что-то вроде болезни, я не в состоянии писать, силы мои кончаются, стоит мне только проставить дату или заправить лист в машинку.

Я очень хочу, чтобы тебе наконец стало лучше, чтобы у тебя стало лучше со здоровьем, или, что еще важнее, — чтобы твое новое состояние и собранность вернули тебе прежнее здоровье.

Мне часто представляется, что и тебе уже понятно, насколько все зависит от тебя самого, и что ты можешь взять себя в руки, начав с того, что ты в себе уже понял.

Уроки даются нам все труднее. Постараемся же хоть чему-то научиться.

Передай привет Жизели, и приезжайте вдвоем или приезжай сам, если есть такая возможность!

Всего доброго, всего хорошего.

Твоя Ингеборг.

---

195. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

78, Рю де Лоншан

Париж, 21 сентября 1963 года

Дорогая Ингеборг!

Я, когда прочитал в газете, что ты побывала в России, очень тебе позавидовал, особенно в связи с твоим посещением Петербурга. Но вскоре, в конце августа, я узнал во Франкфурте от Клауса Вагенбаха, что это все неправда, больше того: что у тебя было плохо со здоровьем и ты только недавно вернулась из больницы... Я хотел сразу позвонить, но у тебя тогда еще не было телефона.

Теперь я пишу, только несколько строк, чтобы и тебя попросить о нескольких строчках. Дай мне, пожалуйста, знать, как у тебя дела.

У меня за спиной остались два не очень радостных года — "остались за спиной", это только так говорят.

В ближайшие недели появится мой новый поэтический сборник: туда вошли разные впечатления, и я, между прочим — что было, можно сказать, предопределено, — выбрал там для себя совершенно "далекий от искусства" путь. Это документ кризиса, если хочешь, — но чем бы была поэзия, не будь она и этим тоже, причем в радикальном смысле?

Итак, напиши мне, пожалуйста, несколько строк.

Желаю тебе всего доброго, Ингеборг.

Искренне твой,

Пауль.

...ты побывала в России... — 21.08.1963 в еженедельнике "Шпигель" появилась статья о съезде писателей в Ленинграде. В статье указывалось, что в съезде принимали участие писатели из Западной Германии: Ханс Магнус Энценсбергер, Ханс Вернер Рихтер (1908—1993) и Ингеборг Бахман (упомянутая по ошибке).

...в конце августа... — 25.08.1963 Пауль Целан выступал с чтением своих стихов в Тюбингене.

...от Клауса Вагенбаха... — Клаус Вагенбах (р. 1930) — в то время редактор в издательстве Соломона Фишера, специалист по творчеству Франца Кафки.

...вернулась из больницы. — В июле—августе 1963 года Ингеборг Бахман проходила курс лечения в больнице имени Мартина Лютера в Западном Берлине. После разрыва с Максом Фришем осенью 1962-го она находилась в состоянии тяжелого физического и психологического кризиса.

...тогда еще не было телефона. — С весны 1963-го Бахман жила в Западном Берлине, куда приехала по приглашению Фонда Форда: сперва в гостевой квартире Академии искусств (Ханзеатенвег, 10), потом, с июня 1963-го, — в собственной квартире (Кёнигсаллее, 35).

...два не очень радостных года... — Целан имеет в виду "дело Голля" и свое первое пребывание в психиатрической лечебнице зимой 1962/1963 года.

...мой новый поэтический сборник... — Речь идет о сборнике "Роза-Никому", эта книга была опубликована в конце октября 1963 года.

---

196. Пауль Целан — Ингеборг Бахман

Дорогая Ингеборг,

вернувшись три дня назад из Фрайбурга, я услышал от д-ра Унзельда историю с Ахматовой; и тогда купил "Шпигель".

Позволь сердечно поблагодарить тебя за то, что ты порекомендовала меня Пиперу как возможного переводчика этой русской поэтессы — чьи стихи я давно знаю. Мандельштам был одним из самых верных ее почитателей.

Может, ты мне напишешь хоть несколько строк. Если соберешься, пиши, пожалуйста, по адресу: П[аулю] Ц[елану], Эколь нормаль сюперьер, 45, Рю д'Ульм, Париж, 5-й округ.

Всего доброго!

Искренне твой,

Пауль.

Франкфурт, 30 июля 67 года

Вернувшись <...> *из Фрайбурга...* — 24.07.1967 Целан выступал с чтением своих стихов во Фрайбургском университете и тогда же встретился с Мартином Хайдеггером.

...от д-ра Унзельда... — Зигфрид Унзельд (1924–2002) — руководитель издательства "Зуркамп", в котором Целан печатался с 1966 года.

...историю с Ахматовой... — Бахман порекомендовала Целана издательству "Пипер", с которым сама сотрудничала, — как "конгениального переводчика" Анны Ахматовой. Чуть позже Бахман разорвала отношения с этим издательством, поскольку оно заказало перевод ахматовских стихов Хансу Бауману (1914–1988) — автору текста известной национал-социалистской песни "Дрожат одряхлевшие кости..." Роман Ингеборг Бахман "Малина" (1971) вышел в издательстве "Зуркамп".

...по адресу: <...> *Эколь нормаль сюперьер...* — В то время Пауль Целан, фактически уже расставшийся с Жизелью, числился пациентом Парижской психиатрической университетской клиники, не имел собственного жилья, но преподавал немецкий язык в Эколь нормаль сюперьер, где у него был свой кабинет.

Эрик Фай

Нагасаки

Роман

Перевод с французского Натальи Кисловой

Рассказывают, что побеги бамбука, растущие от одного корня, как бы далеко ни рассадить их по свету, цветут в одно время и умирают одновременно.

Паскаль Киньяр

В основу романа легло происшествие, о котором в мае 2008 года сообщали японские газеты, в частности, "Асахи".

Представьте себе мужчину за пятьдесят, проживающего в собственном доме на самом краю Нагасаки, где улицы предместья почти отвесно сбегают по склону гор, разочарованного тем, что годы настигли его так скоро и бесповоротно. Смотрите: извилистые ленты мягкого асфальта, будто змеи, ползут на кручу, а наверху все это городское месиво, пузырящееся черепичными, жестяными, брезентовыми и еще бог весть какими кровлями, упирается в стену диких бамбуковых зарослей.

Nagasaki d'Éric Faye © Editions Stock, 2010
© Наталья Кислова. Перевод, 2012

Вот там я и живу. Кто я? Без преувеличения, не слишком важная птица. Держусь холостяцких привычек — надежный способ не оступиться, — так что, смею думать, у меня нет оснований в чем-то себя упрекать.

Одна из моих привычек — избегать по возможности компании коллег, направляющихся после работы пропустить пару кружек пива или посидеть за бутылкой-другой чего-нибудь покрепче. Мне приятнее побыть дома, наедине с собой, пораньше поужинать, во всяком случае, не позднее восемнадцати тридцати. Будь у меня жена, вероятно, я не стал бы принуждать себя к столь строгой дисциплине и чаще присоединялся бы к товарищам, но я не женат. Если быть точным, мне пятьдесят шесть.

В тот день, поскольку меня слегка лихорадило, я вернулся домой раньше обычного. Наверное, не было еще семнадцати часов, когда я сошел с трамвая на своей улице, держа в обеих руках пакеты с продуктами. В будни я редко попадаю домой так рано: на миг мне почудилось, что я взломщик. "Взломщик" — это, конечно, сказано слишком сильно, и все же... До недавних пор, уходя, я частенько не запирал дверь; район у нас безопасный, да и многие пожилые соседки (госпожи Ота, Абе и другие, чуть подальше) целыми днями сидят дома. Когда руки заняты покупками, удобно входить в незапертую квартиру: пройдя всего несколько метров от остановки трамвая и толкнув раздвижную дверь, я оказываюсь у себя. Снимаю уличную обувь, сую ноги в тапочки — и сразу же на кухню, раскладывать провизию по шкафчикам. Потом можно присесть и отдышаться. Но сегодня я лишился этого удовольствия: при виде холодильника во мне с новой силой вспыхнуло вчерашнее беспокойство. Однако, открыв его, я подумал, что все нормально. Все продукты были на своих местах, то есть там же, где находились утром, до моего ухода. Маринованные овощи, кубики сыра тофу, угорь к ужину. Я тщательно обследовал стеклянные полки, одну за другой. Соевый соус и редис, сушеные ламинарии и паста из красной фасоли, сырой осьминог в пластиковом судке "Tupperware". В нижнем отделении — рис с водорослями в треугольных пакетиках, их по-прежнему четыре. И два баклажана — оба на месте. Я почувствовал облегчение, к тому же и линейка, уверен, меня успокоит. Линейка из нержавеющей стали длиной сорок сантиметров. На одну ее сторону, где нет делений, я приклеил полоску белой бумаги, а затем погрузил это приспособление в пакет с мультивитаминным (A, C & E) фруктовым соком, вскрытый сегодня утром. Подождал несколько секунд, пока зонд пропитается жидкостью, и медленно извлек его из паке-

та. Посмотреть решился не сразу. Наконец увидел: восемь сантиметров. Осталось только восемь сантиметров сока, а до моего ухода было все пятнадцать! Кто-то отпил. Но я живу один.

Беспокойство охватило меня вновь. Для очистки совести я проверил запись в книжечке, где вот уже несколько дней отмечаю уровень жидкостей и количество продуктов. Да, с утра было пятнадцать сантиметров... Однажды я даже сфотографировал внутренний вид холодильника, но потом больше этого не делал. Беспечность, боязнь быть смешным... Тогда, надо признаться, у меня были только смутные подозрения, теперь же не остается и тени сомнения. Я держу в руках новое — третье по счету за последние две недели — доказательство того, что нечто действительно происходит, а ведь я человек трезвого рассудка, не из тех, кто верит, будто какая-то эктоплазма[1] является в дом, чтобы утолить жажду и доесть остатки ужина...

Первые подозрения, зародившиеся у меня несколько недель назад, быстро рассеялись. Но немного погодя стали потихоньку закрадываться вновь — так мошкара вьется в вечернем воздухе, исчезая, прежде чем успеешь сообразить, что же это было. Началось все с того, что я не смог отыскать какой-то продукт, хотя точно знал: я его покупал. Конечно, первая моя реакция — усомниться в себе. Нет ничего проще: ты внушил себе, будто в супермаркете положил покупку в тележку, а на самом деле лишь намеревался. Как сильно́ искушение объяснить провал в памяти усталостью... Чему только не служит оправданием эта пресловутая усталость!

Во второй раз, по счастливой случайности сохранив чек, я смог убедиться, что затмение на меня не находило, я действительно купил рыбу, которая внезапно испарилась. Однако нелегко перейти от констатации факта к ясному умозаключению, сделать шаг от заинтригованной растерянности к попытке объяснения. Мной овладело смятение. Содержимое холодильника — в некотором роде постоянно обновляемая матрица моего будущего: здесь под видом баклажанов, сока манго, да мало ли чего еще, меня ожидают молекулы, которым предстоит поставлять мне энергию в ближайшие дни. В этой холодной прихожей ждут мои завтрашние микробы, токсины, протеины, и мысль, что чужая рука, изымая по воле случая либо одно, либо другое, покушается на то, чем я стану,

1. В оккультизме и парапсихологии — таинственная субстанция, которая выделяется из организма медиума, материализуясь в виде фигур или объектов. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

возмутила меня до глубины души. Даже хуже: я испытывал отвращение. Это было похоже на изнасилование, ни больше ни меньше.

* * *

Прошла ночь, а моя обеспокоенность падением уровня фруктового сока нисколько не уменьшалась. Утром мой дотошный ум принялся собирать кусочки пазла в одно целое. В такие мгновения мозг исследует, реконструирует, сравнивает, делает выводы, расчленяет, сопоставляет, предполагает, вычисляет, подозревает. В итоге я стал проклинать серый холодильник "Саньё", на который коварный производитель заботливо наклеил слоган "Always being with you"[1]. Слышали ли вы когда-нибудь о холодильнике с привидением? Кто же еще может присваивать долю его содержимого и тем кормиться? Вернувшись с работы, я решил покончить с беспокойством, которое постепенно превращалось в пытку. Еще только восемнадцать часов: успею... Это крайность, дальше некуда, наверное, сам потом над собой посмеюсь, но тревога достигла такой степени, что теперь важнее всего узнать правду. К черту привычки, поужинаю позже.

Я снова оделся и обулся, чтобы выйти на улицу, вскочил в трамвай, идущий в сторону Хаманомати. Магазин, где я рассчитывал приобрести новую "ловушку", находится всего в двух остановках, и, если я не потерял способности кое-что мастерить, отныне мой сон будет крепче.

Никакие способности, впрочем, не потребовались, установить устройство оказалось легче, чем я думал. Эту маленькую военную хитрость, по сравнению с которой измерения в холодильнике — каменный век, я смогу пустить в ход только завтра, с моего рабочего места. Постараюсь оказаться там как можно раньше, с восьми. Активные действия поднимали дух, но меня разбирало нетерпение, скажем так: я немного замечтался и уже после двадцати одного часа спохватился, что до сих пор не поужинал. Теперь уж ничего не поделаешь... Поставив рядом с креслом горячий чайник, я попытался отвлечься и включил телевизор, но ни одна программа не нашла одобрения в моих глазах, не желающих смыкаться. Тогда я открыл журнал, который получаю по подписке, но обычно не читаю. На странице тридцать семь мое внимание привлекла фотография жутко морщинистого субъекта. "Танабэ Томодзи за всю жизнь не выпил ни капли алкоголя", — утверждал жур-

1. "Всегда с вами" (*англ.*).

налист. Просматривая статью, я невольно подумал: "Ну и дурак! Танабэ, старейший представитель человечества, уверяет нас, будто дожил до ста тринадцати лет, треская одни овощи и иногда, удовольствия ради, жареные креветки. Тоже мне весельчак! Очистить пару креветок — вот высшее наслаждение для этого живого ископаемого! Впрочем, он ест их все реже: блюда, приготовленные на масле, не идут ему впрок. Бедняга Танабэ! Скоро тебя примут в нирвану и станет тебе гораздо лучше, вот увидишь: при входе у них стоит стол с жареными креветками — налопаешься до отвала на халяву, да и маслом они там не злоупотребляют..."

Я улыбнулся своим мыслям, но статья меня заинтересовала, я даже перестал думать о ловушке и, не отрываясь, дочитал все до последней точки. "Я счастлив, — откровенничал старикан. — Хочу прожить еще десять лет". Идиот!! Потом, не знаю почему, совсем забыв, что день идет на убыль вместе с отдаленным шумом машин, я задержался в полумраке у широкого окна, рассеянно глядя на залив, его темные корабли и верфи.

Теперь вам кажется, что ваше "я", отягощенное отложениями горечи, забот, ревности, сожалений или угрызений совести, вот-вот растворится в младенческом сне, вы погружаетесь в ночь, однако начинается она скверно. Вас, едва убаюканного первой дремотой, будят неизменные, верные себе цикады. Трещат и трещат, настырные пьяные фурии. Или сегодня вечером вы слишком чувствительны? Они проникают в ваш мозг, вереницей влетают в одно ухо и вылетают из другого, вьются вокруг головы и опять дружно и злобно ввинчиваются в череп с издевательским смехом. Перед рассветом их все же рассеивает сильный ливень, как тех демонстрантов, которых где-то разогнали водяными пушками, о чем сообщали вчера в вечерних теленовостях НХК[1]. Как уснуть, когда на уме одно: этот непрошеный гость (ведь он существует!), используя простой дубликат ключа, может в любой момент заявиться сюда с компанией дюжих молодцов, и они так вам накостыляют, что вы распрощаетесь с жизнью, даже не успев сообразить, что происходит. Вы думаете: по твоей милости, самозванец, я не сплю, и мне в ближайшем будущем обеспечена отменная головная боль при встрече с моими циклонами и антициклонами. Но ты ничего не теряешь, ты своего дождешься. Будет у тебя ско-

1. "Ниппон Хосо Кёку" — крупнейшая радио- и телевещательная компания Японии.

ро праздник. Все готово. Кстати, пора вставать, уже шесть тридцать.

* * *

Наступает день, когда ничего больше не происходит. Струна судьбы, натянутая слишком сильно, лопнула. Больше никаких событий. Ударная волна твоего рождения откатилась далеко — ой как далеко! Вот она, нынешняя жизнь. Твое существование протекает между неудачами и успехами, зимняя спячка сменяется весенним томлением. Такие мысли крутились у меня в голове на прошлой неделе, когда я ехал в трамвае, а сегодня утром, воображая, что этот вывод, быть может, не окончателен, я испытываю эйфорию, сидя на том же месте в трамвае, уставившись на ту же городскую рекламу. Вагон катится вниз, пробегает остановку за остановкой, на каждой заглатывает пассажиров, мечтательных и молчаливых, занятых разгадыванием своих непонятных снов. Что, если во сне их жизнь интенсивнее, чем наяву? Оканчивается литания названий, которые я знаю наизусть: Канкодори, Эдомати и Охато, Готомати, а потом Ятиёмати, Такарамати[1], — выхожу, пересаживаюсь на другой трамвай. Иногда остаток пути я иду пешком, но сегодня не хватает бодрости, к тому же я спешу... Как только выбираюсь наружу из этой скрипучей гусеницы, эстафету ночных цикад подхватывают цикады на деревьях, под которыми я прохожу. Они судачат обо мне, перепиливают еще не оформившиеся мысли и фразы, и, добравшись до бюро, я закрываю все окна: ненадолго, прошу я коллег, у меня из-за них была бессонница, только послушайте, какую истерику они сегодня закатили, хоть затыкай уши воском до самых барабанных перепонок. Но даже когда все наглухо закрыто, эти твари настигают нас, просачиваясь сквозь стекло и бетон, — и тут я вспоминаю о своем деле: камера и невидимка, проходящий сквозь стены[2].

Уединяюсь на рабочем месте. Коллеги думают, будто я с головой ушел в изучение фотографий, к исходу ночи полученных со спутников (мы все — метеорологи). Каждое утро, включив компьютер и запустив программы, я просматриваю свежие карты и сводки, отправленные с метеостанций. Сегодня нет ничего срочного, что заставило бы меня приняться за составление бюллетеня о тревожном положении или за другую неотложную работу, и я открываю на экране окно

1. Названия городских районов Нагасаки.
2. Намек на рассказ Марселя Эме "Проходящий сквозь стены".

внизу справа. Кликнув несколько раз, активирую мою западню. Готово... Словно по волшебству, передо мной возникает безмятежная картина кухни, где я совсем недавно завтракал. Кажется, все спокойно. Будь у меня жена-домохозяйка, я наблюдал бы за ней на расстоянии. Уходя со службы, я бы заранее знал, что́ она готовит нам на ужин. Веб-камера, установленная вчера вечером, работает превосходно. Не вставая со стула, я слежу за своим домом, как бесплотный невидимый ниндзя. Без всяких усилий я стал вездесущим. Но звонит телефон, меня подзывают. Запланированное на десять часов собрание переносится и начнется совсем скоро. Тьфу, а я-то собирался сосредоточить все внимание на маленьком аквариуме справа внизу... После собрания возвращаюсь на вахту, мой третий глаз снова в действии. В принципе, можно присоединять крошечные веб-камеры к мобильнику, так и следовало поступить, не будь мой телефон допотопным (трехлетней давности). Тогда я и на собрании не терял бы времени зря, а наблюдал бы за квартирой, не прекращая слушать их нескончаемые выступления, прения, обсуждения и тому подобное... Был бы я женат, не спускал бы глаз с жены — может, из ревности, а может, просто не выносил бы разлуки. Проходя перед камерой, она бы кокетливо подмигивала моему третьему глазу, а то и посылала бы воздушный поцелуй. Я бы знал, какие приятельницы навещают ее после обеда, как они одеты. Но сегодня между этой камерой и поясом целомудрия или какой-нибудь иной разновидностью брачных уз нет ничего общего. Изнутри застекленного буфета, куда я прикрепил глазок, обнажается леденящая панорама моего одиночества, и, задерживая на ней взгляд, я содрогаюсь. К счастью, раздается телефонный звонок, коллеге нужна моя консультация: я занимаюсь морскими метеорологическими картами — направляя предупреждения, спасаю рыбаков от Цусимы до Танегасимы и дальше.

Покуда утро движется к полудню, цикады не унимаются. Заколдованный цикадами, я превращаюсь в клубок нервов. Они способны вытянуть признание из любого подозреваемого.

Но квартира по-прежнему помалкивает. Я увеличил окошко справа внизу, развернув его во весь экран. *Ничего*, даже в крупном формате. Но все-таки странно. Как будто бы теперь, когда все увеличено, если рассматривать кухню в подробностях... Какие-то неуловимые мелочи вызывают у меня сомнение. Разве эта бутылка с минеральной водой стояла на виду, на кухонном столе? Порой эксперта посещает подобное наитие: картина, которую ему показывают, поддельная, в глуби-

не души он в этом убежден, но аргументировать не может. Он то отступает на шаг, то приближается к картине вплотную, вот так и я изучаю кухню сквозь лупу моего беспокойства. Эта комната — фальшивка. Бутылка переместилась. За то время, пока я 1) присутствовал на собрании, 2) был в туалете, 3) подходил к телефону, 4) был занят с коллегой, которого затрудняла интерпретация снимка. Действительно ли я уверен, что бутылка стоит не на том месте, где я ее оставил? До самого полудня я больше не выходил, только сбегал в "Лоусон" на углу: купил бэнто[1], чтобы перекусить у компьютера, и теперь компенсирую эту десятиминутную отлучку, не отводя глаз от стола, за которым вечером буду ужинать. Я похож на метеоролога, командированного в центр статичного антициклона. Открывая коробку с обедом, я на миг представил, будто передо мной вместо разгороженного на маленькие отделения контейнера с разноцветной едой — внутренность кукольного домика. И подумал: ты мог бы установить веб-камеру в каждой из твоих шести комнат, разгородить экран на столько же окошек и с утра до вечера ничего не делать, а только вести пристальное дистанционное наблюдение за бэнто, в котором живешь.

Вот и обеденный перерыв. Коллеги покидают помещение, open space[2], где кондиционированный воздух иссяк, а я, предпочитая задыхаться, чем терпеть цикад, опять закрываю все окна, кроме единственного, на компьютере, и между делом доедаю содержимое коробки, опустошая ячейки одну за другой. Не стояла ли раньше бутылка с водой чуть ближе к раковине? Как мне кажется, приблизительно сантиметров на пятнадцать-двадцать. В конце концов я почти убеждаю себя в этом, но внезапно направление мысли резко меняется. Ты выдумываешь, потому что очень хочешь придать рациональность проявлениям своего бессознательного. Кстати, так ли уж ты уверен в исчезновении йогуртов? Не подать ли тебе заявление, вот-вот, обратись в центральную полицию: за последние несколько месяцев у меня украли три йогурта. Ну ладно, спокойнее... Ты все это время на пределе.

После обеда я беседовал с двумя новыми сослуживцами — они не нашли ничего лучше, как вцепиться в меня мертвой хваткой. Пока я растолковывал им, как пользоваться программой создания карт, мне хотелось стукнуть их лбами, пусть бы по-

1. Завтрак или обед в специальной коробке.
2. Открытое пространство (*англ.*).

няли, сколь неподходящий момент они выбрали для своих приставаний. Должно быть, это чувствовалось по моему резкому тону, особенно когда один из них спросил, зачем нужна веб-камера вот там, внизу экрана. Уклонившись от ответа, я продолжал объяснять, а сам косил глазом на свою кухню. Наверное, они приняли меня за маньяка или за депрессивного домоседа. А может, он издалека присматривает за квартирой старушки-матери? Я был занят разговором с этой парочкой, когда прямоугольник справа внизу вдруг закрыла легкая тень. На экране двигалась некая фигура, сплющенная (широкоугольная камера искажала то, что попадало в ее поле видимости: зря я прикрепил ее так высоко) и плохо различимая в контражуре; на несколько мгновений она частично заслонила окно на улицу. Продолжая отвечать тем двоим, я определил, что имею дело с женщиной, кажется, не очень молодой, судя по ее прическе и худощавой комплекции. Она просто пересекла комнату, и я лишь смутно видел ее лицо в профиль, то есть ничего толком не рассмотрел. Стараясь не выдать волнения, я обернулся к надоедливым типам, отпуская какие-то банальности и изо всех сил делая непринужденный вид. Идиотство. Когда я снова повернулся к фигуре на экране, она успела исчезнуть из поля зрения. Поблагодарив, двое коллег оставили меня наедине с опустевшей кухней — похоже, я стал жертвой галлюцинации. Терпение: наверняка она пройдет в обратном направлении.

Но нет. Десять минут, четверть часа. Вызывать полицию было бы нелепо, да и с какой стати? Исчезнувшая тень? Я уже слышу, что скажет полицейский инспектор, никого в доме не поймав: возможно, у вас есть жена в параллельной реальности, Симура-сан? Или вам привиделась наконец-то женщина, на которой вы хотели бы жениться? Потом, приблизившись ко мне, точь-в-точь психиатр: девушка вашей юности, унизившая вас (с вами тоже такое случилось)? Та, чьи горделивые черты вы неизменно храните в глубинах памяти? Но это яркое воспоминание нарушает порядок мыслей и создает в вашей голове сумбур... Или у вас завелся сказочный эльф? Все такие же, как вы, господин Симура, все мы видим эльфов, когда пытаемся решить проблемы. И тут, игриво-сообщническим тоном, приглушив голос, с улыбочкой, подходящей к случаю, он поделится со мной своей догадкой: проститутка или наркоманка, так ведь? Признайтесь! Или массажистка. Вы увлеклись, потом остыли, это так по-человечески, она от вас не отставала, поскольку ей некуда было идти, вот вы и избавились от нее под предлогом проникновения в квартиру, кражи со взломом...

Нет! Не желал я выслушивать подобный вздор. Мне нужны доказательства. Полицейские за сквозняками не гоняются... Я временно закрыл на экране окно "кухня". Коллеги снова открыли окна в офисе, и десятки цикад ворвались в помещение. Мерзость. Вслед за ними вороны заладили на одной ноте свое "ка-ак? ка-ак?" На флангах этого хора солировали колокола Ураками[1], сирены полицейских машин, преследующих эльфов.

Едва я схожу с трамвая, цикады тут как тут: свора натравленных гарпий терзает меня неотступно, тряся над ухом маракасами. Невидимые, они задают ритм моего движения к безумию. Входить в собственный дом страшно. Издали замок не выглядит взломанным. Спокойнее ли от этого? Не могу сказать. Заметив, что я стою на тротуаре, меня окликает старуха Ота, занимающая, как всегда, свой наблюдательный пост. Иногда она подзывает меня, махнув рукой, и мы болтаем о том о сем. Как-то раз она сказала, что я напоминаю ей сына. Одно поколение, одна и та же манера поведения: великовозрастный пай-мальчик, но он — отец семейства, живет далеко и приезжает не чаще раза в год. Приедет, возможно, и второй раз, если умру, шутит она. Все еще во власти дневных забот, я жду, что она, как обычно, когда хочет придать остроты квартальным сплетням, скажет театральным тоном: "Я видела, как она выходила из вашего дома!" Но нет, она с охотой болтает о всяких пустяках, и, наконец, вопрос задаю я сам. По тому, как взлетают ее брови, понимаю: ничего необычного она не заметила. Она чуть ли не досадует на себя: "Я ведь никуда не отходила, только с утра, кое-что купить". Стало быть, мне привиделась эта фигура на экране? Неужели, досконально обшарив кухонную мебель "Formica", веб-камера приступает к видеосъемке обитающих здесь духов — ками[2]? Или призраков, что снуют в пустом, как мы думаем, пространстве? Что, если ретина камеры со временем обретает способность улавливать то, к чему не чувствителен глаз человека, вроде того как собака способна воспринимать ультразвуковые сигналы, недоступные уху хозяина? Я уже делаю вид, что ухожу, когда госпожа Ота украдкой бросает на меня косой взгляд. А в чем дело? Я должна была сегодня кого-то видеть? К вам кто-нибудь приходил? Прикидываясь смущенным, слегка вздыхаю и улыбаюсь:

1. Католическая церковь в Нагасаки.
2. В древнеяпонской (синтоистской) религии — божества, духовные сущности (духи природы, духи предков и т. д.).

— По-моему, я становлюсь мнительным. Мне кажется, моя бывшая домработница оставила себе дубликат ключей. Сегодня утром я видел, как она бродила по кварталу. И вот...

— Мнительным становишься быстро.

— В такое время, как наше.

— А разве у вас была домработница, Симура-сан?

— Гм, не так уж долго...

— И вы ей не доверяли...

Мяч вброшен из-за боковой линии. Я подкинул ей правдоподобную версию, так что в ближайшие дни она удвоит бдительность без всякой просьбы с моей стороны. Какое божество требует от меня приношений в виде йогурта, засахаренной сливы или риса с морскими водорослями? Хоть я и получил католическое воспитание, я регулярно приношу жертвы нашим ками на алтарь квартала, но у меня ни на миг не возникало мысли, что они ходят обедать к частным лицам.

— Постойте-ка, возможно, я видела эту вашу уборщицу. Около месяца тому назад средь бела дня я заметила чей-то силуэт на вашей кухне. Вот-те на, думаю про себя, а сама вспоминаю: ведь у вас есть сестра, которая иногда вас навещает. Еще я подумала: а может, он встречается с девушкой? Наверное, он с кем-то встречается.

Ее румяное лицо сияло глубокой нежностью. Госпожа Ота явно желала мне добра, но я опроверг ее предположение с принужденным смехом, который должен был замаскировать мое замешательство.

— А мне подумалось... Заметьте, время-то идет, господин Симура. Для вас тоже! Вам нужно встречаться с девушками, а не то коротать старость придется одному...

Закрыв за собой раздвижную дверь, я прислушался. Мои ощущения были далеки от привычных. Либо внимание старой Оты ослабло во второй половине дня, либо фигура, мелькнувшая передо мной, незаметно улизнула через окно, совсем как воин-ниндзя, который материализуется в заданной точке и так же внезапно и бесшумно исчезает. Я быстро осмотрел окна и обнаружил, что одно из них, в комнате для друзей, было не заперто. Да, ей ничего не стоило удрать через эту комнату, напротив которой нет никого из соседей, никакой госпожи Оты. Впереди только горы, покрытые броней серых крыш, всегда напоминавших мне чешую какого-то чудовища. И чудовище это погружается в сон. Я щелкнул задвижкой, клятвенно обещая себе проверять каждое утро, чтобы все окна были надежно заперты. Опустив шторы, я почувствовал себя лучше, хотя смутная настороженность не проходила. Я думал о силу-

эте, замеченном месяц назад госпожой Отой. По мере наступления вечера мысли разбегались. Невозможно собрать их в одно связное целое. Совсем обессилев, я приготовил себе скудную трапезу, и для этого мне пришлось с нелегким сердцем открыть холодильник. Так и есть, вновь пропал один йогурт. У меня было достаточно данных, чтобы определить диету моей самозванки: комедия, да и только. Похоже, она меня ни во что не ставит. Я уже не у себя дома.

Я выдвинул один за другим все ящики в гостиной и в спальне. Ничего не пропало, немногие ценные вещи оставались на местах. Но вместо того чтобы меня успокоить, этот факт лишь усилил тревогу. Я имел дело с необычным случаем и ощутил нависшую надо мной тень страха. Зачем она приходила? Однажды вечером английская королева в собственной спальне столкнулась нос к носу с незнакомцем. Этот тип обвел вокруг пальца всех, кого следовало обвести, и проник во дворец через окно, после чего в полном блаженстве ожидал свою королеву. Просто так, хотел немного поболтать. Может, и у меня есть поклонница? Неужто безвестные трудяги вроде меня наконец получили право окружать себя толпой фанатов? Позавчера во время обеденного перерыва я искал друзей или подруг в фейсбуке. Я всегда формулирую свои пожелания относительно знакомства следующим образом: "Если вы тоже из района Симабара..." или так: "Если вы, как и я, живете в Нагасаки..." Это все равно что закидывать спиннинг в мутную воду... Устав от непредсказуемых поисков (которые предпринимаю скорее ради острых ощущений, а не потому что действительно надеюсь обрести родную — или хоть двоюродную — душу), я набрал имена и фамилии двух актеров, из наиболее посредственных, ничего не обещавших уже в самом начале карьеры. И у того, и у другого, хотя оба никогда не поднимались выше фильмов о якудза[1], было по три-четыре тысячи фанатов: пришлось мне отступить.

Все, баста. После двух бутылок холодного "Саппоро"[2] мне полегчало. Я даже не чувствую необходимости звонить сестре. Включаю телевизор, просматриваю все каналы, несколько минут мое внимание занимает документальный фильм о Хироси Исигуро, исследователе-роботостроителе, создавшем андроида по своему образу и подобию. "Через двадцать лет, — комментирует закадровый голос, — множество роботов с человеческим (женским!) лицом будут принимать посетителей

1. Японская мафия.
2. Марка японского пива.

в учреждениях. Но самым трудным, прогнозируют специалисты, окажется преодоление 'таинственной долины' — неприятного ощущения, которое возникает, когда мы замечаем, что андроид не совсем такой, как мы. Он нам не родственник..." Очевидно, чтобы выбраться из таинственной долины, я переключаюсь на развлечения, игру в прямом эфире из Ниигаты...

...и, задремав, не замечаю, как бежит время, до тех пор пока меня не будит реклама. ЧЕТЫРЕ АНТИВОЗРАСТНЫХ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЯЮЩЕГО КРЕМА! — доносится сквозь сонное отупение зычный голос рыжеволосой красавицы, вещающей в двух метрах от меня. Приятная особа, принимающая вас у входа в таинственную долину... Я ложусь на циновку, но, когда пытаюсь заснуть, перечисляя, как всегда по вечерам, правила своего идеального мира, меня постигает неудача. И надолго. Напрасно я утверждаю декреты воображаемого общества, сегодня это не оказывает седативного эффекта. Позже в мою дрему вторгаются сновидения. Это выброс бессознательного. Сквозь тайные надломы прорывается прошлое, в памяти вспыхивают, обжигая, имена. Хидзуру, Марико, Фумико — забытые божества, они появляются вновь с издевательским смехом, будто говоря: "Мы все еще здесь, нелегко тебе будет нас выгнать". Перед моим пробуждением они канут опять в подвалы забвения, оставив за собой, как и всякий раз, пелену тоски.

Прежде чем уйти из дома, я убедился, что камера работает и все входы-выходы заперты. По всей видимости, женщина сделала себе дубликат ключа, и если она намерена вернуться... Единственное, что я решил, — это не ослаблять бдительности. В течение утра я продолжал слежку и начал приободряться. Я тщательно все проверил — в доме все надежно закрыто. Никто не мог войти. Для "проходящих сквозь стены" льгот не предусмотрено. На душе стало спокойнее. Не оставляя ни на минуту своего места, я мог почти нормально работать. Никто мне не мешал; никаких собраний не планировалось. Я заранее запасся бэнто, пакетом маринованных слив в рассоле и парой бутылок "Кирин"[1] в "Фэмили-Март", расположенном чуть ниже моего дома, и собирался пообедать здесь в одиночестве, когда коллеги разбегутся на перерыв. Было уже одиннадцать тридцать, и все складывалось как нельзя лучше. Все могло бы так и продолжаться до конца

1. Марка японского пива.

рабочего дня. Вдруг — я лишь на несколько секунд отвел глаза от кухни, внося изменения в свежую карту внутреннего моря[1], — мой взгляд уловил некую фигуру, и она очень походила на вчерашнюю. На сей раз она не двигалась. Как она сумела?.. Это было какое-то колдовство. Я ничего не понимал. Стоя у солнечного окна, она наливала в чайник воду. Она у меня в руках. Не раздумывая, я снял трубку и набрал номер. "Полиция?" — говорил я громко, не замечая, насколько переполошил всю контору. Сотрудники, которых обычно ничто не способно оторвать от экранов (зачем придумывать дорогостоящих роботов, когда они уже существуют?), вытягивали шеи, поднимали брови, переглядывались, едва услышав, как я произнес одно это слово, торопливо, взволнованно: "Полиция?" Можно было подумать, будто в нашем учреждении совершено не замеченное ими преступление, а теперь, прислушиваясь, они открывают истину.

— Полиция? У телефона Симура Кобо. (Я назвал свой домашний адрес). Кто-то проник ко мне домой. (Я чуть не добавил: "Чтобы попить чаю"). Прямо сейчас. Я слежу за ней — это женщина — через веб-камеру. Нет, похоже, она не вооружена и расхаживает без всяких опасений... Я на работе, на другом конце города. Нет, быстро приехать не смогу, возьмите отмычку или что-нибудь для входной двери и держите меня в курсе... Да, естественно, я зайду в полицейский участок и оставлю заявление, часа через два или три.

Я повесил трубку. Сидевшие рядом коллеги обступили меня, тараща глаза, чуть не извиняясь: они невольно всё слышали, они не хотели, не должны, но случилось что-то из ряда вон выходящее. Надеялись, наверное, разузнать у меня подробности, которые удовлетворят их любопытство: будет о чем рассказать вечером дома. Не роняя достоинства, они сочувственно ахали и охали, хотя в их сочувствии я вовсе не нуждался. Все искоса поглядывали на мою кухню (я развернул изображение), а в кухне — на женщину в профиль, которая не подозревала ни о наших взглядах, ни о своей внезапной славе. Поняв, наконец, по той галиматье, которую им пришлось услышать, что разъяснить дело я не в состоянии, они вернулись на места, слегка покачивая головами, и оставили меня одного. Судя по часам на компьютере, я повесил трубку три минуты назад.

1. Море, далеко вдающееся в материк и соединенное с океаном или морем одним или несколькими проливами. В данном случае имеется в виду Внутреннее Японское море.

Она по-прежнему была там. Нагретая до нужной температуры, вода лилась в заварочный чайник, из него поднимался пар. Она воспользовалась моим запасом бантя, вечернего чая, который не мешает засыпать, из инкрустированной шкатулки — я купил ее себе в подарок в Хаконэ[1] в прошлом году. Погода была существенно терпимее, чем вчера; цикады сбавили тон; а я никак не мог взять в толк, что происходит в моем доме. Казалось, все спокойно. Некая проекция жизни вдвоем, которая могла бы быть твоей жизнью, и вот сейчас полицейские с этим покончат, подумал я. С отблеском твоих иллюзий. Если только она не уйдет... Поскольку она готовит себе еду, ей потребуется еще какое-то время, во всяком случае достаточное, чтобы западня захлопнулась. Она была там, точно лань посреди поляны, лань, которой невдомек, что волк уже ее выследил... Время текло, капля за каплей, я застыл не дыша. Конец ей... Небо внезапно прояснилось, и кухню залил солнечный свет. Женщина, наполнявшая скороварку рисом, подняла голову к окну. Как ласкало ее утреннее солнце! Как щедро изливало свои дары... Стальная раковина сияла под его лучами. Лицо женщины было повернуто вполоборота, и тут мой взгляд целиком сосредоточился на ее затылке, золотисто-янтарном, красиво изогнутом, на изящной шее, словно вылепленной умелыми руками гончара. Шея цвета песка вела к груди, спрятанной под одеждой, облегавшей две маленькие дюны. Женщина смотрела на волшебное солнце сквозь оконное стекло. Прикрыв веки, она нежилась в этом потоке небесной благодати. Лицо, уже немолодое и, что говорить, почти лишенное очарования, отдавалось лучам, которые струились, не иссякая, для нее одной, ниспосланные бог весть когда со звезды, удаленной от нее на пятьдесят миллионов километров. О, в тот миг ей было все равно что она немолода и некрасива — я знал это точно. Одна, как ей казалось, она была во власти чудной грезы. Щуря глаза, она улыбалась. Тогда мне подумалось: должно быть, для нее это передышка, ей нужно оправиться от каких-то страхов, страданий; она в забытьи. Возможно, даже счастлива. Если бы она только знала! О, ее улыбка... Внезапно эта улыбка пронзила меня болью. Постучать бы по экрану компьютера, чтобы привлечь ее внимание... Что я наделал... Я схватил телефонную трубку. При первом звонке женщина повернула голову, будто очнувшись от сладкого сна. Но потом сразу приняла прежнее положение.

1. Национальный парк вокруг горы Фудзи.

Да подойди же к телефону!! Поспеши! Мне следует быть настойчивее — она должна понять: звонят именно ей! Я упорствовал — бесполезно. Как она может догадаться? Что мне думать о самом себе: заманил ее в ловушку, а теперь пытаюсь вызволить, прежде чем капкан захлопнется. Она следила за тем, как кипит рис, ждала, когда заварится чай, не обращая внимания на мои звонки. Десять, одиннадцать... Крикнуть бы: смывайтесь, пока они не приехали, и больше сюда не возвращайтесь! Или еще короче: они идут! Скоро она поймет. Взгляд на часы. Стрелка мчалась по кругу, время не останавливалось. Женщина наслаждалась лучами солнца, пока не набежало облако, а меня душило желание заорать: да скорей же, иначе долго вам не видать солнца!..

В конце концов я с досадой повесил трубку. Раз ты предпочитаешь полицию, жди. Можешь даже угостить их чаем, поставь три-четыре чашки, ты ведь знаешь, где их взять. Ничего не поделаешь. Секунды капают, солнце скрывается. Она хлопочет над своим рисом, отпивает глоток чаю. Глаза теперь широко раскрыты, улыбка, озарявшая лицо вместе с солнцем, исчезла. Что, если сделать еще одну попытку? Она идет к... Вздрагивает. Стоит как вкопанная. Лань почуяла опасность. Вот она делает шаг назад, выражение лица меняется. Она пятится, пропадает из поля зрения камеры. Успеет ли убежать?

* * *

Как я узнал позже, когда инспектор перезвонил, полицейские установили, что моя дверь заперта. Все окна были закрыты, это их удивило. Они удивились еще больше, когда, взломав замок, никого в квартире не нашли. Впрочем, все ведь было заперто. Решив, что с ними сыграли шутку, они чуть было не удалились сразу. Шутнику пришлось бы дорого заплатить за свой розыгрыш, господин Симура, — заметил инспектор. — Тем не менее для очистки совести они обыскали все комнаты. И в последней, где хранятся татами[1], она и была обнаружена одним из наших сотрудников — в глубине осиирэ, стенного шкафа для футонов[2]. Сперва он ничего не заметил, потому что она забилась в дальний угол верхней полки шкафа и притаилась там в полутьме (он открыл дверцу не полностью). Это был зверек, ошеломленный, онемевший. Да, сжавшееся в ко-

1. Маты из тростника, набитые соломой, которыми в Японии застилают полы домов.
2. Мягкий матрас, набитый хлопком.

мок животное, — вот все, что осталось от человека, — полицейский никогда ничего подобного не видел.

Потом инспектор спросил меня, когда я собираюсь зайти (чем раньше, тем лучше): нужно прочитать и подписать заявление. Не сразу поняв, что он говорит, я чуть замешкался с ответом: в конце дня, постараюсь побыстрее.

Еще долго, после того как женщина исчезла с экрана (очевидно, это произошло именно в тот момент, когда они взламывали замок), мои глаза оставались прикованными к кухне, к этому гипнотическому окошку: десять на пятнадцать, так ведь? Все кончено. В фокусе камеры, как ни в чем не бывало продолжавшей съемку, кухонные приборы и утварь на рабочем столике ждали возвращения самозванки. Как еще ее назвать? Чашка с чаем, скороварка "Дзодзируси", овальная и белая, как страусиное яйцо или лилипутский космический корабль, на которых она оставила отпечатки пальцев, а также, без сомнения, несколько отмерших клеток. Они мертвы, но кишат атомами, внутри которых движутся электроны с полчищами кварков и протонов, и, вероятно, в их физических свойствах, скрытых от нас, таится ключ ко всему. Ключ ко Вселенной и жизни. И потому, если я действительно хочу когда-нибудь понять, что же произошло у меня в доме, возможно, стоит прямо сегодня собрать эти окаменелые клетки и исследовать их.

Усилием воли я стряхнул с себя оторопь, образующую странный сплав с моей грустью — то была не какая-нибудь, а особая, фирменная, грусть, поскольку я крупнейший ее производитель и даже солидный экспортер, как мне не раз приходилось слышать от женщин в минуту расставания. Тем не менее я не собирался лить слезы, глядя на свою скороварку, к тому же коллега задал мне деликатный вопрос: "Ну, что там?" Я мог бы ответить, что в моем доме задержали женщину не первой молодости, которая намеревалась поесть риса, но я построил фразу иначе, употребив слова "вторжение", "нарушение неприкосновенности жилища" и вдобавок "кража", и воздержался от замечания, что ничего не ясно и что эта неясность вовсе меня не успокаивает, а лишь усиливает мое беспокойство...

Комната, где ее *поймали*, — последняя в конце галереи, расположенной вдоль садика между моим домом и смежным; там всего-навсего два куста, два цветника и каменная башенка с фонарем. В эту комнату с шестью татами я захожу редко, она предназначена для заезжих родственников, которые, скажем так, не заез-

жают. В стенном шкафу, где она укрылась в надежде остаться незамеченной, я держу только футоны, одеяла и подушки — в нижней части. Наверху пусто. Да и комната сама по себе пуста. Ее пустоту охраняет ночник из черного дерева и белой бумаги, но маяк этот почти никогда не светит: в последний раз здесь гостили сестра с мужем больше года тому назад.

— • —

17 июля 2008 года, 18 час. 10 мин.

Мы, Тэрадзима Масако, занимающая должность инспектора полиции в Нагасаки, будучи при исполнении служебных обязанностей, констатируем, что обратившееся к нам вышеуказанное лицо заявляет следующее:

"В этот день, около 11 час. 30 мин., я был на работе, на метеорологической станции Нагасаки..."

Лично ознакомившись с настоящим документом, заявитель не имеет возражений, в чем и расписывается в нашем присутствии.

Я стал внимательно читать. Женщина, с которой, проснувшись поутру, я еще не был знаком, сотрудница полиции, описала микроскопическую часть моей биографии. За это ей платили, и она выполнила порученное со всей тщательностью. Она схватила на лету все, что я беспорядочно излагал по телефону поздним утром, и представила в письменной форме. Да, всего один ничтожный отрезок моей жизни, но я знал, что для меня он будет важен вплоть до последнего часа. И хотя я лицо незнакомое, с заданием она справилась блестяще, ее стоило поздравить. Я был растроган. Это именно *то*. Я медленно перечитывал, вокруг было шумновато, но за ширмой ее любезности чувствовалось некоторое нетерпение, и я подписал. Затем задал ей несколько вопросов о самозванке. "Вы будете удивлены, Симура-сан... Дело необычное... Кстати, им уже заинтересовалась пресса..." Пресса? Она подтвердила, не меняя тона: "Пресса". И протянула мне протокол допроса.

Вышеуказанная... признает...

Голос проникшей в мой дом женщины, чьи ответы, до последней фразы, записаны вот тут, перед моими глазами, на бумаге, доносится до меня вперемежку с далекими сиренами "скорой помощи", стонами грачей, трезвоном трамваев в час пик. Вы будете удивлены, Симура-сан...

Моей подпольщице пятьдесят восемь лет, прочитал я, на два года больше, чем мне. Я дал ей несколько меньше, когда она возникла на экране. Фамилия так же банальна, как моя. Она безработная со стажем, таким длительным, что потеряла право на пособие. Еще недавно она жила в отдаленном квартале, где мне, возможно, довелось бывать не более двух или

трех раз. Лишившись доходов, она расторгла договор об аренде квартиры. И тогда покинула свой район, поскольку оставаться там бездомной нищенкой было для нее невыносимо.

Но что мне за дело до всего этого? Я с недоумением поднял глаза на полицейскую. "Читайте дальше, до следующей страницы..." Вероятно, по ее мнению, я читал слишком медленно — действительно читаю я довольно мало, притом я старался вникнуть в детали, отыскать во всем этом какой-то смысл... Как бы то ни было, она сама принялась читать громким отчетливым голосом тридцатилетней женщины. Быть может, она хотела довести до сведения метеоролога то, чего он не сумел предсказать в собственной жизни. Поэтому она начала, как в сказке: "Однажды..."

— Однажды, проходя мимо вашего дома в то время, как вы из него выходили, она замечает, что вы не закрываете дверь на ключ. Она останавливается немного поодаль, делая вид, будто ждет трамвая, а сама наблюдает за вами. Время раннее, вы выглядите типичным служащим, спешащим на работу. Вы идете вниз по улице, исчезаете из виду. Погода прохладная, начинается дождь. После некоторых колебаний, она решается. Стучит в вашу дверь и, не получив ответа, заходит. Из осторожности ненадолго задерживается в прихожей, прислушиваясь. Ей не нужно ничего, кроме короткого отдыха в чистом отапливаемом помещении, и вот она находит все, в чем нуждается.

— Отапливаемом? Я отключил отопление в марте!

— Но я говорю про октябрь. Речь идет о прошлой осени. Пожалуйста, не перебивайте... По вашему виду и одежде она понимает, что вы работаете и ушли на весь день. Она садится в гостиной, чтобы перевести дух. Чуть-чуть передохнуть здесь, на диване. А потом уйти. Ее тело расслабляется. И вот измученная недосыпом, она задремала. Проснувшись, вздрогнула. Где она? Вспоминает, прислушивается, но ничего не слышно. Как? Прошло уже три часа! Что ж... Она чувствует себя гораздо лучше. Уже середина дня, а уходить так не хочется. Какая благодать: наконец-то крыша над головой, уют... Еще немножко... Да и зачем, куда ей идти? Родных у нее нет, последние нити, связывающие с миром, — несколько бывших коллег, но она не решается продолжать с ними общение, с тех пор как перестала вести пристойную жизнь. Она в первый раз готовит себе чай и открывает холодильник в кухне, где позже вы обнаружите ее с помощью веб-камеры.

В верхней части осиирэ, где она затаилась при появлении полиции, были найдены: свернутая циновка, одеяло, две пластиковые бутылки, кое-какие туалетные принадлежности и не-

много сменного белья. Надо вам сказать, господин Симура (да вы, наверное, сами уже поняли), что эта женщина прожила у вас без вашего ведома около года, в той комнате, куда, как она заметила, вы не заходили. Да, около года. Обратите внимание, ваш дом был для нее не единственным местом жительства. Было еще два адреса, где она время от времени ночевала инкогнито. Во-первых, дом одного неженатого коммивояжера, он часто отсутствовал и имел привычку отмечать в настенном календаре на кухне планируемые в ближайшие недели поездки. Этой информации она из виду не упускала. Кроме того, она свила гнездышко у глухой старой дамы, которая, овдовев, пользовалась только первым этажом. Сделав себе дубликат ключа, она спокойно входила и выходила, вечером или ночью, пока старушка спала в дальней комнате. Однако, по ее признанию, большую часть времени она провела у вас. Другие пристанища она рассматривала скорее как запасные варианты.

Около года. Внезапно я перестал слышать голос инспекторши. В голове все спуталось. Вспоминались все эти вечера, ночи, когда я мнил, будто я один и надежно защищен от мира. Под стеклянным колпаком. В норе, в берлоге, в пещере. В глубине моего смятения закипал смутный гнев, хотя я не знал доподлинно, к кому он обращен. Да, все так спуталось, что в течение тридцати бесконечных секунд все звуки, доносившиеся извне: слова полицейской инспекторши, раскаты голосов в кабинетах, цикады, сирены, — слились в неразличимое жужжание, глаза ничего не видели, кроме пчел, вернее, ячеек улья; все стало сплошь тускло-серым, и на этом фоне мельтешили светящиеся точки; пальцы на руках и ногах подрагивали все сильнее и сильнее; не испытывая боли, я терял контроль над своими конечностями. Было такое чувство, будто меня постепенно куда-то уносит, в каком направлении, не знаю. Потом мне удалось сделать вдох, еще один, поглубже, и дурнота понемногу рассеялась. Говорившая со мной женщина, чей голос странно отдалился, возвратилась. Я возвратился к реальности.

— Она жила у вас с прошлой осени. Вы долго ничего не замечали — все дело в том, что свою скрытность она сумела превратить в искусство выживания. Однако мало-помалу она, как видно, почувствовала себя в безопасности и освоилась. От вас не ускользнуло, что иногда она брала еду на кухне, думая, будто это пройдет незамеченным, как и все остальное.

Но вернемся ко дню ее прихода. Она обследует все комнаты. По определенным безошибочным признакам понимает, что вы живете один. Бросает взгляд туда-сюда, идет вдоль галереи, ведущей к уборной, и, наконец, находит место, где устроит себе жилье. Так все, по ее рассказу, и началось: она распахнула осии-

рэ, осмотрела его. Внизу все аккуратненько сложено. Похоже, никто не пользовался вещами целую вечность. Эта комната лишняя, дожидается гостей. И тут ее словно осеняет: она и есть гостья, которой дожидалось это место! Солнце выглядывает из-за туч, жарко греет сквозь приоткрытое ею окно, рисуя на тростниковой циновке теплый прямоугольник. Она усаживается в лучах света. Ей хорошо. Блаженство? Во всяком случае, оцепенение: именно в это состояние она погружается на время, и все мысли в ее голове сводятся к одной: остаться. Ненадолго. Солнце на татами такое ласковое, что она уже представляет себе, как устроится здесь. Она попробует провести ночь в стенном шкафу. Впервые за много времени принимает душ. Помывшись, чувствует себя помолодевшей. Это ее слова. Она решается у вас переночевать, один раз, чтобы подкрепить силы. Забравшись в свое логово, она слышит, как вы возвращаетесь...

* * *

Мне отдали найденный у нее дубликат ключа. Я поблагодарил кивком. Замок все равно сменят сегодня же вечером, и этот ключ уже не пригодится. Когда я пришел домой, начинало смеркаться. Линия берега по ту сторону залива вырисовывалась в виде диадемы фонарей и маяков. Не зажигая света, я минуту помедлил в гостиной, собираясь с духом, перед тем как открыть дверь в кухню. Потом открыл. День угасал, напоследок отчетливо высвечивая контуры чайника, чашки с недопитым бантя, скороварки, йогурта. Полиция ничего не тронула. А из-за буфетного стекла за мной наблюдала камера. Это длилось не больше секунды, но я успел представить себе, как кто-то прямо сейчас следит с ее помощью за моими движениями и снимает телефонную трубку, сообщая в полицию о моем присутствии в доме. Я пойман в кухне и посажен в тюрьму. После чего тот человек возвращается домой и убирает на место все, что я передвинул. А тем временем за его действиями через веб-камеру следит еще один тип, считающий себя истинным хозяином дома, и тот, в свою очередь, снимает телефонную трубку.

Вместо этого гоблин женского пола, дважды возникавший на моем экране, попался в мои сети. Предметы, в беспорядке брошенные ею сегодня утром, напоминали фотографию, слишком рано извлеченную из ванночки с проявителем. В натюрморте из кухонных принадлежностей было что-то от Геркуланума[1], застигнутого врасплох удушающим газом, и внезап-

1. Древнеримский город, погибший наряду с Помпеями во время извержения Везувия.

но меня обдало ужасом. Непонятно как возникшая цепочка ассоциаций заставила задуматься о собственном прошлом. О тех днях, что не оставили ни малейшего воспоминания... Например, 10 октября 2006 года: что делал я в тот день? Что особенного совершил, в отличие от 1 марта 2003 года? Как метеоролог, я старался запоминать, какие события происходят на небе; но что останется после меня самого здесь, на земле?

И это еще не все. Благодаря своего рода отдушине, приоткрывшейся в моем сознании с появлением этой женщины, кое-что стало для меня проясняться. Я понимал, что этот год, общий для нас обоих, хотя она меня не знала, а я и вовсе ничего о ней не ведал, изменит и уже изменил во мне что-то. Я не мог бы сказать, что именно. Но из этой переделки невредимым мне не выйти. Я смотрел из широкого окна гостиной на засыпающий город, и взгляд проникал далеко за пределы моей жизни, далеко-далеко за пределы жизни одного человека. Регулируя фокусировку, постепенно сокращая глубину поля зрения, мои глаза выделили четко лишь деревянные здания Дэдзимы — колокольню и служебные постройки старинного искусственного острова в порту, где в течение двух с половиной столетий держали в изоляции иностранцев, торговавших с империей, немногих голландских моряков и купцов. И этим европейцам никогда не дозволялось ступать на твердую землю в нескольких метрах от них. Должно быть, в тот вечер я был особенно склонен к странным размышлениям: мне стало казаться, что Нагасаки долго служил чем-то вроде стенного шкафа в дальнем конце просторной квартиры Японии с анфиладой из четырех главных комнат — Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю; империя же все эти двести пятьдесят лет, так сказать, притворялась, будто ей невдомек, что некий нелегальный пассажир, Европа, тайком поселился в шкафу... А между тем сколько технологий, идей, знаний шло транзитом в обоих направлениях через это "двойное дно"! В какой степени Дэдзима изменила наши воззрения, пока длилась вековая спячка? Со своей стороны я опасался, что осиирэ в моем доме, а также все события, приключившиеся из-за него в моей скромной жизни, дестабилизируют, ослабят меня, выбросив в открытое море бытия.

Я зажег свет в кухне и все тщательно прибрал, затем включил радио погромче: передавали старую песню, там говорилось о тех, кто продолжает идти вперед, в то время как другие гибнут. Если бы мне выпал счастливый шанс и некто, наблюдая тогда за мной из-за буфетного стекла, позвонил бы, чтобы предупредить, какие рифы меня подстерегают... Клянусь, я тотчас снял бы трубку. Но телефон упрямо молчал. "Пропущенный вызов" — вот единственное сообщение на его лили-

путском экранчике с указанием часа, когда я пытался встревожить незваную гостью.

Потом я постоял перед стенным шкафом. Две панели высотой два метра сорок сантиметров. Одна из них отодвинута и закрывает собой другую. От полки до потолка не больше восьмидесяти сантиметров. Глубина? Максимум метр. Внутри деревянная обшивка. Спальное место класса люкс в неподвижном поезде. Полиция ничего не тронула. Футон; смятые простыни; пластиковые бутылки. Когда полицейские ее увели, она, видимо, прихватила только свои туалетные принадлежности и узелок с бельем. Под подушкой нашелся роман, который я разыскивал на прошлой неделе в книжном шкафу — "Скандал". На страничке с загнутым уголком, там, где ей пришлось прервать чтение, Сюсаку Эндо пишет: "Неожиданно главный механизм его бытия разладился. И на то была вполне очевидная причина. С того самого вечера, как..."[1] Идиот, проворчал я про себя, поскольку мне пришло в голову послать книжку в тюрьму, чтобы она ее дочитала. В сущности, интуиция ее не обманула, ведь гостей здесь практически не бывало. Мой престарелый отец никуда не ездил. Что касается сестры и зятя, я ждал их уже больше года. Я вспомнил, когда сам ездил к ним, — в начале мая; наверное, тогда она чувствовала себя тут полной хозяйкой. Должно быть, спала на татами. Была ли она одна в своей келье в ту ночь? Я задвинул дверцу шкафа и, пятясь, вышел из комнаты, так как в квартиру позвонили: явился слесарь.

Позже, включив совсем тихо телевизор, я слушал шум внешнего мира. Душа ни к чему не лежала. Канал документальных фильмов вещал о стариках и роботах, которые будут когда-нибудь помогать им в быту. Опять! Похоже, это дежурная тема! Число жителей страны, достигших ста и более лет, равное ста пятидесяти трем в 1963 году, спустя тридцать пять лет дошло до десяти тысяч, а сегодня возросло до тридцати шести тысяч двухсот по всему архипелагу, сообщала молоденькая журналистка (ей предстоит присоединиться к данной категории никак не раньше 2080 года). Форменное нашествие. Те, кто отпразднует столетие в нынешнем году, получат серебряный кубок из рук премьер-министра. И естественно речь зашла о Танабэ. Опять этот кретин тут как тут: дотянул, видите ли, до ста тринадцати... Танабэ рано встает и читает газету, Танабэ по утрам пьет молоко... Танабэ то, Танабэ се... Этакий всенародный ма-

1. Сюсаку Эндо (1923—1996) — японский писатель, чье творчество сосредоточено на проблематике христианства в Японии. Роман "Скандал" (1986) посвящен беспощадному психологическому анализу "второго 'я'"; вызвал неоднозначную реакцию в связи с откровенным описанием извращений.

лыш в колыбельке, над которой каждый день склоняется камера. Я представил себя в преклонном возрасте, лет через пятьдесят. В рудниках Бразилии или Конго, где добывают колтан, касситерит и другие диковинные металлы, ждут материалы, из которых для меня сделают робота. В дни моей бесконечной осени он будет при мне неотлучно: ему предстоит беседовать со мной, запоминать мои предсмертные распоряжения и однажды принять мой последний вздох. В один прекрасный день (его на это запрограммируют) он положит руку мне на плечо, ласково позовет по имени, затем проведет этой рукой перед моими глазами и возле рта, после чего даст сигнал к процедуре похорон, набрав номер Скорой помощи. Я выключил телевизор: мое жилище погрузилось во тьму, а я ловил доносившиеся звуки — последние трамваи, отдаленный шум машин, порой цикады, музыка ветра в бамбуковой роще и потом капли дождя, тяжелые, как время.

* * *

Пока я ворочаюсь с боку на бок, пытаясь подобраться ко сну то с фланга, то с тыла, меня сверлит мысль, которую невозможно отогнать. В одну из сотен ночей, проведенных в нескольких метрах от меня, эта женщина могла бы встать и ударом ножа убить меня во сне. Я ничего не знаю о ее прошлом, не знаю ни побуждений, ни причин, которые заставили ее здесь обосноваться и потом пачкать мои простыни, вытираться моим полотенцем, гадить в моем сортире, и за все это я на нее зол. Я находился целиком в ее власти; однако помышляла ли она о том, чтобы легко и без всякого повода меня убить и безнаказанно скрыться? Вспоминается рассказ Эдогавы Рампо о человеке, который тайно живет в диване[1]. Кончается ли рассказ убийством? Забыл; да это и неважно; много месяцев я жил в рассказе в духе Эдогавы и задним числом никому такого не пожелаю. Она меня не прикончила, очевидно потому, что она искала тихое, обжитое, прибранное местечко, намереваясь без лишних тревог продолжать бессмысленную авантюру, возможно, в ожидании какого-то проблеска света. Значит, это не была ни госпожа Смерть, ни госпожа Страх. Скорее госпожа Кто Угодно, и не было в ней никакого величия.

Мне давно бы следовало спать, и, лежа на спине, подогнув ногу, я уже погружался в сон, как вдруг одна закравшаяся мысль уничтожила все мои попытки заснуть. А что, если в доме прячется какая-то другая женщина? Эта нелепица застави-

1. Эдогава Рампо (искаженное "Эдгар Аллан По"; настоящее имя — Таро Хираи, 1894–1965) — основатель современного японского детектива.

ла меня усмехнуться во тьме, и все же мне представилось, что в каждом стенном шкафу таился призрак былой любви, словно задержанная с поличным женщина воплощала мою давнюю влюбленность, скажем, юношескую любовь с первого взгляда, которую я не узнал. Я решил прибегнуть к своему запасу снотворных. Неестественный сон, тяжелый и серый, как плотная туча, прогнал эти мысли. Но спокойствие его нарушали хитросплетения грез, как нарушают спокойствие морского плавания яркие зигзаги молний в ночи.

— • —

Она прожила год в подполье

Он удивлялся, замечая, что на кухне пропадают продукты: пятидесятилетний холостяк, житель южных кварталов, установил камеру и выяснил, что в его отсутствие по дому разгуливает незнакомка.

Хозяин обнаружил самозванку, наблюдая за квартирой с места работы, и вызвал полицию, думая, что имеет дело с воровкой. Полицейские задержали женщину, поселившуюся в пустующем шкафу, где она расстелила циновку и разместила свои пожитки.

"Мне негде было жить", — объяснила пятидесятивосьмилетняя безработная. По сообщению полиции, она тайно жила здесь около года, иногда временно перебираясь на одну из двух других квартир, где также ночевала инкогнито.

Я отложил "Нагасаки симбун" — газету, которую никогда не покупаю. На статью указали мне коллеги; все вели себя уважительно и деликатно. Выдержав паузу, они покачивали головами, будто приговаривая: "Надо же... Ну и ну!" "Мне все равно", — хотел было я сказать, перед тем как пробежать эти строки. Что-то в моей жизни произошло, но теперь закончилось, инцидент исчерпан. Хотя ничто не было исчерпано и инцидент только начинался, я не желал подавать виду. Я отвечал на расспросы, играя двойную роль жертвы и мимолетной звезды. А они подшучивали, чтобы меня развеселить. "Неблагодарный! Похоже, вы нашли оригинальный способ выставить из дома жену, Симура! А сами все сваливаете на полицию". Я улыбнулся тому, кто это сказал, едва заметно, чтобы у него не возникло охоты развивать эту тему. Все вернулись к работе. Во влажных инкубаторах, нависших над Китайским морем, родился тайфун, и у нас были все основания вскоре ждать его вторжения в наши пределы. Машинально кликнув мышкой на экране, я открыл изображение кухни. За окнами, высоко на деревьях, коршуны выкрикивали свое "ки-и, ки-и". Я никогда по-настоящему не прислушивался к их крику, не обращал внимания, как они летают. Неизвестно,

враждебно ли их "ки-и", предвещает ли оно нападение с пикированием или это лишь песнь дозорного.

Весь день коллеги продолжали надо мной подтрунивать, но благодушно, так что я сдался и согласился после работы пойти вместе с ними в бар. "Вы ведь теперь холостой..." "Несколько кружек пива вас утешат, Симура..." Когда пришла вечерняя смена, я отправился с товарищами. Их пристанищем было крошечное заведение неподалеку от торговых галерей Хаманомати. Всего пять мест у барной стойки, именно пять и ни одним больше — должно быть, они это знали, поскольку нас было пятеро. Я никогда прежде к ним не присоединялся, несмотря на их жесты доброй воли. "Наконец-то мы здесь!" — выпалил лидер тесной компании и с поклоном в мою сторону поднял рюмку, улыбаясь и сощурив глаза. Перестанет он наконец улыбаться и так на меня смотреть? Необходимость сдержать отрыжку нарушила его глупое блаженство.

Мы выпили. В одиночку я пью очень мало, а поскольку весь год я, как правило, один...

— Э-хе-хе... — вздыхали они по очереди. — Вы, конечно, правы, Симура, эх!.. Нам бы ваше мужество...

— Мужество?

— Да, чтобы выставить наших благоверных!

И мы продолжали пить, потеряв счет времени, в этом "Торис-баре", узком, как вагон для перевозки скота. Два вентилятора, один против другого, поскрипывали, медленно поворачиваясь на сто восемьдесят градусов то в одну, то в другую сторону, будто не одобряя нас за то, что мы пили пиво, или за наше возбужденное поведение, не знаю. Коллеги, затащившие меня в эту жалкую дыру, были куда моложе, чем я, — они были молоды, а я нет. Они поддразнивали женщину, которую называли хозяйкой, некую Матико, с морщинистым лицом, непрерывно улыбавшуюся, в платке, странно повязанном вокруг головы, отчего она походила на длинноухого кролика. Сама по себе Матико была тут ни при чем, но при взгляде на нее мое состояние ухудшалось. Где им было заподозрить, в какое уныние приводила меня выпивка. С каждым глотком я отдалялся от других, а они хохотали все громче, иногда совсем заглушая музыкальный фон. Юкио, самый экспансивный среди нас, принялся рассказывать правдивую историю, услышанную по радио: утром 6 августа 1945 года один бизнесмен просыпается в гостинице города Хиросимы, куда прибыл накануне. Через несколько минут город потрясает взрыв, от которого он чудом не погиб, но впал в состояние шока. Он кое-как возвратился домой в Нагасаки, но на следующий же день после возвращения, 9-го, ударная волна от второй бомбы

отбрасывает его к противоположной стене комнаты. Так вот, сегодня, в свои девяносто три года, этот здоровяк чувствует себя превосходно! Он даже недавно отсудил возмещение убытков с процентами, будучи, насколько известно, единственным, кто за несколько дней пережил два атомных взрыва.

Они расхохотались. Я представил себе, что на эти деньги бедняга сможет купить себе мультифункционального робота, который будет ухаживать за ним в оставшиеся годы. Или месяцы.

Выслушав историю про этого типа и две бомбы, я поулыбался (столько, сколько нужно), после чего встал, ссылаясь на возраст, — мол, я не так стоек к алкоголю, как вы, молодежь, а завтра опять на службу! Откинув *норэн*[1], я ретировался вместе со своей грустью. Вывеска "Торис-бар" еще долго подмигивала мне в спину красно-оранжевым, и последняя песенка, оттуда доносившаяся, заезжéнная мелодия, знакомая всем представителям моего поколения, провожала меня до самого дома. У меня не было ни малейшего желания сразу ложиться спать. Я мог бы побродить у реки, где есть несколько довольно сомнительных кабаре, но в глубине души мне этого вовсе не хотелось. Душа не лежала ни к чему; она застыла на мертвой точке.

Размонтировать камеру было парой пустяков. Сложнее — решить, что с ней делать. Выбросить? Можно бы и убрать в какой-нибудь ящик, она уже никому не причинит вреда. Когда она оказалась в моей руке, я заметил, что сжимаю ее с силой, как будто хочу раздавить. В том, что кто-то сейчас находится за решеткой, виноват вот этот глазок! Понимая, что пытаюсь свалить вину на вещь и негодуя на себя, я возмутился вслух. Если я с собой резок, то всегда на "ты". "Тебе мало, хочешь чего-то еще? Положить на стол новую приманку и поджидать, пока другая мышь попадется так же глупо, как первая? Хочешь заснять отлов? Потом прокрутить на видео? Воображаешь, что твоя кухня — зал для кастинга? Скольким горемыкам ты хочешь устроить смотр, чтобы наконец найти ту, которая тебе нужна, сказочную принцессу? Тебе не удалось встретить ее где-нибудь на улице, как это случается со всеми, и ты надеешься, что она материализуется прямо здесь? Давай-ка протрезвись, ты же никогда не мог удержать возле себя женщину..."

Разумеется, рвота приносит облегчение. Среди всего, что мы извергаем вон, есть слова, которые вертятся в голове и не

1. Бамбуковая или матерчатая занавеска над входом.

перевариваются. На поверхности тяжелого пива плавали остатки пищи. Я думал, что теперь меня успокоит душ и навалится усталость. Ничего подобного. Вытянувшись на постели, я ждал, но ожидания не оправдывались. Надеялся ли я заснуть? Нет, забыть. Не ту бедную женщину — она была мне никем; забыть всю свою жизнь, чья пустота и бесплодность внезапно обнажились передо мной. В ней давно уже не теплилось никаких надежд. Эта женщина достойна проклятия. Из-за нее все как в тумане.

Так часа два я пережевывал жвачку своей досады, потом встал. В ту ночь я совершил преступление: снова закурил. Стоя в гостиной у окна, которое открыл, чтобы проветрить. Наконец отвращение взяло верх. Я вытряхнул пепел, стыдясь, что опять принялся за старое, и вышел из комнаты. Я оказался в коридоре, у меня не было заранее обдуманных намерений, кроме сигареты. Я направился к осиирэ.

Мне хотелось понять, каково это — быть там. Что там слышно. Могла ли она как-то слышать меня. Я с трудом влез на верхнюю полку. Может, раньше она была акробаткой? Или танцовщицей? Откуда такая ловкость? Я улегся там, где она провела столько ночей. Тело едва помещалось в этом душном склепе, я прижимался ушами к одной стенке, пальцами ног — к другой. И все же я там остался. Это было до ужаса тесное обиталище, напоминающее капсульный отель или отсек космического корабля. Как она выдержала столько ночей? Я долго прислушивался к своей квартире и принюхивался — да, принюхивался к запахам, которые она могла бы оставить, вместо подписи, на память о своем пребывании; как бы я хотел, чтобы матрас был пропитан ею. Чтобы он принял ее форму.

Там, за окнами, прошлое стало понемногу желтеть. Черствеет род человеческий. Говоря о прошлом, я имею в виду время ее ареста, в середине лета, и тот вечер, когда я вновь оказался один в своем доме, один, словно меня *бросили*. С тех пор минуло три месяца; то время кажется уже далеким. Полагаю, я хотел бы его забыть, и должен сказать, что появление осени на сцене в этом году мне помогло. Ибо эта осень глубоко проникла в наши души. Она пролилась дождем в наши сердца. Тишина воцарилась там, где ее доселе не было. В иные дни прохожие, идя вдоль верфей, не слышат привычных ударов молота. Ни эха, ни стука, ни зова. Подъемные краны в порту прекращают погрузку и разгрузку. В других местах города, там, где шло большое строительство, застыли землеройные машины. Этих динозавров индустриальной эры постигла

странная болезнь. Она зовется Кризисом (о чем постоянно твердят по телевизору), и неизвестно, как ее одолеть. Банки перестали ссужать деньги, а у некоторых и денег нет. Что произошло? Никто на самом деле не знает, и от этого тревожно. Наступает оцепенение. В песочнице, где дети играли в капитализм, потерялись правила игры.

— Куда ты их задевала, дрянь? Они же только что были у тебя!

— Да никогда в жизни! Это же ты только сейчас...

Система чихает, и мы дрожим, слабеем и вновь становимся совсем маленькими. В окружающей тишине разносятся слухи, будто осыпаются, шурша, кусочки облупленной стены. В этом шуршании слышатся слова "реструктуризация", "пересмотр". Даже у нас в метеослужбах говорят о сокращении штата: можно подумать, что уменьшилось количество погодных явлений или что собираются закрыть моря (и это было бы, в сущности, правильно, поскольку некоторые из них опустели). За три месяца кризис чуть не заставил меня забыть, что одна женщина потерпела крах раньше, чем все мы, и, став бездомной, не по доброй воле "обрела" приют в городской тюрьме. Процесс по ее делу вот-вот начнется. Вчера я получил вызов в суд. Не дождь мешает мне сомкнуть глаза сегодня ночью: возможно, страх, что придется выдерживать взгляды моей подпольщицы. Или ее отсутствие усилило чувство неполноты, отравляющее мои дни?

Мне никогда не нравились успешные люди.

Не потому что они успешны, а потому что они становятся игрушкой своего успеха, своего ослепленного "я". "Я" любой ценой — это конец человека.

Кризис делает людей чуть более одинокими. Что теперь значит это "мы", так часто повторяющееся в разговорах? "Мы" умирает. Вместо того чтобы сплотиться вокруг общего огня, все эти "я" разобщаются, шпионят друг за другом. Каждый надеется справиться с трудностями лучше, чем сосед, и это тоже, вероятно, означает конец человека.

Что бы там ни было, процесс ли, кризис ли, но забыть подпольщицу мне не удалось. Знаю, она рискует получить три года и вдобавок пятьсот тысяч йен штрафа по статье сто тридцатой; пятьсот тысяч — целое состояние для женщины, у которой, поди, нет и десяти. Должно ли мне быть стыдно и за что именно? Этот вопрос крутится у меня в голове, хотя никто мне его не задает. Покойная мать называла меня сентиментальным. Пусть свершится правосудие, сказала бы она сегодня; что ж, оно свершится, но уже много ночей, да, я сплю отвратительно.

Меня разбудил странный шум. Что-то упало? Не у нас: обе мои сокамерницы спят, и ничего в нашей камере не падало. Это случилось где-то еще.

Или это крысы.

При свете дежурной лампочки разбираю: скоро четыре часа. Ни одной звезды на небе, затянутом облаками. Единственная наша звезда — глазок. Если он не блестит, значит, из коридора за нами следит надзирательница. В такие минуты я застываю, перестаю думать. Моя жизнь приостанавливается, пока не кончится это затмение. Скрытая камера... Из-за такой штуки меня и арестовали, сказала адвокатша. Повсюду слежка. А я-то без всякого опасения целый день расхаживала по квартире... Если бы не эта камера, которая меня выдала, все могло бы продолжаться долго. Там мне было так хорошо. Солнце освещало комнату начиная с часа дня, и я устраивалась на циновках, листала журнал или ничего не делала, просто немного загорала, приоткрыв окно, чтобы проветрить: от этих татами, отнюдь не новых, пахло амбаром. Да, это могло длиться и длиться, я бы не жаловалась. Естественно, я старалась соблюдать осторожность. К примеру, когда пользовалась ванной. Я заходила туда только утром, чтобы все успело просохнуть к его возвращению. Закончив, убирала все вещи на место — и в ванной, и в кухне. Для этого требовалось точно запомнить положение предмета, прежде чем его коснешься. Но чем больше я чувствовала себя как дома, тем пристальнее надо было следить за собой: усиливалось искушение потерять бдительность, и оттого возрастал риск совершить промах. Первое, чего я боялась, — закричать во сне, когда привидится кошмар. Он бы насмерть перепугался, услыхав стоны своего стенного шкафа. Выдай я себя, пришлось бы объясняться, он выбросил бы меня на улицу среди ночи или скрутил бы и вызвал полицию. Поначалу я не спала — так силен был страх потерять убежище, где я потихоньку приходила в себя, зализывала раны, нанесенные жизнью. Правда, я успокаивала себя тем, что кошмарами не страдаю. Прошло, должно быть, уже немало лет с тех пор, как они перестали меня мучить, а здесь все пережитое казалось таким далеким. Но кто знает, что может выйти на поверхность души? Ночью внезапно открывается потайная дверь, впуская на сцену мерзких персонажей — они мстят за то, что мы изгнали их из дневных мыслей. Мы думаем, что избавились от них, а они ждут, когда пробьет полночь, чтобы вновь появиться в нашем ночном театре, вылезти из троянского коня и посеять ужас.

В кухне тоже приходилось напрягать внимание, и от этого можно было сойти с ума. Чаще всего я добывала себе пропитание в мусорных баках позади круглосуточного квартального универсама. Я кормилась за его счет (о чем никто там не догадывался), так как просроченные продукты немедленно выбрасывались. В дни проливных дождей или когда я плохо себя чувствовала, заимствовала понемножку из хозяйских запасов, довольствуясь рисом или макаронами. Продуктов, исчезновение которых он мог бы заметить, я не брала. Почти никаких. Лишь изредка соблазнялась йогуртом или глотком фруктового сока. Вот и всё. В конце концов я приноровилась к его вкусам и со временем даже полюбила то, что нравилось ему.

Но неужели, при всех моих предосторожностях, он действительно ничего не замечал? Иногда казалось, что он меня засек, но терпел. *И* терпел. *И* или *но*? Словом, он мирился с моим присутствием, как люди до поры до времени сосуществуют с мышью, — из любопытства или из жалости. Потом наступает день, когда они открывают стенной шкаф, где хранятся мышеловки, и *хоп!*

За целый год, однако, настоящая опасность угрожала мне единственный раз. Дело было весенним днем, в послеполуденные часы, когда нет необходимости быть начеку. Я не заметила, что он вернулся домой раньше обычного. До чего приятно солнце пригревало татами! Ровно так, как нужно, ни одного лишнего луча. Я читала роман, взятый наугад из книжного шкафа в гостиной. Книга была захватывающая, о двойниках. Я отключилась от внешнего мира, не слыша ни шума машин, движущихся по орбите вокруг центра, ни тявканья соседской собачки. И тут он открыл входную дверь. Колебания пола под его ногами вовремя дали мне об этом знать: я успела исчезнуть в глубине осиирэ, благо, дверца оставалась открытой достаточно широко. Мне пришлось совершить прыжок, явно превосходящий человеческие возможности, скорее это была реакция животного, точная и бесшумная. Несколько шагов — и он входит в мою комнату. В страхе, что он меня заметит, я затаила дыхание. Без сомнения, пришел мой последний час в этом раю. Но я ошибалась... Через пару секунд он водрузил на татами большую картонную коробку. Значит, его появление никак со мной не связано... Я потихоньку-полегоньку начала дышать. Цедить воздух по капле. Он мог распахнуть шкаф, чтобы убрать туда коробку, но нет: извлек из коробки компьютер и аксессуары.

Пока он был в комнате, я смотрела на его профиль. Его внешность на близком расстоянии меня не поразила — я ведь

уже мельком видела его издалека на улице, до того как пробралась в дом: особым шармом он не отличается, пресный. *Порядочный.* У сотен людей в любом городе такие же банальные лица. В последний момент мне удалось задвинуть дверцу осиирэ, и сейчас я смело разглядывала его через узкую щель. Между нами не было и двух метров. Все время, пока он здесь находился, я внимательно наблюдала за ним. Сосредоточенный, он поглощен распаковыванием коробки. Видно, уж очень притягателен подарок, который он себе преподнес. Потом он вышел из комнаты. Я забеспокоилась. Что он собирается делать с этим компьютером? Не намеревается ли подключить его прямо здесь, превратить комнату в рабочий кабинет и сидеть в интернете вечера напролет? После ужина он вернулся и все унес, чтобы установить в другом месте, — в гостиной. У меня вырвался вздох облегчения. Впрочем, немаловажно было узнать, с кем имеешь дело. Я уже представила себе этого человека, слыша доносившиеся до меня шаги, голос, кашель. И этот образ внушал спокойствие. Мужчина не из тех, кто вцепится вам в глотку, кто способен убить в минуту бешенства. И потом — совпадение по меньшей мере волнующее — мы явно были сверстниками.

Наутро он, по обыкновению, с сухим щелчком захлопывает входную дверь, властно поворачивает ключ, и я, как всегда, вздрагиваю. Но в этот день мне не до сна. Предстоит провести расследование. Оно займет недели и останется незавершенным до моего ареста. Вероятно, это самое тщательное расследование о незнакомце, когда-либо предпринимавшееся незнакомкой. Для начала я выдвигаю все ящики, мимо которых проходила месяцами, не прикоснувшись к ним. Вот — скорей! — фотографии разных лет, кое-где я его узнаю. Ни на одном снимке нет подписи, и я строю догадки, в каких отношениях он с окружающими. Кто это: братья, сестры, близкие или дальние родственники, бывшие любовницы? С кем из них он общается до сих пор, какие чувства к ним испытывает? Кто из них сейчас жив? В этом доме все по-прежнему дышит скромностью. Бегло просматриваю расчетную книжку малооплачиваемого метеоролога. Счета информируют о потреблении воды и электричества. Что касается телефона, он очень экономен, за границу не звонит. Расследование буксует. Предчувствую, что человек он ничем не выдающийся, простой. Человек из толпы. Все же продолжаю. Разве не ради народа я боролась в своей прежней жизни?

В следующий раз опять берусь за фотографии, рассматриваю их одну за другой и пытаюсь установить хронологию, уга-

дать, какие нити связывают, связывали раньше этих людей. Прошлое Симуры ничем не примечательно. *Симура Кобо.* Вероятно, когда мы оба умрем, после него останется не больше, чем после меня, — ничего.

Говоря о себе, я, конечно, имею в виду ту личность, которой я стала сегодня. Прежнюю, забытую, никто уже не разыщет, да и кого она могла бы заинтересовать? Быть ничем — вот что общего между мной и этим человеком, и нет никакого повода ни для гордости, ни для самоуничижения. В остальном мы далеки друг от друга. Ничто и ничто часто во всем не схожи. В сущности, устроив в его доме форменный обыск, я на самом деле хотела выяснить одну-единственную вещь: когда он здесь поселился.

И этот человек, совсем не привлекательный, но и не отталкивающий, появится завтра в зале суда. Я могла бы рассказать судье, в какой шкаф он убирает свой костюм и галстук: запах его вещей, особый запах чистоты, хранится в моей памяти.

Когда я вошла в зал суда, он был уже там, но наши взгляды не встретились. Ни тогда, ни после. Конечно, он видел меня раньше — через камеру, но все-таки я думала, что ему любопытно узнать, как я выгляжу в жизни. То ли это крайняя степень равнодушия с его стороны, то ли выражение затаенной досады? Проживание в его доме наверняка обойдется мне недешево. За все эти ночи мне предъявят счет на кругленькую сумму. По тарифу высокого сезона... Хочу внести ясность: я не чувствовала за собой никакой вины. Все гораздо прозаичнее — мне было неловко. Неловко оттого, что я знаю марку нижнего белья моего обвинителя, его кулинарные вкусы и любимые телепередачи, круг его чтения. Ведь я перерыла в его доме все что возможно, и, несомненно, теперь мне известно об этом человеке, по крайней мере, столько же, сколько его сестре из Нагои, чьи письма я читала: в них она чаще всего объясняла, почему никак не сможет приехать на эти праздники; но, возможно, в следующий раз... Для меня не секрет ни его рабочее расписание, ни его мания порядка — она нередко меня раздражала и вместе с тем пугала: кто знал, какая вещь, по небрежности поставленная не на то место, станет однажды причиной моего провала.

Сейчас он послушно отвечает на вопросы. Я слышу знакомый голос, доносившийся до меня приглушенно сквозь раздвижную дверь моего убежища в те вечера, когда он говорил по телефону или наедине с собой громко комментировал телевизионные новости — кому, как не мне, лучше всех известны его робость, отсталые взгляды, его почтение, чтобы не

сказать преклонение, перед папенькиными сынками, которые нами правят.

Симура меня не обвиняет. Скупыми словами описывает ситуацию, подчеркивает, что я ничего в доме не украла и не сломала. Отмечает, что только иногда я по мелочам воровала на кухне и в конце концов он обратил на это внимание. А вот оно что... В сущности, все сказанное им делает мне честь. Моя единственная вина состоит в том, что я находилась там, где находиться не имела права. Да, похоже, процесс ему неприятен. Он нам всем неприятен, поэтому завершим мы его как можно скорее. Только один раз Симура повышает голос. Этот голос, слегка дрогнувший от волнения, задевает меня тоном упрека:

— Я уже не чувствую себя дома.

Тогда я поднимаю на него глаза, зная, что он смотрит на председателя суда. Вот снова его профиль с левой стороны, точно правой у него нет или он ее постоянно прячет. Определенно, он не в своей тарелке. Очевидно, ему не терпится вернуться домой. Может, он не держит на меня зла? Кто знает. Я слышу, как он называет меня или "обвиняемая", или "женщина, поселившаяся в моем доме". Никогда не называет по имени, не указывает в мою сторону рукой. У судьи тоже вид напряженный, как будто он вдруг заметил, что данное дело переходит общепринятые границы стыдливости и приоткрывает нечто по ту сторону правосудия, нечто такое, над чем классическое уголовное право не имеет никакой власти.

Мне дают пять месяцев, без штрафа за ключ. "Наказание ничтожное, — ликует адвокатша, — вас освободят через месяц, поскольку четыре вы уже отсидели в предварительном заключении".

Наверное, на этом этапе я должна что-то испытывать. Не сомневаюсь, это придет с опозданием, но сейчас я не могу интересоваться такими пустяками...

* * *

Еще совсем рано; утро поздней осени. Вот уже месяц я живу только ради этого дня, его рождение я наблюдаю сквозь зарешеченное слуховое окно. Со вчерашнего или позавчерашнего дня мне уже не так ненавистны мои сокамерницы, я не так сильно их боюсь. В какую минуту, в котором часу за мной придут, как пришли за Хироми в прошлом месяце, я, конечно, не знаю. Я жду слов: "С вещами на выход".

Сегодня понедельник. День за днем я надеялась, что меня вызовут в зал свиданий. "К тебе посетитель!" Он же должен

знать, что скоро я растворюсь в городе, а может быть, куда-нибудь уеду. Этот человек нисколько меня не привлекает, и, по правде говоря, все во мне восстает против его образа жизни; но вот, поди же, мне хочется, чтобы он пришел и потребовал объяснений. Мне хочется выразить ему признательность за великодушие — или равнодушие? "Симура-сан", — так бы я начала. А что дальше? Может, я решилась бы попросить у него прощения, чего не сумела сделать в суде. Правосудию извинения ни к чему, да и у судьи мои объяснения вызвали бы улыбку... Именно Симуре, только ему хотела бы я доверить свои маленькие тайны. В конце судебного процесса мы случайно встретились взглядом на целую секунду, долгую секунду, и он не попытался отвести глаза. Да, его глаза, пустые и усталые, смотрели на меня, я знаю, потому что лицо его внезапно омрачила тень; потом меня увели из зала суда.

На улице, должно быть, уже повеяло зимой. Во дворе для прогулок воздух на днях посвежел. На свободе я рано или поздно замерзну. Страшновато. Как хорошо было свить гнездышко за спиной у этого простака... Конечно, появиться перед Симурой будет очень неловко, но так надо. Теперь, когда я уже расплатилась за свою "вину", у меня хватит сил все ему объяснить. Не потому ли, что меня вырвали из этого дома без предупреждения, так велико мое желание туда вернуться?

— • —

Из тюрьмы обычно выходят утром, в чем она убедилась на собственном опыте. Это простейшая метафора новой жизни. Забыты все вопросы (что делать дальше, как жить), забыто оставленное позади чистилище. Первые часы проводишь в раю. Накопления на личном счету — не велико богатство, ясно, что с этим долго не протянешь. Тем не менее хороший обед вполне заслужен, да и полдень приближается, а ты все идешь, и тебя опьяняет ходьба. До чего заманчивы витрины ресторанов с муляжами разных блюд на выбор. Тямпон[1], ну-ка, давай!.. С тех пор как... Не в тюрьме же... Стоит доставить радость желудку — и разум обречен на медленную пытку.

Ее первый ресторан, с тех пор как началось Падение, когда пришлось отказаться от меблированной квартирки... Она продолжила путь. Была середина дня. Он сойдет с трамвая не раньше трех или четырех часов; но ей хотелось снова увидеть

1. Китайско-японское блюдо, характерное для региональной кухни Нагасаки (род густого супа с лапшой, свининой, морепродуктами и т. д.).

это место одной, прямо сейчас; восстановить связь с тем днем, когда полицейские увели ее в наручниках; сказать себе: вот, жизнь продолжается, по крайней мере, что-то продолжается. И она направилась к дому, из которого была изгнана, и, едва он показался, она улыбнулась. Увидеть вновь, вот что важно, подумала она. Однако в нескольких десятках шагов от двери у нее вдруг будто кровь застыла в жилах. На двери висела табличка: "Продается". Она тяжело, резко скатилась по лестнице времени вниз, в свои восемь лет — тогда впервые появилось это страшное чувство, словно у нее отняли кусок жизни. Спустя полвека эти воспоминания по-прежнему мучительны. Да, ей было восемь лет, не прошло года, как они с родителями переехали, и однажды вечером, в сезон дождей, отец повел ее на прогулку, несмотря на поздний час и сырость. Он настаивал, и она отправилась с ним. Они сошли на знакомой трамвайной остановке в квартале, где жили прежде. Там, где она маленькой девочкой бегала по тротуарам со своими первыми подругами по играм под бдительным оком госпожи Каваками. И когда они свернули за угол, он сказал: "Смотри же", — и оба долго молча смотрели на их бывший дом, развороченный, зияющий, как срез земной коры в учебниках по геологии или как анатомическая таблица; комнаты были наполовину снесены землеройными снарядами. Что это?! Она видела комнату, где провела первые восемь лет жизни, так, как никогда раньше не могла ее видеть: снаружи, будто крохотную составную часть кукольного домика. Вдобавок без мебели. Все остальное по-прежнему было на месте: обои, двери. Раковина висела в пустоте. Почему ее раннее детство разломали на куски? Кто осмелился на это святотатство? "Такова жизнь, — ответил отец, обняв ее, — такова жизнь. — И она заплакала. — Я хотел показать тебе 'дом', пока они не разрушили его окончательно", — прошептал он ей на ухо.

Та женщина, которой она стала теперь, знает: нельзя позволять воспоминаниям резвиться в зеркальном дворце; они обезумеют, как чайка, по чьей-то оплошности запертая в зале. Отказываясь верить, она стоит как вкопанная на тротуаре, перечитывает злосчастную надпись. Наконец подходит. Звонит, никто не отвечает. Заглядывает внутрь — мебели нет. На объявлении — номер телефона, она записывает его на ладони: телефон агентства недвижимости. Чуть позже ее рука опускает монетку в щель автомата. Все еще не веря, женщина спрашивает, действительно ли продается дом, как давно? "Две недели, — отвечают ей. Через час мы организуем групповое посещение, если вам интересно". От неожиданности она соглашается.

Что могло с ним случиться, в тревоге думает она, сидя за кружкой пива. Потом всплывает воспоминание. В день процесса не сказал ли он, немного театрально, что-то вроде: "Я больше не чувствую себя дома"? Значит, это правда... До такой степени, что он предпочел уехать? Глядя в зеркало в туалете, она старается придать лицу выражение попристойней. Час скоро пройдет, пора идти.

И вот, месяцы спустя, она снова в квартире, теперь уже ничего не опасаясь. Быть здесь. Невероятно. Она могла бы просто поговорить с агентом недвижимости у двери и не входить, сказать, что сам по себе дом ей безразличен; но она переступила порог вместе с остальными. Их пятеро: снуют туда-сюда с идиотскими вопросами, как мухи, слетевшиеся на дерьмо. Агент ждет, отвечает. Женщина на мгновение задерживается в кухне, в гостиной. Видя опустевшие комнаты, она приходит в волнение и, чтобы скрыть его, притворяется, будто заинтересована. Брошенный особнячок возвращает ее в давние дни. Не на несколько месяцев назад, в эпоху Симуры, а гораздо раньше, глубже в шахту времени. Ее пронзает мысль, похожая на библейское изречение: блаженны потерявшие память, ибо прошлое есть боль. Волки не жалеют сил, чтобы отнять у нас это благо, которое было единственным нашим богатством.

Она все же решается до конца выполнить программу визита, идет вдоль галереи, заходит в комнатку. Другие, не обратив на нее, узкую и слишком отдаленную, особого внимания, успели вернуться в центральную часть квартиры. Тот же запах старых татами, то же предвечернее освещение. Ее рука колеблется, наконец, отодвигает дверцу стенного шкафа. Тот же звук скольжения. Те же тени в глубине. Она застывает перед шкафом. Не сразу слышит, что ее окликают через несколько минут. В дверях появляется агент. Мадам? Посещение окончено, будьте добры... Мадам? До нее смутно доносится: "посещение", "окончено", точно она находится в комнате свиданий. Должно быть, ее сознание отключилось, как на первой стадии гипноза; агент повторяет, обеспокоенный ее бледностью: мадам, с вами все в порядке? Она вздрагивает, поворачивает голову:

— Иду, извините. Я задумалась. — И отваживается задать вопрос. Владелец. Можно ли связаться с владельцем напрямую?

— Мадам, сожалею, но продажа осуществляется через посредство нашего агентства...

— Поймите меня правильно, я не собираюсь покупать. Дело не в этом. Я не могу вам все объяснить. Мне надо с ним свя-

заться по личным причинам. По какому адресу ему написать? Это все, что я хотела бы знать.

— В таком случае... (Агент размышляет, потом расплывается в улыбке.) В таком случае передайте письмо в агентство, а мы ему отправим. Нет проблем.

— • —

...Нет идеальной фразы, чтобы начать письмо к незнакомому человеку. Правда, мы не совсем незнакомы друг с другом, хотя виделись "по-настоящему" только один раз, да и то в обстоятельствах весьма необычных. Не буду больше терять время на преамбулу, Симура-сан. Для меня было очень важно прежде всего выразить Вам признательность за Вашу сдержанность во время процесса. Именно сдержанность – другого слова не подберу...

Дописав фразу, она кладет ручку поперек листа наискосок. Будто ствол дерева, преградивший путь мыслям. Кто его срубил? Буря в ее голове? Неподвижно склонясь над листком бумаги, женщина надеется поймать нить своих мыслей (говорят, точно так же, не меняя позы в постели, можно возобновить и продлить сон, приснившийся перед пробуждением). Ей хотелось бы до конца рабочего дня запечатать конверт и передать служащему агентства недвижимости, указав сверху: "Вниманию г-на Симуры Кобо, домовладельца, улица..." Тогда ей станет легче. Как долго ждала она возможности объясниться... Она сможет сказать самой себе, что справилась с потрясением, которое испытала только сейчас, увидев объявление. Нетронутая белизна бумаги для писем из пачки, купленной перед тем, как сесть за стол, внушает ей страх. Сколько страниц предстоит измарать? Вот бы найти короткий путь между своим и его сознанием. Она ведь не очень-то любит писать и, откровенно говоря, занималась этим редко. Однако это необходимо.

...Сдержанность или, если хотите, умеренность. Так или иначе, мне это казалось важным и во время процесса и потом, когда я осталась наедине с собой.

Это письмо – не просьба, поймите меня правильно. Вы со мной покончили раз и навсегда. Я причинила Вам вред, не желая того, и впредь не стану Вам досаждать. Просто, когда я увидела на Вашей двери объявление "продается", мое воодушевление, оттого что я снова на свободе, сменилось внезапной грустью, и мне пришла в голову эгоистическая мысль: вот мы и сравнялись, он и я, изгнанные из одного и того же царства. Прошу извинить меня за эту мысль, знаю, она недостойна, я быстро ее прогнала, но все-таки хотела поделиться ею

с Вами. Прошу также простить меня за то, что нанесла вам такой ущерб, я же помню, как Вы заявили на суде: "Я больше не могу там жить".

Вы, наверное, задаетесь вопросом, с какой стати я вмешиваюсь не в свое дело – ведь из-за меня все и случилось – и чего ради хвалюсь привязанностью к тому, что было не моим, а Вашим. Я удивлю Вас, но, вопреки видимости, моя привязанность к этому дому глубже Вашей, и пишу я с желанием объяснить: вопреки тому, что выяснило следствие, я поселилась у Вас совсем не случайно.

Как Вы слышали в ходе разбирательства, два года назад я стала безработной. В моем возрасте нового места уже не найти. До пенсии еще далеко, а в рабочей сфере вам больше нечего делать. Вы осуждены блуждать в пространстве меж двух миров. Горе одиноким, лишенным семьи! Когда истекает срок назначенного пособия по безработице, вы расторгаете арендный договор. Чувство стыда гонит вас прочь из квартала, в котором вы жили.

Наскоро избавившись от нескольких приборов и безделушек, хранителей моего быта, я убедилась, что все, чем дорожу, легко уместить в маленький рюкзак и сумку-тележку. Я оказалась на улице в прошлом году, в разгар лета. Сезон дождей кончился неделей раньше. Идеальная пора, чтобы научиться спать под открытым небом, и я научилась. По вечерам я устраивалась на ночлег, пройдя в гору несколько метров над последними домами, как правило, грязными и нежилыми (но, думаю, Вы не хуже меня знакомы с верхней частью города), среди пейзажа с кладбищами и храмами, островками минувших веков: грех было жаловаться. В это время года еще кажется, что все легко. Но не хочу описывать эти особенные недели, которые отношу если не к самым счастливым, то, без сомнения, к самым свободным в моей жизни. В наименее жаркие часы я бродила в поисках еды; когда было слишком влажно, довольствовалась тем, что "парю" над городом, находясь под густой тенью бамбука.

Что мне оставалось? Вечером, едва я ложилась, в голову приходила одна и та же мысль: это шутка. Чудовищная шутка. Рано или поздно я получу объяснения. Передо мной извинятся, и я все узнаю. Всем нам откроется доступ к знанию. Это предусмотрено, но мы не ведаем когда. Надо только быть терпеливыми, и мы вырвемся из пьесы театра абсурда. Нить Ариадны приведет нас к спасительному выходу.

Но нет: ничего. Каждый вечер я ложилась спать с верой: это шутка, и ночь все расставит по местам. Невозможно, чтобы все было настолько лишено смысла: звезды, ветер, люди.

Если за те недели я пришла к какому-то убеждению, оно заключается вот в чем: смысла нет. То есть смысла не было и раньше. Человечество придумало эту идею, дабы пролить бальзам на свою тоску; оно захвачено, одержимо поисками смысла. Но никакой

Великий Распорядитель не наблюдает за нами с высоты небес. В дни, когда это стало для меня очевидно до головокружения, я порой испытывала потребность разложить перед собой все памятные вещицы, с которыми не смогла расстаться, будто цепляясь за якорь спасения. Не то чтобы я ждала от этих предметов какой-то помощи, нет. Однако от них исходил слабый, холодный свет наподобие мерцания Вселенной; этот свет, кстати, схож с сиянием звезд: ведь лица, запечатленные на сохранившихся у меня фотографиях, чаще всего были лицами ушедших; фабрики, где некогда изготовили немногие дорогие мне вещи, конечно, давным-давно закрылись; а дверь, которую отпирал старый ключ, мой неразлучный спутник, канула в лету.

Приближалась осень. Предрассветные часы дышали прохладой. Дождь дважды заставал меня врасплох посреди сна и выгонял из зарослей бамбука. Промокшая, я укрывалась в необитаемой лачуге, расположенной пониже, и пережидала, пока небо заткнет свою брешь. Недолго смогу я жить тихо-мирно, как в последние месяцы: это меня тревожило, иногда приводило в полное смятение. Я ни минуты не помышляла о том, чтобы занять одну из этих хибар – от них тошнило. С тех пор я принялась бродить в поисках убежища. Тот или та, у кого есть досуг наблюдать за улицей, быстро смекает, кто живет один и какие у него привычки. Например, пожилые люди нередко не запирают дверь, выходя за покупками. Я присмотрела несколько особнячков, разместившихся немного на отшибе, в конце тупиков, упирающихся в заросли. Сперва я искала там пристанища только в те ночи, когда шел сильный дождь. Как-то буря задержала меня на двое суток в доме у одной глухой женщины. Днем, когда грозы стихали, я снова бродила; странствия случайно привели меня в квартал, где я прожила самые счастливые годы с восьми до шестнадцати лет. О драгоценная пора! Несколько дней подряд я вела наблюдение по утрам. Около восьми часов человек, которого я видела издали, выходил из того дома, где я выросла. По всей вероятности, он ехал куда-то на работу. Кто знает... Мной овладело желание еще раз увидеть. За Вашей входной дверью могли наблюдать только из дома напротив. Однажды утром старуха, которая там живет, надумала выйти. Она медленно направилась вниз по улице, совершенно пустынной. Кто знает... Я решила попытаться и, преодолев несколько шагов, позвонила. В доме не было никого. Вы и в самом деле жили одиноко. За все прошедшие годы замок Вы не сменили. К тому же в тот день Вы все равно не заперли дверь. Мне не пришлось использовать свой ключ. Вот я и вступила в бывшее мое царство... Так однажды в начале осени я вновь оказалась в Вашем доме, Симура-сан.

Про некоторых морских черепах говорят, будто они возвращаются умирать на тот пляж, где родились. А лососи, говорят, поки-

дают море и плывут вверх по течению реки – метать икру там, где они выросли. Все живое следует этим законам. Завершив большой цикл жизни, я возвращалась к одному из своих первоначальных мест обитания. Туда, где в течение восьми лет совершала свои "великие открытия". Восторги изумления, ожидание чего-то неслыханного. Должно быть, в последние годы Вы не особенно ценили вид из окна той комнаты, которая некогда была моей, а много позже стала Вашей. Наверное, Вы им пресытились. Но представьте, что значило для ребенка, такого как я, охватывать единым взглядом и гору Инаса, и бухту, и судостроительные верфи и все корабли. Слева я видела церковь Оура, где меня крестили, а направо простирались дальние северные районы. Странно: эти католические кварталы были сметены бомбой, сброшенной христианской страной... Христиан в Японии очень мало – похоже, что бешеные атомы, запущенные из Америки, решили сыграть с ними роковую шутку.

Я любила свою комнату – балкон над миром, над возрождением мира, в котором погибли многие из моих предков в тот далекий день девятого августа. Здесь протекли восемь из отпущенных мне лет. Как я любила эти комнаты, эти стены... Я думаю так: нужно вписать во все конституции мира неотъемлемое право каждого человека вернуться, когда ему заблагорассудится, в памятные места своего прошлого. Вручить каждому связку ключей от всех квартир, особняков и садиков, где он провел детство, и разрешить часами пребывать в этих зимних дворцах памяти. Чтобы новые хозяева никогда не могли воспрепятствовать пилигримам времени. Таково мое глубокое убеждение, и, приведись мне когда-нибудь снова вступить в политическую борьбу, полагаю, это было бы единственным пунктом моей программы, единственным предвыборным обещанием...

В одно из осенних воскресений в год моего шестнадцатилетия родители поехали на машине в сторону Симабары, навестить родных. Они не вернулись. Оползень, вызванный разыгравшейся бурей, разрушил горную дорогу, по которой они проезжали. Вот так я осталась сиротой. Меня взяли на попечение родственники. Я переехала к дяде и тете. Помню день, когда покидала это место. Я была далека от мысли, что через много лет вернусь сюда таким жалким образом, словно мелкий воришка, и поселюсь в комнате, которая служила спальней моим родителям.

Потом я поступила в университет в Фукуоке. Ученье не шло впрок. Ничто меня не увлекало. Оползень, как я постепенно поняла, продолжился в моей душе. Начавшись в день тайфуна, он унес первые жертвы; теперь очередь была за мной. Отныне обвал делал свое дело медленно, исподволь. Он по частям уничтожал ту жизнь, которую мне хотелось вести. За что бы я ни бралась, все от меня ускользало. Как будто сломался некий механизм. Во мне проснулась ненависть к миру, к тому, как он устроен, и я стала вращаться в определенных кругах. 1970 год: в двадцать лет я

вступила в подпольную Объединенную Красную армию[1]*. Возобновление Пакта о безопасности между нашей страной и США упрочило отношения с теми, кто сбросил атомную бомбу на моих родных. Ненависть! Я посвятила ей годы жизни. Остальное было лишь прикрытием. Я целиком отдавалась красной мечте, как другие – занятиям живописью. Но даже свою жажду крайностей я не принимала всерьез. Выкрикивая лозунги победы, мы страстно желали поражения. А потом некоторых из нас арестовали. Пришлось исчезнуть, чтобы меня забыли. Мое "я", эго, которое я старалась растворить в "мы", в конце концов потонуло в наркотиках. Мне дали другую фамилию, новые документы. Я нанималась на разные работы, но использовать второй шанс, предоставленный новым именем, не сумела. Вот так.*

Февраль 2009 – апрель 2010

1. Японская леворадикальная террористическая организация, активная в конце 60-х – начале 70-х годов.

Дино Кампана

Орфические песни

Перевод с итальянского и вступительная статья
Петра Епифанова

> Промчавшись, как комета, Дино Кампана не имел, может быть, "огромного влияния", но след за собой оставил неизгладимый. В нем не было ничего от посредственности. Даже его ошибки — лучше называть их не ошибками, а неизбежными ушибами от камней, что подстерегали его на каждом шагу. Ушибами слепого, скажем так. Ясновидящие, как Кампана, на этой земле — существа самые ранимые, самые слепые...
>
> Э. Монтале

Италия XX века, где поэты жили гораздо дольше, чем в России того же времени, а на их признание со стороны литературной критики и общества куда меньше влияли политические перемены, на русский взгляд, насчитывает неожиданно много благополучных и даже, как сейчас выражаются, "успешных" поэтических биографий. На их фоне судьба Дино Кампаны выглядит отчаянно, фатально несчастливой, как будто перенесенной сюда с другого края Европы. Нетипичной для итальянца была и внешность по-

© Петр Епифанов. Перевод, вступительная статья, 2012

эта: светло-русая, всегда всклокоченная шевелюра, отдающая в рыжину борода, как сказали бы у нас, "веником", широкие выдающиеся скулы, румяные щеки. У Дино были "небесно-голубые глаза ребенка" (эту фразу можно прочесть во всех воспоминаниях о нем), открытые и добродушные, в которых по временам загорались жутковатые огоньки — знак приближающегося приступа агрессии. Многие сравнивали Дино с лесным сатиром или вакхантом. Но не реже того в воспоминаниях самых разных людей звучат и другие сравнения: "он был похож на русского священника", "на беглого монаха", на "одного из типов, какими полны рассказы Горького". Поэта, который называл себя "последним германцем Италии", часто принимали за русского, а его истории о странствиях по России с компанией босяков или о романе с "русской нигилисткой" — по всей вероятности, вымышленные — стали непременной частью "мифа Кампаны".

Жизнь Дино, открытая внешнему взгляду, представляла собой цепь провалов и безумств: неуспеваемость в лицее, изгнание из университета, ссоры с семьей, пьянство, драки, пешие скитания, ночлеги на голой земле, корабельные трюмы, полицейские участки, тюремные камеры, палаты психиатрических больниц. Плодом его творческой активности, продлившейся не более восьми лет, была маленькая книжка под названием "Орфические песни" и еще несколько десятков стихотворений разного уровня.

...Но в клинике, незадолго до смерти, Дино спокойно и твердо сказал кому-то: "Я дал итальянской поэзии мелодичность и чувство цвета, каких у нее прежде не было".

Справедливы или нет притязания Кампаны, но в Италии было и есть немало людей, ставящих этого безумца на одно из первых мест в национальной поэзии Новеченто. Среди них те, кто сами могут быть названы в ряду лучших ее представителей: Эудженио Монтале, Джузеппе Унгаретти, Марио Луци, Альфонсо Гатто, Камилло Сбарбаро и другие. В 1942 году, когда кости Кампаны переносили с больничного кладбища, устроив для них отдельную могилу в романской церкви XI века, Монтале, Луци и Гатто несли гроб на плечах, что было понято всеми как жест символический.

Нашим герметикам[1] все хотелось найти себе предтечу, да непременно чтобы был свой, а не француз или англичанин. Италия, которая имела поэтов великих, но не имела "про́клятого поэта", может быть довольна, что теперь есть под рукой здешний уроженец — слепок с Гёльдерлина по одержимости манией преследования, с Рембо — по исступленному бродяжничеству. Но когда схлынет волна моды, в истории поэзии для Кампаны останется уголок куда более скромный, чем то место, которое хотели бы ему присвоить эти герои сегодняшних афиш.

Дж. Папини *Passato remoto*, 1948

1. Направление в итальянской поэзии, возникшее после Первой мировой войны, представленное именами Э. Монтале, Дж. Унгаретти, С. Квазимодо, М. Луци, К. Сбарбаро и др.

Так ревниво и язвительно реагировали на посмертное признание поэта постаревшие экс-футуристы. Спустя многие годы после смерти Кампаны они по-прежнему не могли простить ему независимости, непохожести, непримиримых суждений и скандальных выходок. Об одном его поступке богема Флоренции долго помнила, как о чем-то вроде сожжения храма Артемиды Эфесской. Среди блестящей публики Дино, представленный в качестве талантливого деревенского чудака футуристическому вождю Филиппо Маринетти, подносит ему свои "Песни". "Простите, синьор Маринетти, минуточку, я только удалю отсюда то, что лучше не читать, — места, которые могут вам показаться непонятными". На глазах у мэтра он не спеша вырывает из книги лист за листом — и, наконец, вручает ему пустую обложку.

* * *

Дино Кампана родился 20 августа 1885 года в окруженном лесистыми горами городке Марради, в местности, называемой Тосканская Романья, географически и этнически представляющей собой окраину Романьи, а в политическом отношении с XVI века подчиненной Флоренции. Еще недавно здесь говорили на романьоло, а итальянский язык, разработанный на флорентийской основе, в школе изучали как иностранный. Не поэтому ли поэзия Кампаны пронизана остро-щемящим чувством горных перевалов и крепостных стен, этих границ, разделяющих маленькие природно-культурные мирки? Долина речки Ламоне, в которой стоит город, так красива, что, кажется, в любую пору года способна дарить вдохновение поэту или живописцу. До сих пор часть жителей Марради трудится на земле. По старинке они называют свой городок не читтà, а паэзе (село).

Отец будущего поэта, Джованни Кампана, — учитель единственной в городе начальной школы, маленький полноватый человек — был корнями из Фаэнцы; мать, Франческа Лути, рослая, физически сильная, с экспансивным и неуравновешенным характером — из тосканской глубинки. Лицом, статью и нравом Дино пошел в материнскую породу. Старший из двух сыновей, более яркий и одаренный, он с детства был предметом особых надежд родителей. В маленьком городе учитель считался персоной почти священной. Семья жила на виду. Родители изо всех сил старались дать детям приличное образование. Например, благодаря усилиям родителей познания Дино в иностранных языках выходили далеко за пределы гимназической программы: он читал на пяти языках, а по-французски впоследствии даже писал стихи. Восприимчивый к искусству и поэзии, хорошо играющий на фортепьяно, с правильно поставленной литературной речью, это был, по всем признакам, развитый мальчик из культурной семьи. При этом родители были глубоко религиозны: регулярное посещение церкви и домашние молитвы были важной частью быта.

"Глядя на него, все мне завидовали, говорили: вырастет — будет вам утешение", — горестно вспоминала впоследствии мать. С пятнадцати лет все переменилось: Дино стал неуправляем, и ввести его в какие-то рамки было невозможно вплоть до момента, когда за ним навсегда закрылись ворота психиатрической клиники. Учеба пошла под откос, ссоры с матерью стали пе-

реходить в жуткие скандалы и дебоши, о которых заговорил весь город. Лишь благодаря связям отца удалось получить свидетельство о среднем образовании. Послушавшись на какой-то момент родительских уговоров, Дино заставил себя поступить на химический факультет университета в Болонье, но завалил уже первую сессию. Оказавшись снова в родительском доме, он жил во власти никому неведомых дум и мечтаний. Днем уходил в леса и горы, а ночью, напившись крепкого кофе, до утра запирался с книгами. Весьма далеким от нормального было отношение Дино к противоположному полу: оно сочетало крайнюю стеснительность и внешнюю агрессивность, которая принимала формы патологические. Ситуация, в общем, понятна: рано развившийся парень, одаренный сверх меры физической силой, темпераментом и воображением, в муках неудержимого влечения. Но замкнутый, болезненно возбудимый, временами беседующий сам с собой, он лишь отпугивал ровесниц. Внутренняя борьба вырывалась наружу в виде агрессии: доходило и до топора в руке, и тарелки, и стулья не раз летели на улицу с третьего этажа. Даже многие годы спустя, в психбольнице, он и врачу ничего толком не объяснит. Может быть, лучше других понимал Дино один старый деревенский священник, который, вопреки общему мнению, называл его, уже тридцатилетнего, "самым добрым мальчиком на этом свете".

"Сумасшедший или не сумасшедший, но все понимали его превосходство", — спустя много лет запишет в воспоминаниях его товарищ. Бывшие друзья детства смутно чувствовали, что душа этого парня занята чем-то особенным, недоступным для них. Не только в родном городке, но и в компаниях студентов Болоньи — те, кому приходилось общаться с Кампаной накоротке, отмечали единогласно: "он не был похож ни на кого".

Страдания Дино нашли выход не только в безумных поступках: они же сделали его поэтом. Записывать стихи он начал, когда, после изгнания из университета и неудачной попытки завербоваться в солдаты, жил в Марради, как всем казалось, без всякого дела. В это время он много читает — как итальянских поэтов прежних поколений, так и иностранных, часто на языке оригинала. Главными его вдохновителями становятся французские "про́клятые": Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме. (Впоследствии цитаты из "про́клятых" будут буквально насквозь пронизывать "Орфические песни".) Дино открывает для себя и автора куда менее известного — Жерара де Нерваля. Его восхищают великие американцы — По и Уитмен.

Разделяя с "про́клятыми" добровольную отверженность, он не перенимает у них усталое, трагически-безнадежное отношение к жизни. В этом сказывается национальный характер, выраженный у Кампаны с большой силой. Итальянец не прекращает любить жизнь и мир даже в безнадежных обстоятельствах.

Человек совсем молодой, Кампана не дает себя увлечь юношеской склонности к бунту и ниспровержению авторитетов. Недавно народившийся футуризм, с его претензиями на исключительность и тотальное господство в культурном мире, с агрессивными призывами "сжечь Рафаэля", вызвал у Кампаны лишь обратную реакцию. Тысячелетнее культурное

наследие своей страны он воспринимает с редкой естественностью, не "отдавая дань уважения", но дыша им словно воздухом. Строки "Божественной комедии", живопись Гирландайо, скульптура Микеланджело для него — не "мировые шедевры", не канонические образцы, но голоса, цвета и формы родной земли, чистые выражения духа ее народа — его предков и земляков. Кампану не заботит внешняя оригинальность. Он откровенно называет себя учеником, не стесняясь напрямую вставлять в свои стихи всевозможные заимствования. Но уже с самых первых образцов его поэзия обретает свое лицо и свой голос.

Не знаю, иль в скалах явился мне твой неясный лик,
или в улыбке из неоглядной дали,
в склоненном челе, светлее слоновой кости,
о, меньшая сестра Джиоконды,
о, в смутном свечении древней легенды,
вёсен угасших Царица, Царица-подросток.
Но ради песни твоей несказанной,
наслажденья и боли — сколько музыки, девочка бледная,
в округлости губ, тонко означенных линией алой,
о, Царица мелодии, — ради еле заметного
девственной шеи твоей наклона,
в просторах небесного океана,
ночной поэт, я следил бессонно
созвездий плывущие караваны.

Виденье

Это стихотворение насыщено узнаваемыми мотивами живописи тосканского Ренессанса. Центральный образ восходит к Нервалю. Несколько раз цитируется Бодлер. Но в результате перед нами произведение глубоко оригинальное, которое могло прозвучать именно в это время, в этом месте, став частью судьбы именно этого автора.

Неутолимая боль — неудовлетворенная потребность в женской любви — кричит с каждой страницы стихов молодого поэта.

Стемнело. Над рекой пелена тумана.
Летняя ночь от оконной рамы
Бросила отблеск во мрак, на сердце оставив горящий знак.
Но кто там (над рекой на террасе затеплился огонек), но кто там
перед Матушкой Божьей лампаду зажег? А здесь у меня
В комнате, где пахнет гнильем, а здесь у меня
В комнате тлеет кровавая рана.
Звезд перламутровые пуговки застегнув,
платье из бархата ночь надевает;
И мерцает лукавая ночь: ночь — она ведь лукава, пуста и мерцает;
но здесь у меня
На сердце ночном у меня
Рана кровавая не угасает.

Из окна

В эту пору начались его побеги из родных мест. Позднее Дино рассказывал о себе, как в 1903-м или 1904 году нелегально пробрался в Россию, как торговал на рынке в Одессе елочными украшениями и бродил по Причерноморью вместе с босяками. Здесь возможен и вымысел (никаких документальных свидетельств на этот счет не сохранилось), а вот бегство поездами, без билета, в Швейцарию и оттуда в Париж — достоверный факт. Домой его вернули с помощью полиции, затем, по настоянию отца, водворили в психиатрическую лечебницу (1906). Впрочем, долго держать юношу у себя врачи отказались, не находя для этого оснований, и через полтора месяца выписали домой. В страхе перед новыми выходками сына родители судорожно думали, куда его пристроить. На общем совете с братьями отца решили отправить подальше, в Аргентину. Списались с жившими в Буэнос-Айресе чьими-то друзьями, и те согласились на первое время принять Дино у себя в доме[1]. Родные ожидали, что необходимость зарабатывать на хлеб сделает из балбеса самостоятельного человека. Правдами и неправдами оформили документы для выезда, купили билет, посадили в Генуе на пароход...

Я видел с кормы корабля
Как Испании таяли склоны
В зелени золотом растворенной темная исчезала земля
Словно мелодия
Кого-то незримого юная одинокая
Словно мелодия
Синевы. Над холмистым берегом скрипка еще дрожала...
Вечер бледнея над морем еще не угас
Но золотые крылья молчанья в этот час
Пересекали медленно небо что в синеву погружалось...

Путешествие в Монтевидео

Дино в Буэнос-Айресе не задержался; ушел бродяжничать по стране, пытался работать в пожарной команде, сезонным рабочим на селе, играл на пианино в кафе-шантанах... В марте 1909 года он возвращается домой без гроша в кармане, без вещей, грязный и оборванный. (Не имея чем расплатиться за место на судне, на всем протяжении морского пути он бросал уголь в топку.) Мэр города официальным письмом сразу же отправляет его в клинику. Однако врачи, на этот раз флорентийские, отпускают Дино домой, в уверенности, что психически больным в собственном смысле слова он не является. Но уже следующей зимой Дино, как беспаспортного бродягу, задерживают в Бельгии... Тюрьма Сен-Жиль, интернат для душевнобольных, наконец, высылка на родину. Дино снова бродит по лесам и горам, живет с пастухами в глухих ущельях, помогая им в работе. Свои мысли и стихи запи-

1. По официальной статистике только за 1906—1915 годы Италию покинуло 6 миллионов жителей. Подавляющее большинство выезжало в Северную и Южную Америку. Итальянская колония в Аргентине насчитывала в то время не менее полумиллиона человек.

сывает в тетради, из которых впоследствии вырастет его книга. Путь по бесконечному океану, жизнь в аргентинской пампе и скитания по родным горам — все это, вместе с космизмом поэзии Уитмена, давало ему чувство брачного единения со стихиями, с первоосновами природной жизни.

Осенью 1910 года Дино предпринимает трехдневное путешествие (через перевал!) в монастырь на горе Верна, известный подвигами и мистическими видениями св. Франциска Ассизского. Возможно, совершить это паломничество его убедила мать. За вычетом периодов буйства и агрессии, сын чувствовал к ней сильную привязанность. Она же, избегая скандалов на глазах у соседей, старалась отсылать его подальше от дома. Верил ли тогда Дино в христианского Бога? В мемуарах о нем эту тему обычно обходят стороной, а в "Песнях" приступы богоборческого бунта соседствуют с ностальгической грустью о вере детей и простых поселянок. В священных изображениях Верны и в горных пейзажах, как и повсюду на свете, он видит лик своей безымянной Царицы...

...Раздался трубы от солдатской казармы
надорванный зов. И река исчезает
В песке золотом. И стоят в изголовьях
Мостов, друг на друга взирая в безмолвье,
Старинные статуи. И вещи теряют свое бытие.
И гулкой волной из глубин восстает,
Растет в высоту, до моих раскрытых оконных створ,
Молчанья величественно-нежный хор.
И в запахе лавра,
И в запахе остром увядшего лавра,
В бессмертии статуй, в лучах заката,
Мне снова является Та...

В осеннем саду

...Нет, образ жизни Дино не менялся к лучшему: то в Генуе, то в Болонье, то в других местах полиция задерживала его за пьяные драки. Однако в тот же самый период он возобновляет учебу в университете, сдает экзамены, интенсивно пишет стихи и прозу. Проводит много времени в музеях и храмах, заново вглядываясь в полотна давно любимых художников, подолгу над ними размышляя. Его произведения появляются на страницах студенческих журналов Болоньи.

Этот период важен для Дино еще в одном отношении — прочитав запоем писания Ницше, он становится его искреннейшим приверженцем. Надо отметить, что литературные и философские привязанности Кампаны никогда не диктовались модой. Громадная посмертная популярность Ницше навряд ли подталкивала его интерес. Ницше одинокий, больной, безумный — стоял для него, конечно, выше, чем Ницше — "кумир поколения". Между ними было немало общего: оба — провинциальные вундеркинды, оба выросли в традиционной среде, только раскрывающейся навстречу веяниям новых времен. Оба неуютно чувствуют себя в своей эпохе; оба устремлены к будущему, к макси-

мально широкому горизонту взгляда на мир, но совершенно вопреки господствующим тенденциям. Обоих — выходцев отнюдь не из благородного сословия — внутренний аристократизм побуждает ожесточенно сопротивляться "прогрессивному" мещанству, "просвещенно-гуманистическому" лицемерию. В обоих жадная потребность веры только обостряет протест против общепринятой религии; высокая чуткость к культурным явлениям сочетается с дионисийски-восторженным отношением к дикой природе. Обоих влекло в горы, к нагромождениям и разломам камня, к буйству лесов, к торжественному покою озер. Внутренние травмы тоже у обоих во многом сходны...

Зимой 1913—1914 года Кампана встретился с двумя ведущими представителями флорентийского художественно-литературного истеблишмента — Арденго Соффичи и Джованни Папини, издателями близкого к футуризму журнала "Лачерба". Он отдал им на просмотр тетрадь, из которой просил выбрать что-либо для публикации в журнале. При встрече автор был одет как нищий бродяга, почти не прикрытый от зимнего холода; попутно выяснилось, что, не имея денег на поезд, он прошел от Марради до Флоренции по горным дорогам, а здесь вынужден спать в ночлежке вместе с бездомными. Ознакомившись с содержанием рукописи, Соффичи и Папини нашли ее "интересной". Задержав тетрадь у себя, они вскоре позабыли о ней в череде собственных дел: Папини отдал тетрадь Соффичи, а тот — плодовитый прозаик, поэт, эссеист, издатель, художник в одном лице — прочно затерял ее среди бездны вещей и бумаг. Затерял так, что она нашлась лишь... через 57 лет, при ремонте дома. Кампана, не дождавшись ответа, страдая от холода и недоедания, вернулся домой, как и пришел, пешком. Глашатаи нового искусства не ответили ни на одно из его взволнованных писем с вопросами, будут ли все-таки опубликованы фрагменты, и как можно получить тетрадь обратно. (Второго экземпляра у него не было.) Мало ли на свете "интересных" стихов... Вот если бы автор был одет получше, то и отношение к рукописи было бы, вероятно, другим[1].

Жестоко разочарованный и оскорбленный, Дино решился переписать свою заветную книгу заново — отчасти по черновикам, отчасти по памяти. И чувство уязвленного достоинства, и ответственность за написанное — мобилизовали и сосредоточили его, как вероятно, ни одно другое дело за прожитые двадцать девять лет жизни.

На свет явилась совсем новая книга. Она не только сильно выросла в объеме, но и по качеству была намного выше, чем первоначальный вариант. (Это выяснилось спустя полвека, когда нашлась пропавшая рукопись.) Фрагменты, созданные в разное время, удалось связать единством замысла и стиля в единый лирико-мистический текст.

1. Спустя долгое время, в 1958 г., Арденго Соффичи, вероятно, чувствуя потребность чем-то загладить былую вину, обратился к властям Марради с просьбой присвоить одной из городских улиц имя Дино Кампаны. В этом письме он называл давно умершего поэта "одним из лучших в своем поколении". "Его творчество, – писал Соффичи, – прерванное безвременной смертью, не умрет, ибо исполнено жизни, правды и красоты".

К концу мая 1914 года работа над текстом была закончена. Попытки устроить его в известные издательства успеха не имели. Луиджи Бандини, чуть ли не единственный близкий товарищ Кампаны в родном городе, взялся организовать подписку. За короткое время удалось собрать задаток для местного типографа. Не может не удивить факт, что на издание книги, весьма далекой от провинциальных вкусов, автор которой к тому же имел репутацию полупомешанного, внесли деньги, ни много ни мало, сорок четыре человека. Возможно, это было сделано из уважения к отцу-учителю.

На плохой разносортной бумаге, в примитивной типографии, с кучей огрехов — книга все-таки была отпечатана. На обложке значилось: "Орфические песни. Трагедии последнего германца в Италии"[1]. Далее: "Вильгельму II, императору германцев, посвящается".

Не успела на книге просохнуть краска, как наступил август четырнадцатого. В мае следующего года Италия вступила в войну на стороне Антанты. Германофильские выверты теперь попахивали не только скандалом, но и обвинением в агитации в пользу врага. Продавая книгу в литературных кафе, рассылая ее друзьям и знакомым, Дино наспех вырезáл страницу с посвящением кайзеру, но недоуменных вопросов и упреков избежать не удалось. Выручка была ничтожна. Своевременно вернуть долг типографу не удавалось. В результате бóльшая часть тиража не попала ни в руки поэта, ни в руки читателя. Она исчезла, подобно тому, как прежде исчезла рукопись. Вероятнее всего, типограф, не дожидаясь беды на свою голову, пустил "трагедии последнего германца Италии" под нож.

Вслед за миллионами сверстников, Кампана в годы войны минимум дважды подавал заявление в действующую армию, но без успеха. Зато его столько же раз арестовывали по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Поводом была... "нетипичная для итальянца" внешность. К счастью, книжка с посвящением кайзеру в списке "улик" не значилась. В осенние дни 1917 года, когда германские дивизии, прибывшие на помощь австровенграм, навели ужас на Северную Италию, эта единственная строчка могла стоить поэту жизни...

В 1916 году судьбу Дино, как сполох молнии, осветила любовь. То был беспокойный роман с сорокалетней писательницей Сибиллой Алерамо, которая легко и уверенно присоединила его к богатой коллекции своих молодых (и вовсе юных) любовников, а через полгода бросила. Для Сибиллы эта маленькая история стала сюжетом очередного романа — теперь уже в литературном смысле. Для Дино все кончилось куда хуже. Он был совершенно раздавлен случившимся. И разрыв с любимой, и прежние обиды срослись в мозгу в фантастическую картину унижения, преследования и травли со всех сторон. В январе 1918-го он снова оказывается в клинике. Через два месяца его судьба будет решена: "принимая во внимание, что состояние душевного здоровья Кампана Дино не подает никаких надежд на улучшение, заключить

1. Подзаголовок был на немецком.

его в психиатрическую лечебницу *окончательно*". На всю оставшуюся жизнь. Выглядит дико, но право выносить такие решения закон предоставлял не врачебной комиссии, а обычному уголовно-гражданскому суду.

Поэт был надолго забыт друзьями, знакомыми и читателями. Родители в середине 20-х умерли, брат со своей семьей жил слишком далеко. Лишь в 1928 году, когда издательство "Валекки", не уведомляя автора, перепечатало "Орфические песни", в журналах стали появляться "воспоминания о Кампане"... В это время его периодически навещает известный психиатр Карло Париани, исследующий воздействие психических отклонений на гениальность. Впоследствии записи об этих встречах, собранные в небольшую книгу, станут важным источником для биографии поэта[1]. Целых два года в беседах с гостем Дино несет околесицу в стиле гоголевских "Записок сумасшедшего", но в начале 1930-го в его состоянии что-то меняется. Бред уходит; Кампана помногу говорит о литературе, отвечая на вопросы с исчерпывающей полнотой и ясностью. Просматривая принесенное доктором новое издание "Песен", он по памяти отмечает допущенные неточности. Во вступительной статье прежний товарищ, критик Бино Бинацци, называет его лучшим лириком современной Италии и выражает надежду на возвращение "несчастного гения" в литературу... Реакция Кампаны:

— Нет, господа, я не несчастен. Я доволен жизнью. Только я ведь и вправду сумасшедший.

В 1931 году в больнице шли разговоры о возможном выходе Кампаны на волю. Для этого требовалось новое судебное решение. Когда у Дино спрашивали, собирается ли он вернуться в литературу, он отвечал, что хотел бы зарабатывать на хлеб физическим трудом.

Он умер 1 марта 1932 года после двенадцатичасовой агонии, был похоронен менее чем через сутки, без отпевания в церкви и без оповещения родных. Телеграмму брату дали уже после похорон. "Заражение крови от поранения ржавым железом". Больничная карточка Кампаны странным образом пропала из архива. Когда, много позднее, событиями последних дней поэта заинтересовались историки литературы, писатели и журналисты, старые служители больницы не могли рассказать им ничего определенного. В версиях нет недостатка; но порой за ними стоят не документы и достоверные свидетельства, а стремление к сенсации и скандалу. Это относится, в частности, к нашумевшему роману Себастиано Вассалли "Ночь кометы" (1990), представленному публике как "правдивая история жизни и смерти Дино Кампаны".

* * *

Почему книга Кампаны названа "Орфические песни", если об Орфее, орфизме, орфиках в ней нет ни единого слова? Среди авторов, у которых по-

1. C. Pariani. Vite non romanzate di Evaristo Boncinelli, scultore e Dino Campana, scrittore. — Firenze, Valecchi, 1938.

эт из Марради черпал идеи и вдохновение, исследователи лишь изредка вспоминают Жерара де Нерваля. Весь религиозный поиск Кампаны, вне сомнения, продолжает путь, намеченный Нервалем; именно в его книге "Дочери огня" (1854) он услышал призыв приобщиться к таинствам "Великой Богини" — тем самым, в которые, по мнению Нерваля, был посвящен некогда Орфей.

Весь строй мира, обступающего нас на страницах "Орфических песен", определен своеобразной религией их автора. Описания города, дикой природы, моря у Кампаны напоминают пейзажный фон на сакральных картинах мастеров высокого Возрождения. Вот город, città, непременно окруженный стенами, уставленный частоколом боевых башен, число которых в одной Болонье когда-то, веке в XIV или XV, доходило почти до сотни. Город Кампаны есть что-то почти идеальное, соотносимое со сном, мифом, религиозным экстазом. Это мир, как бы растущий от земли в небо, над зубчатыми стенами, куполами и готическими шпилями которого возвышается фигура живущего здесь Божества. Присутствие Божества обозначает или статуя Мадонны, или некий подобный облаку неясный, ускользающий Образ, бросающий на землю зыбкие тени: как его отражения, движутся по улицам женские фигуры... За кольцом стен — сельская округа, campagna, место тяжелого труда и скудного быта. Наконец, мир дикой природы, где безраздельно правят стихии — ветры, струи, снега, где уху героя слышны хоры звезд и рокотанья недр. Фигура поэта художественно и мистически связывает все эти мировые регистры, подобно фигуре святого на живописном полотне. Свои плотские и душевные мучения, в которых нет ничего "высокого" или "героического", он несет как святой Себастьян — стрелы, пронзающие грудь, как святой Франциск — свои стигматы...

Божество Кампаны имеет женский лик; соответственно, тема женщины является нервом всего его творчества. Женский образ у него всегда — "мимолетное виденье": промелькнувшая фигура на улице, силуэт в окне, картина, поэтическая строка, кадр фильма. То, чем поэт не обладает (даже если пишет о плотской близости), а может лишь проводить взглядом. Как всякой небесной сущности, женщине сопутствует белый цвет — поэт использует его, даже передавая ее внутренние состояния, вплоть до физиологических. Женские фигуры выстраиваются в мистическую лестницу, возводящую к идеалу Вечной Женственности, Красоты, Нежности, Грации (слово "grazia" в итальянском означает как красоту, так и благодать, и милость), созерцанию которого посвящает себя поэт, отклоняя образ Бога-Царя патриархальных религий. Все многообразие жизни, чувства, мысли, вся мудрость природы и истории говорит поэту женскими голосами и смотрит на него "тысячами нежно-любящих глаз небесных видений".

* * *

Поэзия Кампаны еще не была в нашей стране предметом специального изучения. Семь небольших стихотворений переведены на русский язык

Е. М. Солоновичем[1]. В настоящее время готовится к печати полный русский перевод "Орфических песен", фрагменты которого публикуются ниже.

За разнообразную помощь, советы, консультации, за возможность ознакомиться с редкими книгами и другими материалами по теме я бесконечно благодарен замечательным людям, активистам Центра изучения наследия Дино Кампаны (Марради) — сестрам Мирне и Аннамарии Джентилини и Франко Скалини, талантливому педагогу, краеведу, увлеченному исследователю жизни и творчества поэта-земляка.

В*иденье*

Не знаю, иль в скалах явился мне твой неясный лик,
или в улыбке из неоглядной дали,
в склоненном челе, светлее слоновой кости,
о, меньшая сестра Джиоконды,
о, в смутном свечении древней легенды,
вёсен угасших Царица, Царица-подросток.
Но ради песни твоей несказанной,
наслажденья и боли — сколько музыки,
девочка бледная,
в округлости губ, тонко означенных линией алой,
о, Царица мелодии, — ради еле заметного
девственной шеи твоей наклона,
в просторах небесного океана,
ночной поэт, я следил бессонно
созвездий плывущие караваны.
Да, ради этой сладостной тайны,
ради безмолвного твоего становленья...
Не знаю, его ли было живым знаменьем
этих волос золотистое пламя.
Не знаю, была ль эта легкая дымка
легкой, над болью моею, улыбкой
лица из мглы отдаленных веков...
Вижу горы немые — белые гнезда ветров,
и неподвижного неба суровые своды,
и реки, что покорно влекут многослезные воды,
и согбенные тени людского труда,
и эти холодные склоны...
И снова по краю небес пробежали светлые тени,
и снова ищу тебя, и снова тебя призываю, Виденье...

1. Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича. — М.: Издательство "Радуга", 2000.

Песня темноты

Сумерки гаснут.
Духи смятенны. Пусть будет легка темнота
Сердцу, что больше не любит!
Струи, струи мы слушать должны;
Струи, струи, что они знают?
Струи всё знают, всё знают они,
Что слышат духи, внимая...
Слышишь, сумерки гаснут,
А духам смятенным легка темнота.
Слышишь: тебя победила Судьба.
Но легким сердцам открывается новая жизнь за последнею дверью.
Нет сладости той, что может сравниться со Смертью.
Шажок Шажок Шажок
Слушай ту, что качает тебя, как в колыбели, слушай,
Слушай милую девочку, слушай
Ту, что ласково шепчет на ушко:
"Шажок, Шажок"
Сейчас, чтобы уйти, он поднимется по ступеням.
Сейчас — как свежо ветер морскою прохладою веет...
Сейчас так отчетливо отбивает мгновенья
Сердце, что больше других любило.
Гляди: вот уж совсем стемнело.
На склонах деревья стоят молчаливо.
И катятся воды неторопливо.

Пум! Мама, тот человек упал!

День неврастеника

(*Болонья*)

Старый город ученых и священников заволакивало туманом декабрьского полудня. Холмы просвечивали вдали над равниной, пересекаемой шумными порывами ветра. Над железнодорожными путями была различима, будто вблизи, в ложной перспективе свинцового света, товарная станция. Вдоль линии окружной дороги кичливо проплывали смутные женские фигуры, укутанные в меха, с романтично-пышными волосами, приближаясь дробным, словно автоматическим, шажком, в своих пухлых горжетках похожие на птиц с деревенского двора. Глухие удары и станционные свистки только подчеркивали разлитую в воздухе монотонность. Дым паровозов ме-

шался с туманом; провода висли, висли гроздьями на изоляторах телеграфных столбов, уходивших в туман монотонно.

В выщербинах красных, разъеденных туманом стен открываются молчаливо длинные улицы. Гадкий пар тумана расползается между зданий, заволакивая верхи башен, длинные молчаливые улицы — пустые, будто после разграбления. Фигурки девушек, все мелкие, все темные, с вычурно повязанными шарфами, подскакивающим шажком пересекают улицы, оставляя их еще более пустыми. В кошмаре тумана, посреди этого кладбища, они кажутся чем-то похожи на мелких зверьков: совершенно одинаковые, подскакивающие, черные, они таят под долгой спячкой свой колдовской дурман.

* * *

Стайки студенток под портиками[1]. Сразу видно, что мы в центре культуры. Поглядывают с невинностью Офелий, стоя группками по три, разговаривая в ярком цветении своих губ. Они толпятся под портиками бледной и курьезной свитой современных граций, эти мои однокашницы, собравшиеся на лекцию. У них не увидишь деланых даннунцианских улыбок[2], с клокотанием в горле, как у филологичек; они улыбаются редко и сдержанно, осмотрительно, не разжимая рта, никогда не давая ясного прогноза, эти наши естественницы.

* * *

(*Кафе*) Мимо прошла Русская. Рана губ горела на бледном лице. Приблизилась и прошла мимо, неся цветение и рану своих губ. Шагом изящным, слишком простым, слишком обдуманным, прошла она. А снег все падал и таял безразлично в уличной грязи. Портниха с адвокатом болтают, пересмеиваясь. Укутанные извозчики выглядывают из-за поднятых воротников, будто вспуганные звери. Мне все безразлично. Сегодня, кажется, в городе выступило на поверхность все серое,

1. Особенностью застройки в Болонье является обилие портиков — длинных галерей под вторыми этажами зданий. Эти галереи тянутся вдоль жилых, деловых, торговых кварталов, вдоль старинных корпусов университета, переходя одна в другую. Общая длина портиков Болоньи достигает 40 км. Монотонный ритм колонн, арок, постоянно затененных сводов, в сочетании с монотонным ритмом шагов по каменным плитам тротуаров, создает ощущение призрачности и в то же время предопределенности любого движения. Стиль Кампаны, с его постоянными, почти навязчивыми повторениями, чутко откликается на странную музыку архитектуры этого города. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Габриэле Д'Аннунцио слыл законодателем вкусов поколения; его героям — аморалистам в духе вульгарно прочитанного Ницше — было модно подражать.

однообразное и грязное. Все тает, как снег, в этом болоте; и где-то на дне души я чувствую сладость от растворения в том, что заставило нас страдать. Чувство, которое усиливается, оттого что неизбежно и скоро уляжется снег белыми простынями, и мы опять сможем покоиться в наших белых снах.

Передо мною зеркало, и бьют часы; свет пробивается ко мне из портиков сквозь занавес окна. Берусь за ручку, пишу; что пишу, сам не понимаю; пальцы в крови; пишу: "В полумраке любящий расцарапывает портрет любимой, чтобы развоплотить свою мечту....." и т. д.[1]

(Снова на улице) Острая печаль. Меня останавливает старый школьный товарищ; он еще и тогда ходил в отличниках, а теперь, гляди-ка, по изящной словесности профессор вонючий; искушает, вызывает на откровенность — и все с той же поганой улыбочкой. И в заключение: "Ну, ты мог бы попытаться послать что-то в 'Аморе иллюстрато'..."[2] (*Улица*) А вот и неизбежный в этих портиках, жужжащий, как пропеллеры аэропланов, рой высокоумных барышень. Они трещат, захлебываясь и показывая зубы, в азарте охоты за каким-нибудь врагом науки и культуры, которого предстоит расколошматить на кусочки у подножия кафедры. Но вот уже пора! Шлепаю прямо по лужам посереди улицы; сейчас именитый осел влезет на кафедру, таща на себе вьюк каталожных познаний .... У дверей дома оборачиваюсь и вижу классического, усатого, огромного блюстителя порядка .....

Ох, уж эти мне порядки почтенной старины! Ох, сколько же этих держиморд!

* * *

(*Ночь*) Горит камин напротив зеркала. В бездонной фантасмагории зеркала тела нагие мелькают, немые; и тела изнуренные, и поверженные, в языках пламени, жадных и немых; и будто вне времени — белые тела, изумленные, неподвижные в

1. Кровь на пальцах, держащих перо, ритуально-магическое уничтожение лика любимой — все эти детали имеют явный сатанический подтекст. Впрочем, герой сам не сознает, откуда на руках кровь и что он пишет; можно предположить, что договор с дьяволом ему лишь предстает как навязчивая идея, но не заключается на самом деле.
2. Еженедельный журнал для женщин, выходил в Милане с 1897-го по 1928 г. Товарищ советует герою послать что-то из стихов в журнал заведомо невысокого уровня и вкуса, что герой воспринимает как оскорбление.

печи угасшей; белая, от моего обессиленного духа отторгается безмолвно Ева: она отторгается от меня, и я просыпаюсь[1].

Брожу под кошмаром портиков. Капля кровавого света, потом темнота, потом снова капля кровавого света, отрада погребенных. Скрываюсь в переулке; но из мрака под фонарем белеет призрак с накрашенными губами. О ты, который бросаешь ночных шлюх на дно перекрестков, о ты, который кажешь из мрака отвратительный труп Офелии[2], о, сжалься над моим долгим мученьем[3]!

Пампа

– ¿Quiere Usted Mate?[4] – предложил мне испанец тихим голосом, будто не желая нарушить тишину Пампы. – Собравшись в кружок, мы сидели в двух шагах от натянутых палаток и молча поглядывали украдкой на причудливые скопления звезд, покрывавших золотой пыльцой неизвестность ночной прерии. – Зрелище этого таинства, грандиозного и неукротимого, давало легкость течению крови в наших жилах, словно внутри открывалась новая свежая вена; – мы упивались им с тайным сладострастием – будто чашей чистейшего звездного безмолвия.

Quiere Usted Mate? Бери кружку и потягивай горячее питье.

Разлегшись в девственных травах, перед лицом причудливых созвездий, я следил взглядом за их таинственной узорчатой иг-

1. Сначала видение ада в дантовском стиле, затем – воспоминание библейского рассказа о сотворении Евы из ребра спящего Адама. Но герой Кампаны, просыпаясь, не обретает рядом с собой свою Еву. Слова "Не добро человеку быть одному; сотворим ему помощника, сообразного ему" (Бытие. 2:18) для него остаются неисполненными. И герой бежит среди ночи под портики, где "кровавый свет сочится каплями", взывая об избавлении уже не к Богу, а к Его противнику.
2. Аллюзия на стихотворение Рембо "Офелия". Но тело Офелии, белое, плывущее по черной реке, у Рембо – прекрасно. Кампана, говоря об "отвратительном трупе", имеет в виду фигуру под фонарем – призрак, труп идеала Вечной Женственности.
3. Цитата из бодлеровской "Литании Сатане". Герой остается в отчаянии, отвергнутый даже духом зла. Дьявол не сводит его, как гётевского Фауста, с его Маргаритой. В черновиках стихотворение кончалось тем, что герой бросался на фигуру под фонарем с кулаками. Подобный инцидент имел место на самом деле, правда, не ночью, а средь бела дня; за ним последовали арест и вторичное исключение Кампаны из университета.
4. "Хотите матэ?" (*исп.*) В тексте "Орфических песен" каждое слово фразы написано с большой буквы. Возможно, этим автор хочет подчеркнуть, что придает этим словам символический и даже как бы священный смысл. Аргентинский чай превращается у него в волшебный напиток, дающий герою выйти из оболочки повседневно-приземленного сознания на простор подлинной реальности.

рой, и постепенно утихающий шум лагеря ласково убаюкивал меня. Мысли плавали туда и сюда; одно воспоминание сменялось другим; они, казалось, нежно таяли, чтобы некогда вновь явиться, блистая вдали, за гранью человеческого, как глубокое и загадочное эхо в беспредельном величии природы. Медленно и постепенно возвышался я до вселенской иллюзии; восходя от глубин моего естества и от земли, в свой черед я проходил по дорогам неба извечный, полный приключений, человеческий путь к счастью. Идеи сияли чистейшим звездным светом. Удивительные, самые удивительные драмы человеческой души пульсировали и перекликались в созвездиях. Падающая звезда в великолепном беге обозначила линией славы конец хода истории. И казалось мне, что освобожденная от груза чаша весов времени, качаясь, вновь медленно поднимается — на один чудесный миг в непоколебимости времени и пространства сменяют друг друга вечные судьбы.

.....

Вдали, над далеким туманным горизонтом, взошел бледный и прозрачный диск, бросая на прерию холодно-стальные отблески. Медленно поднимавшийся череп был грозной эмблемой войска, что посылало в бой сверкающие оружием отряды всадников: то индейцы — мертвые и живые — бросались в бой, чтобы молниеносным натиском отвоевать свои вольные владения. Под ветром их движения травы клонились с тихим стоном. Напряженная тишина была проникнута волнением невыразимым.

Но что такое неслось над моей головой? Мчались облака и звезды, мчались; в то время как из Пампы, черной, потрясенной, что по временам исчезала в диком черном беге ветра, то усиливаясь, то ослабевая, слышался будто далекий грохот железа, а иногда звучал полный бесконечной тоски зов скитальца... по гривам полегшей травы, словно в глубокой тоске вечного скитальца, по мятежной Пампе несся мрачный зов.

В поезде на полном ходу я лежал, вытянувшись на крыше вагона; и над головой моей бежали звезды и степные ветры в железном грохоте; и навстречу мне качались, будто спины зверей, залегших в засаде; и бежала мне навстречу дикая, черная, пересеченная ветрами Пампа, стремясь увлечь меня в свое таинство; и бег пронизывал, пронизывал ее со скоростью катаклизма, где маленький атом бился в оглушительном вихре, в омраченном грохоте неудержимого потока.

.....

Где я был? Был на ногах: над Пампой, в беге ветров; на ногах над Пампой, что летела мне навстречу: чтобы увлечь меня в

свое таинство! И тогда утром меня приветствовало бы новое солнце! Я скакал вместе с индейскими племенами? Или то была смерть? Или то была жизнь? И никогда, мне казалось, никогда не должен остановиться этот поезд; в то время как мрачный скрежет железа возвещал конец его пути непостижимыми речениями. Затем — усталость в холоде ночи; покой. Вытянуться на железной крыше, вникая в бег этих странных созвездий за легкими серебристыми завесами; и вся моя жизнь, так похожая на этот слепой, фантастический, неудержимый бег, вновь приходила мне на ум горькими и яростными волнами.

Луна освещала теперь всю пустынную и плоскую равнину Пампы среди глубокого молчания. Лишь по временам то заводили с луной легкую игру облака, то вдруг тени неожиданно пробегали по прерии; и снова одна безмерная и необычная ясность в великом молчании.

Звезды теперь невозмутимо, но еще более загадочно светили над бесконечно пустынной землей: единая обширнейшая отчизна, данная нам судьбою; одно нежнейшее природное тепло исходило от таинства дикой и доброй земли. Теперь, засыпая, в полудреме, я следил за отзвуками удивительного чувства, отзвуками все удаляющихся трепетных мелодий, пока это дивное чувство не рассеялось вместе с эхом. И тогда, окончательно онемев, я с наслаждением ощутил, что родился новый человек: что родился человек, неизреченно — нежно и страшно — воссоединенный с природой; с восхищением и гордостью рождались в глубине естества жизненные соки; они текли из земляных недр; и небо — словно земля в вышине: таинственное, чистое, пустынное, бесконечное.

Я встал. Под бесстрастными звездами, над бесконечно пустынной и таинственной землей, от своего кочевого шатра свободный человек простирал руки в бескрайнее небо, не обезображенное тенью Никакого Бога.

РУССКИЙ

(Из одного старого стихотворения)

К зажатым в аду существам
Сброшенный в темную бездну,
О, Русский, ты мне предстал,
Словно из стран небесных
Внезапно явившийся гость —

Средь воплей, в давке толкучей
Давно перегнившей насквозь
Всемирной навозной кучи.
Как втайне сокрытый клад,
Борода золотая блестела...
И дрогнув, отринул ад
Бессмертную душу. Но тело
Я видел в объятиях смертных
Стиснутое до пота
Призраком новой Химеры
Над человечьим болотом.
И вдруг... и т. д.[1]

По обширному помещению, подобно пыли, поднимаемой ветром, кружили отбросы общества. После двух месяцев, проведенных в камере, я горел нетерпением снова видеть живых людей, но они откатывались от меня, будто враждебные волны. Быстро проходили, как безумные, каждый поглощенный тем, что составляло теперь единственный смысл его жизни, — своей виной. Сидели Серые Братья, с их ясными, слишком ясными лицами: наблюдали[2]. В углу — тревожная голова, рыжеватая борода, изможденное, увядшее лицо со следами мучительной и опустошающей внутренней борьбы. Согнувшись над краем печи, он лихорадочно писал.

* * *

"Декабрьская ночь. Сидя один в пустом доме, человек мучается страхом одиночества. Думает: а ведь может статься, сейчас на улице какие-то бедняги умирают от лютого холода. Он выходит из дому, чтобы их спасти. А утром, вернувшись, как прежде в одиночестве, видит у дверей своего дома замерзшую насмерть женщину. И убивает себя". Он говорил; и, когда он неотрывно смотрел на меня тревожными потерянными глазами, я изучал этот взгляд, направленный на меня из глубины тусклых серых глаз и, как мне казалось, понимал его: взгляд не испуганный, но почти детский, бессознательный, как бы удивленный.

1. Стихотворение написано по-французски, вероятно, еще в Бельгии. Кампана пытается восстановить текст по памяти.
2. Сюжет относится ко времени пребывания поэта в тюрьме Сен-Жиль и затем в "Доме здоровья" — психиатрической клинике в г. Турнэ, в Бельгии (зима-весна 1909 г.). Это заведение, иначе называемое приютом Святого Бернарда, было государственным, но бытовое устройство и повседневный уход за больными осуществляла монашеская община "Братьев любви".
Описание тюрьмы уже с первых строк воспроизводит типичную обстановку психбольницы.

* * *

Русский был обречен. После девятнадцати месяцев заключения должно было случиться, что он, истощенный голодом, под непрерывной слежкой, он выдаст себя; и вот он выдал. (А эта пытка грязью!..) И флегматичное радушие Серых Братьев, и беззвучные злобные смешки преступников — все это показало ему, когда — то словом, то жестом, то неудержимыми ночными рыданиями, постепенно, от раза к разу, — он открыл нечто из своей тайны... А теперь я видел, как он закрывал ладонями уши, чтобы не слышать безостановочное шарканье ног, подобное скрежету каменной лавины.

* * *

То были первые дни, когда во Фландрии проснулась весна. Из палаты сумасшедшего дома (приюта настоящих сумасшедших, куда меня теперь поместили) сквозь толстые стекла окон, сквозь железные решетки я часто наблюдал, как заходящее солнце обрисовывает четкий профиль карниза. Мелкая золотая пыльца покрывала луга, а за ними, вдали, — немая линия города, прерываемая кое-где готическими башнями. И так каждый вечер, перед тем как лечь спать, я приветствовал весну из места моего заточения. И в один из этих вечеров я узнал: Русского убили. И тогда мне показалось, что золотая пыльца, которая обволакивала город, возносится, как пламя кровавой жертвы. Когда же?.. Мне верилось, что алые, как кровь, отблески заката доносят да меня его последний привет. Я сомкнул ресницы и долго оставался без всяких мыслей: в тот вечер я не желал увидеть, как наступит следующий. Потом, открыв глаза, увидел, что за окном стемнело. Палату наполняли спертый воздух и глухое дыхание безумцев, за день утомленных своими бреднями. Утопая головой в подушке, я следил, как вокруг электрической лампы в бледном и холодном свете носятся мотыльки. Острая сладость, сладость мученичества — его мученичества — скручивала мои нервы. Тревожная, склоненная над краем печи бородатая голова писала. Перо, бегая по бумаге, скрипело лихорадочно. Зачем уходил он спасать других людей? Его портрет — портрет преступника, безумного, непреклонного в своем благородстве, голова, которую он носил прямо, с достоинством, свойственным животному[1], — это Другой. Улыбка. Образ улыбки, написанной по памяти. Голо-

1. Противопоставление животных, в их благородной и подлинной красоте, людской напыщенности и суетливости — чисто ницшеанский мотив.

ва девушки д'Эсте[1]. А дальше — головы русских крестьян, все бородатые, головы, головы, и снова
головы .....
Перо, бегая по листу, лихорадочно скрипело. Зачем уходил он спасать других людей? Наклонив над краем печи бородатую голову, Русский писал, писал, писал...

* * *

В Бельгии закон не разрешает выдавать политических преступников; зато там исполняют свое служение "Братья христианской любви".

Прогулка на трамвае в Америку и обратно

Острая прелюдия неслышной симфонии, дрожащая скрипка с электрической струной, трамвай, что мчит по линии в железное небо провисших проводов, а вокруг белая громада города возвышается словно сон, словно размноженный мираж огромных царственно-варварских зданий и угасших электрических диадем. Я движусь вместе с прелюдией, что дрожит, замолкает, вновь начинается, усиливается, и вот вволю разливается по площади перед молом, в гуще кораблей и повозок. Мощные кубы города разбросаны вдоль залива, как бесчисленные кубики света, перемежаемые полосками синевы, а море за клещами подъемных кранов, подобно реке, бежит молча, давясь беззвучными всхлипами, быстро бежит к вечности моря, которое мечется вдали, затевая заговор, чтобы прорвать линию горизонта.

Но вот, пока море трепетало в своем скором беге, мне почудилось, что город исчез. На взлетающей вверх корме я уже уносился далеко, в водяную круговерть. Мол и люди на берегу исчезли, растаяв, как туман. Сгущался невероятный морской запах. В стороне высился погашенный маяк. Клокотанье моря немилосердно заглушало все вокруг. Сильные удары в борта смешивались со стуком моего сердца, и отовсюду изнутри поднималась ноющая ломота, будто я заболевал чумой. Я вслушивался в клокотанье воды. По временам оно казалось музыкальным, но затем все обрушивалось в бездну грохота; и земля, и свет рвались в клочья, теряя свой смысл. Помню, как нравился мне звук глухого шлепка,

1. Портрет юной маркизы Беатриче д'Эсте (1490-е гг.), издавна приписываемый кисти Леонардо да Винчи (Амброзианская пинакотека, Милан).

когда корабль носом погружается в волну, и она подхватывает его и несколько мгновений держит на весу, а потом легко подбрасывает вверх, и судно, как дом во власти землетрясения, раскачивается так, что приходишь в ужас; вот, оно делает усилие, сопротивляясь могучему морю, — и снова принимается оркестрировать в воздухе мачтами, словно дирижерскими палочками, насмешливую мелодию, что не слышна, а лишь угадывается ударами отчаянной пляски, от которых сотрясается все!

На корме были, кроме меня, две бедные девушки: "Ой, горе! Ой, горюшко нам совсем! Не видать нам тебя больше, маяк Генуи!" Ну и что с того, в конце-то концов! И плясал наш корабль, плясал до самого Буэнос-Айреса; и от этого было так весело; и море смеялось вместе с нами своим шутовским и непроницаемым смехом. Не знаю, может, дурацкой дразнящей проказой моря была и тошнота, в которую эта огромная скотина вгоняла меня своим весельем... Но уж довольно; дни проходили. Среди мешков картофеля я нашел себе убежище. Как освещали пустынный берег последние багряные лучи заката! Корабль уж целый день плыл вдоль берега. Простая красота мужской грусти... А порой, когда вода долетала до окошек, я любовался экваториальным закатом над морем. Видел, как уносились птицы вдаль от своих гнезд; точно так же и я; но не было это мне в радость. В поздний час, растянувшись на палубе, я смотрел, как в ночной прохладе под шум воды раскачиваются мачты .....

И вновь слышу нестройную прелюдию визжащей струны под смычком скрипки воскресного трамвая. Маленькие белые кубики улыбаются на берегу залива, выстроившись по кругу, будто огромная вставная челюсть, среди удушливых запахов дегтя и угля, смешанных с вызывающим тошноту запахом Беспредельного. Над безлюдными причалами дымят пароходы. Воскресенье. Отдых для порта, полного мертвыми остовами после медленных людских потоков, этих муравьев из огромного склепа[1]. А между клещами подъемных кранов трепещет река, что бежит молча, давясь беззвучными всхлипами, быстро бежит к вечности моря, которое мечется вдали, затевая заговор, чтобы прорвать линию горизонта.

1. Кампана сравнивает стоящие в порту трансатлантические пароходы с мертвыми остовами (животных или людей), к которым тянутся очереди пассажиров. На фоне огромных судов человеческие фигурки кажутся мелкими, как муравьи.

Игорь Ефимов

Джон Чивер (1912–1982)

Из книги "Бермудский треугольник любви"

Бас. Если бы Голливуд заказал мне сценарий биографического фильма о Джоне Чивере, я бы начал с такой сцены: Бостон, 1974 год; раннее утро в неприбранной квартире; на столе, на полу, под кроватью – пустые бутылки, грязная одежда, апельсиновая кожура. Аспирант Бостонского университета Лоренц Шварц открывает дверь своим ключом, подходит к голому человеку, лежащему в кровати, будит его, помогает одеться. Они вместе выходят из дома, направляются к близлежащему дайнеру. Усевшись за стол, обитатель квартиры пытается закурить, но пальцы не слушаются, спички ломаются одна за другой. Официантка, не дожидаясь заказа, приносит ему стакан водки со льдом. Он начинает по-птичьи, поднеся губы к краю стакана, стоящего на столе, отхлебывать. После нескольких глотков пальцы его перестают дрожать, и ему удается взять стакан рукой. Следующий кадр: знаменитый писатель Джон Чивер в сопровождении Шварца неуверенными шагами входит в университетскую аудиторию и начинает занятия со студентами.

Тенор. Нет, я бы для начала выбрал другой эпизод – случившийся на восемь лет раньше. Джон Чивер беседует с психиатром и объясняет ему, что пришел поговорить о нервном расстройстве своей жены. Она постоянно подавлена, огорчается и тревожится по пустякам, проявляет необъяснимую враждебность к своему замечательному супругу. Эта враждебность уже довела его до пьянства и импотенции. Необходимо что-то предпринять. Да, она согласилась подвергнуться обследованию, ждет в приемной. Входит Мэри Чивер, усаживается рядом с мужем, психиатр начинает расспросы. Наплыв. После часовой беседы психиатр остается с Чивером наедине и объясняет ему, что с женой все в порядке, она не нуждается в помощи врачей. А вот ему срочно нужно заняться своим душевным здоровьем. Тревожные симптомы указывают на следующие расстройства: нарциссизм, маниакальная депрессия, эгоцентризм, бегство в мир иллюзий и безудержное

© Игорь Ефимов, 2012

фантазирование, позволившее ему выстроить эту защитную версию о психическом заболевании жены.

Бас. Когда я думаю о творчестве Чивера, мне на ум приходит такая метафора. Представим себе купца из сказки, приплывшего на корабле в неведомую страну. Его неистощимая фантазия способна наполнить трюмы корабля самыми разнообразными товарами. Проблема в том, что он не может уловить, какой товар будет пользоваться успехом на незнакомом рынке, а какой останется нераспроданным. Каждое утро он является в свою лавку с новой порцией товара и с недоумением и досадой смотрит на покупателей, равнодушно проходящих мимо изделий, столь похожих на те, которые еще вчера шли нарасхват. Писатель Чивер часто приходил в растерянность от похвал, расточаемых каким-то его произведениям, и возмущался, когда редакторы и критика отвергали то, что казалось ему явной удачей.

Тенор. При этом с фантазией своей он обращался очень осторожно. Так дрессировщик обращается с тигром, львом, слоном, когда не уверен в полной послушности своих зверей. Предпочитал срисовывать своих персонажей с живых людей, которых он хорошо знал. На страницах его рассказов и романов без конца всплывают образы и отдельные черты отца, матери, старшего брата, жены, ее родственников, собственных детей. Фрейдистам в его биографии всегда будет раздолье. Ну чем, чем ему могла так досадить в детстве его мать, что он поносил ее потом с таким же упорством, с каким его кумир Хемингуэй поносил свою?

Бас. Начать с того, что она не скрывала от него обстоятельств, сопутствовавших его рождению. У супругов Чивер уже был один сын, Фред, взаимная любовь их увяла, и они не имели намерения заводить новых детей. Однако во время большого банкета ассоциации бостонских торговцев оба выпили по нескольку "манхэттенов" и ночью забыли об осторожности. Джон был на семь лет младше брата и всегда болезненно ощущал себя обделенным родительским вниманием. Другой постоянный пункт обвинений: когда отец разорился и семья начала погружаться в нищету, мать "унизилась" до того, что открыла лавку сувениров. Маленький Джон не мог без презрения смотреть на отца, шатавшегося по дому без дела, но еще сильнее презирал мать за ее деловую хватку, практичность, умение ладить с поставщиками и покупателями.

Тенор. Хотя вообще-то абстрактные ценности культуры ценились в семье Чиверов очень высоко. Мать зачитывалась романами и религиозными книгами, посещала театр, отец музицировал, тетка рисовала картины, а сын ее стал пианистом. Чтение книг было главной страстью Джона Чивера с детства,

он проводил часы, погружаясь в Диккенса, Шекспира, Фолкнера, Чехова, Филдинга, Флобера. Также любил театр, музыку. В школе, правда, успехами не блистал, перебивался тройками и двойками даже на уроках английского. "Чего может добиться в жизни человек, не могущий освоить основы арифметики?" – говорила его мать. Зато талант рассказчика открылся в нем очень рано. Учительница литературы была поражена, когда двенадцатилетний Джон сочинил у нее на глазах и рассказал перед классом историю в духе рассказов Киплинга.

Бас. Жалкое положение отца в семье вызывало сочувствие Джона и усиливало раздражение против матери. Та, в добавление к лавке сувениров, открыла еще небольшой ресторан и работала в нем допоздна. Только когда уходил последний посетитель, она давала поесть мужу. "Боже, чем я заслужил такое отношение?!" – восклицал тот. Но при этом ни за что не согласился бы на работу, которую считал ниже своего достоинства. "Все хозяйственные заботы – женское дело, – учил он сына. – Помни, что ты из рода Чиверов, что твои предки приплыли сюда в XVII веке". Понятия гордой нищеты были крепко усвоены Джоном на всю жизнь, и он предпочитал скорее голодать, чем унизиться до поденщины.

ТЕНОР. Наиболее распространенным путем к самоутверждению для американского подростка был спорт. Однако и здесь Джону не повезло. Он был маленького роста. Перенесенный в раннем детстве туберкулез оставил шрамы в его легких, так что путь в бейсбольную, футбольную или хоккейную команду был для него закрыт. Он выучился кататься на коньках, плавать, ездить на велосипеде и всю жизнь старался находить время для спортивных упражнений. Вообще придавал огромное значение своему внешнему облику: держался прямо, не толстел, пускался в долгие пешие прогулки, купался в холодной воде. Но это не могло принести ему того, о чем он мечтал, – признание и славу.

Бас. Признание и слава могли прийти только из мира литературы. Он оставил школу и написал рассказ "Исключенный", который был вскоре напечатан в известном журнале "Нью рипаблик". Опубликовать первое произведение в восемнадцать лет – немногие литераторы имели такую удачу в начале пути. Но пройдет еще много лет, прежде чем на свет появится самостоятельный и оригинальный писатель Джон Чивер. А пока он подрабатывал развозкой газет и проводил вечера со старшим братом, который взял его под свое покровительство. Иногда они застревали в городе за полночь, и их отец, недовольный этим, запирал двери дома. Однажды Фред попытался пролезть внутрь через боковое окно и наткнулся в гостиной на отца, поджидавшего его с пистолетом в руке.

Впоследствии Джон утверждал, что он проснулся в своей спальне от выстрела и, спустившись вниз, увидел пулевое отверстие в стене. "Ты не должен был этого делать, дэд", — сказал побледневший Фред.

ТЕНОР. В начале 1930-х Фред Чивер неожиданно увлекся идеями национал-социализма и уговорил брата совершить совместную поездку в Германию. Джон остался равнодушен к парадам под свастикой и расистской пропаганде, оценил только немецкое пиво. Фред же был в восторге от идей фюрера, от культа дисциплины и от великолепного качества всего, что имело на себе марку "сделано в Германии". По возвращении Джон пытался заинтересовать редактора в "Нью рипаблик" своими путевыми впечатлениями, но тот остался равнодушным. На другом конце политического спектра у Чивера возникли контакты с представителями коммунистической прессы, которые объясняли молодому литератору, что он не напишет ничего путного, пока не отдаст свое перо на службу борющемуся пролетариату.

Бас. Примерно в это же время у Джона возобновились отношения с одноклассницей, которой он увлекся еще в школьные годы. Они случайно встретились на занятиях в скульптурной мастерской, открывшейся в Бостонском музее искусств. Их общение неизбежно привело к тому, что девушка познакомилась и с Фредом тоже, и тот загорелся еще сильнее, чем его брат. У него к тому времени уже была приличная работа, и выглядел он солиднее и надежнее. Практичная девушка выбрала Фреда, и вскоре они поженились. Неизвестно, как Джон пережил этот удар. Но писатель Чивер будет мстительно воскрешать брата и его жену в своих произведениях и дневниках много-много раз.

ТЕНОР. Однако центральная фигура рассказа "Прощай, брат мой" — того самого, которым Чивер откроет последний, самый большой свой сборник, опубликованный за три года до его смерти, — ничем не напоминает Фреда. Этот унылый адвокат, без конца меняющий службы, друзей, места проживания, способный видеть только плохое и темное, отравляющий семейные каникулы своим детям, братьям, матери, жене мрачными пророчествами о том, что их чудесный дом на краю утеса через пять лет смоет океан, что мать сопьется, что невинная ежевечерняя игра в бэкгамон сведет его родственников с ума, больше напоминает самого Чивера на пике его мизантропии. И когда рассказчик, доведенный до ярости чернотой, текущей из его брата, наносит ему на пляже удар палкой по голове, мне всегда казалось, что этот удар автор наносил себе — тому себе, который, сам того не желая, причинял столько горя и тоски самым близким для него людям.

Бас. Годы депрессии были унылой порой для Чивера. Рассказы не печатали, мелкие рецензии приносили гроши. Он мог бы умереть от голода в Нью-Йорке, если бы брат не подбрасывал ему по десять долларов в неделю. Другим спасительным поплавком оказался Яддо – Дом творчества для писателей, композиторов и художников, находившийся вблизи города Саратога. Директриса этого приюта для бедных муз ценила Чивера и старалась продлить его визиты. Но он часто искушал ее терпение: купался в бассейне голым, выпивал, заводил любовные связи, удирал в город на ипподром и спускал на скачках последние деньги.

Тенор. Одна из его возлюбленных вспоминала потом, что в его отношении к женщинам чувствовалась двойственность: с одной стороны, он жаждал их страстно, с другой стороны, тяготился своей зависимостью от этого влечения. Другая подруга навещала его в Вашингтоне и как только входила в квартиру, он тянул ее на диван, и через пять минут все бывало кончено. После этого утоленный Чивер отпускал девушку искать в городе других развлечений. Сам же впоследствии писал в дневнике: "Я хотел жениться почти на каждой девушке, с которой переспал. Я хотел жениться и иметь сыновей и дом, и я категорически отрицаю, что мною двигал только страх разоблачения, страх, что моя бисексуальность выплывет на свет".

Бас. В конце жизни Чивер написал роман "Фальконер", в котором гомосексуальная любовь была описана страстно и убедительно. Большой вопросительный знак неизбежно вырастал в голове каждого читателя. Корреспондентка журнала "Ньюсуик" (между прочим, дочь Чивера) спросила его напрямую: "Были в вашей жизни случаи гомосексуальных отношений?" После некоторой паузы он сказал: "Да, таких случаев было немало – в возрасте от девяти до одиннадцати лет". Действительно, он любил шокировать знакомых рассказами о том, как они с одноклассником упоенно мастурбировали друг друга. Но после посмертного опубликования его дневников выяснилось, что эпизоды любовных отношений с мужчинами имели место на протяжении всей его жизни.

Тенор. Встреча Чивера с будущей женой произошла в лифте. Мэри Винтериц работала секретаршей в заочной школе для начинающих литераторов, которая располагалась на том же этаже, что и контора литературного агента Чивера. Ее сердце было отзывчиво на чужие несчастья, а молодой человек, оказавшийся перед ней, явно заслуживал сострадания: исхудавший, нервный и такой низкорослый, что рукава его пиджака закрывали кисти рук. Они начали встречаться, и вскоре обнаружили много общего: оба считали себя нежелан-

ными детьми, оба знали что такое бедность и одиночество, оба были страстными книгочеями с детства. Мэри снимала маленькую комнатенку, и, как она рассказывала впоследствии, Чивер попросту незаметно вселился туда. Доступа к кухне у них не было, и Мэри жарила бараньи ребрышки на электрической плитке и варила горошек в кофейнике.

Бас. Они поженились в марте 1941 года. Саркастичный Чивер писал в дневнике, что настроению невесты подошла бы слегка видоизмененная подвенечная клятва: "Я *снисхожу* до того, чтобы принять тебя в качестве законного мужа". В декабре Америка вступила во Вторую мировую войну, и вскоре начинающий писатель Джон Чивер был превращен в начинающего солдата. Недостаток образования и низкий коэффициент интеллекта не позволили ему подняться по лестнице чинов. Долгое время он оставался рядовым, и его жалованье в военном лагере было мизерным. Зато ему повезло: он был переведен в войска связи. Здесь его сослуживцами оказались такие литераторы, как Ирвин Шоу и Уильям Сароян. А 22-й пехотный полк, в котором Чивер служил до перевода, в 1944 году понес тяжелые потери при высадке в Нормандии и в последовавших боях на полях Европы.

Тенор. Перевод в войска связи не был случайным. В 1943 году издательство "Рэндом Хауз" выпустило первый сборник рассказов Джона Чивера "Как живут некоторые люди". Друзья уговорили влиятельного офицера в Вашингтоне прочесть его. Книга произвела такое сильное впечатление на майора Шпигельгласса, что он нажал на нужные пружины, и соответствующий приказ был отправлен в штаб 22-го полка. В том же году Мэри родила дочь Сьюзен, и счастливый отец чувствовал себя на седьмом небе. Только весной 1945 года ветры войны унесли его на Тихоокеанский фронт военных действий. Он видел истощенных жителей Манилы, бродящих среди разрушенных домов, неубранные трупы, бумажные японские деньги, плавающие в лужах, однако в настоящих боях участвовать ему не довелось.

Бас. Примечательно, что Чивер оказался почти единственным писателем своего поколения, в творчестве которого военные впечатления не оставили никакого следа. Хемингуэй, Мейлер, Воннегут, Сароян, Шоу, Сэлинджер и многие другие пытались художественными средствами проникнуть в грозную тайну феномена войны. Чивер явно избегал этой темы, так же как он всю жизнь избегал соприкосновения со страстями политики. Только частный человек интересовал его и только во взаимоотношениях с другими частными людьми. Общественная сторона индивидуума для него не существова-

ла. В дневнике он однажды записал: "У меня нет памяти на боль". Похоже, у него также не было памяти на военные и политические баталии, потрясавшие его современников.

Тенор. Возможно, именно эта особенность сделала его в послевоенные годы любимым автором "Нью-Йоркера". Именно пристальное вглядывание в повседневную жизнь было характерным для рассказов, печатавшихся в этом журнале. Но Чивер умел разбавить реалистическую канву неожиданным вторжением фантастического элемента. В рассказе "Исполинское радио" (1947) герой покупает жене новый приемник. Она пытается слушать музыку, но в звуки моцартовского квинтета вдруг начинают вторгаться телефонные звонки, шум пылесоса в соседней квартире, постукивания поднимающегося лифта. Дальше — больше и хуже: из радиоприемника доносятся голоса других обитателей дома, семейные ссоры, плач детей, любовные стоны, крики женщины, избиваемой сожителем.

Бас. Вернувшийся с работы супруг застает жену в слезах. "Зачем ты слушаешь, если это приводит тебя в такое расстройство? — восклицает он. — Я выложил четыреста долларов за этот приемник, чтобы ты могла получать удовольствие от музыки, а ты..." Но жена безутешна. Она обнимает мужа и взывает к нему: "Какая ужасная жизнь приоткрылась мне! Правда ведь, мы с тобой не такие?! И никогда не были такими. Мы всегда были добры друг к другу, и у нас двое замечательных детей, и в нашей жизни нет ничего тайного и грязного, и мы не проводим дни в ссорах из-за денег, и мы счастливы, правда ведь — мы счастливы?"

Тенор. И тут муж срывается. Все накопившиеся в нем тревоги и обиды вдруг изливаются на жену. Почему она до сих пор не заплатила за платье, а ему сказала, что заплатила? И когда она научится бережнее обращаться с деньгами? Его положение на службе ненадежно, фирма вообще может закрыться. "Ты ужасаешься тому, что соседи в квартире 11-С планируют присвоить бриллиант, потерянный их гостьей, а сама не отдала родной сестре ни цента из наследства, причитавшегося вам обеим. И хладнокровно пошла на аборт, убила нашего ребенка!"

Бас. Чивера не зря сравнивали с Чеховым. Такое же пристальное вглядывание в людские слабости, душевную мелкость окружающих, в убожество жизни, часто спрятанное за приукрашенным фасадом. "Ведь мы не такие!" — восклицает жена, но рассказ — устами мужа — безжалостно отвечает: "Такие — и даже хуже". Не исключено, что многих читателей привлекал именно этот грустный взгляд писателя на мир.

Тенор. И все же Чивер никогда не принимал позу сатирика-моралиста, выносящего обществу безжалостный приговор. Во

всем его творчестве лейтмотивом проходит порыв человеческой души — столь свойственный и ему самому: *стать лучше.* В начале 1950-х в его дневнике появилась такая запись: "Я приближаюсь к моему сорокалетию, не свершив ничего из того, что я был намерен свершить. Не достиг даже творческого совершенства, над которым я бился все это время. Убогое положение, занимаемое мною, — не результат злой судьбы, а моя вина. Где-то в середине пути мне не хватило сметки и мужества овладеть тем, что было мне дано... Мелкость, посредственность моих трудов, безалаберность моих дней — из-за всего этого мне так трудно вставать по утрам... Каждое утро я говорю себе: ты должен ковать крепче, работать напряженнее, оставить что-то, чем твои дети могли бы гордиться... Потом провожу пять-шесть часов за пишущей машинкой, в сломанном кресле, все подвергая сомнению, начиная с себя, глядя, как рушатся стены моей души".

Бас. Легко себе представить, как человек столь безжалостный к себе мог обращаться со своими близкими. Жене приходилось терпеть постоянные сарказмы в свой адрес за плохо приготовленную еду, за жалкую учительскую зарплату, за участие в организации "Женщины-избирательницы", за "неправильное" воспитание детей. Дочь Сьюзен росла упрямой, замкнутой, толстела на глазах и была трагически далека от той белокурой стройной красавицы, какой мечтал ее видеть отец. Его любовь к ней выражалась бесконечными попреками, запиранием еды, поучениями, шлепками. От сына он требовал, чтобы тот участвовал в спортивных играх, улучшал отметки и перестал говорить и смеяться "как женщина". Сьюзен начала настоящую охоту за спрятанными крекерами, пирожками, шоколадками, сыром, рылась в шкафах и холодильнике и в результате съедала вдвое больше того, чего ей недодавали за столом. "Это была война не на жизнь, а на смерть", — вспоминала она потом.

Тенор. После двенадцати лет брака взаимное охлаждение супругов стало бросаться в глаза окружающим. Холодность жены рождала в душе чувство одиночества, одиночество нужно было глушить выпивкой, от выпивки учащались случаи импотенции, они, в свою очередь, усугубляли холодность жены. В какой-то момент они даже обсуждали возможность разойтись на время. Запись в дневнике: "Я — как заключенный, пытающийся сбежать из тюрьмы неверным путем. Возможно, дверь открыта, а я все рою туннель чайной ложкой. И возможно, это только углубляет яму под моими ногами". И тут же — неожиданно — строчки, полные нежности: "Мэри утром, спящая, выглядит, как та девушка, в которую я влюбился. Ее круглые руки лежат поверх одеяла. Каштановые волосы рассыпаны. Непреходящее ощущение серьезности и чистоты".

Бас. Дневник Чивера — это, конечно, произведение особого рода. Я бы поставил его в один ряд с дневниками Кьеркегора, Толстого, Кафки. Освобожденный от тревоги "заплатят мне за эти строчки или нет?" он дает перу лететь по бумаге свободно, запечатлевая поток собственных чувств и порывов, со скоростью судебного стенографа. Сюда же вплетаются мимолетные впечатления, зарисовки уличных сценок, лиц прохожих и пассажиров в поезде, запах ветра с реки, стук каблучков по асфальту, женское плечо, покрытое загаром. Это у Хемингуэя он научился открывать колдовство, таящееся в нанизывании казалось бы случайных деталей, и наслаждаться им. Но именно дневник приоткрывает нам, как безнадежно он был прикован к самому себе. "Что я сейчас чувствую? Как выгляжу в глазах других? Как отнесутся ко мне эти люди? Где мне достать денег, чтобы оплатить растущую стопку счетов?" Даже когда он вопрошает, какими вырастут дети или как вызвать улыбку жены, все возвращается к нему, замыкается на нем самом: *мои* дети, *моя* жена.

Тенор. Тютчев говорил, что цель его беспорядочного существования каждый день заключается в одном: избежать сколько-нибудь длительного общения с самим собой. Чивер же, наоборот, большую часть дня проводил наедине с собой. Даже когда он садился за пишущую машинку, ему было трудно отвлечься от себя и уделить достаточно внимания вымышленным персонажам. Именно поэтому из рассказа в рассказ у него кочуют те, кто оставил глубокий след в *его* душе: властная самоуверенная мать, брат, пытающийся поучать всех окружающих, печальная жена, обделенная чувством юмора, непослушная дочь, способная срезать отца убийственной остротой.

Бас. И еще он очень боялся стареть. Герой рассказа "О, юность и красота!" пытается в сорок лет поражать друзей любимым трюком своей молодости: превращает домашнюю мебель в спортивные препятствия и устраивает забег, перепрыгивая по очереди через стул, кушетку, кресло, детскую кроватку, тумбочку. Сила и ловкость уже не те, он падает, ломает ногу, но не сдается. В конце рассказа жена, пытаясь дать сигнальный выстрел для очередного забега, случайно подстреливает мужа. (Не всплывает ли здесь опять тень Хемингуэя и несчастного мистера Маккомбера?) В других рассказах герои с тоской разглядывают в зеркале появляющиеся морщины, седые волосы, вылезший живот. Да и в жизни Чивер доходил до безрассудства, пытаясь доказать себе и другим, что птица юности не покинула его. Перенеся тяжелый инфаркт, он уже через неделю выпивал прежнюю дозу коктейлей, катался на велосипеде, купался в холодной воде и танцевал джигу на столе.

Тенор. В течение двадцати лет Чивер пытался написать настоящий большой роман, и наконец его усилия увенчались успехом. Реакция критиков на выход "Хроники семейства Уопшотов" (1957) была смешанной. Один писал, что автору не удалось вырваться из традиций журнала "Нью-Йоркер". Другой восхвалял роман как настоящую семейную сагу, разворачивающуюся в прибрежном городке к югу от Бостона, "блестяще сочетающую кипучую веселость, печаль и нежность". Третий отмечал сюжетную разбросанность, выражал мнение, что роман похож на связку рассказов. Четвертый объявлял автора — при всем его даре сатирика и стилиста — сентиментальным подростком.

Бас. В свое время я честно дочитал роман до конца, но далось мне это нелегко. Там время от времени всплывают картины, написанные пером настоящего художника. Но неспособность — или нежелание — автора создавать сквозной сюжет рождала во мне ощущение обмана. Так бывает и в повседневной жизни: твой собеседник сопровождает рассказываемую историю вставными анекдотами, приятными улыбками, многозначительными паузами, мечтательным закатыванием глаз, и ты не сразу понимаешь, что, по сути, *ему нечего рассказать*. Он просто упивается потоком своей гладко льющейся речи, он любит говорить и радуется тому, что законы вежливости не позволят тебе просто встать и удалиться. Впоследствии я прочитал в дневниках Чивера, что он и сам чувствовал эту главную слабость "Хроники". Не раз он пишет про старого Уопшота: "Он неважен, он незначителен, он никому неинтересен. Любовь нигде не всплывает на этих страницах, и проза выглядит манерной".

Тенор. Сыновья старшего Уопшота, Мозес и Коверли, пополнили толпу подростков, захлестнувшую американскую литературу в 1950-е годы. Холден Колфилд Сэлинджера, Лолита Набокова, Коллин Фенвик Трумена Капоте, Нил Клугман Филипа Рота и множество других — это всё ровесники и бунтари против мира родителей. Растущее благополучие в стране расширяло горизонты возможного для юного поколения. У многих теперь была *своя* комната, *свои* карманные деньги, *свой* радиоприемник, порой даже *своя* машина. Литература, музыкальный мир, телевидение, кино вынуждены были подстраиваться под вкусы пятнадцатилетнего потребителя. Вспомнить только такие фильмы, как "Вестсайдская история", "Бунтарь без причины", "На восток от Эдема".

Бас. Автор великолепных рассказов, Джон Чивер в его попытках писать роман напоминает мне замечательного лодочного мастера, который бы поставил перед собой задачу пересечь океан. Лодочник не умеет строить большой корабль, но он тешит себя иллюзией, будто достигнет цели, свя-

зав между собой двадцать-тридцать отличных лодок. Именно таким сооружением представляется мне "Хроника семейства Уопшотов" – скоплением неоконченных рассказов о главе семейства, его жене, двух сыновьях, покинувших родной дом уже в первой части, эксцентричных тетках. Побочные персонажи появляются без всякой связи, исполняют свою короткую роль, иногда просто роняют две-три реплики и исчезают. Мы пытаемся проникнуться сочувственным интересом к главным героям, но и они, по авторскому произволу, пропадают на десятки страниц. Ветры большого повествования разрывают лодочную флотилию, выбрасывают на берег обломки.

Тенор. Да, редакторы и критики не раз спрашивали автора, что стало, например, с девушкой Розали, покорившей сердце старшего сына, Мозеса? Куда девалась незаконная дочь главы семейства, Леандра Уопшота? Но Чивер отмахивался от их претензий и отказывался что-то менять в романе. В своих импровизациях он следовал художественному инстинкту, а не логике драматического действия. Когда персонажи наскучивали ему, он оставлял их и выводил на сцену других. Ему казалось, что в этом он следует примеру обожаемых им британских классиков: Филдинга, Стерна, Теккерея.

Бас. Большое место в романе занимают куски из дневников Леандра Уопшота. Их обрывистый стиль, с обрубленными предложениями, напоминает стиль дневников самого Чивера. Ведение дневника занимало огромное место в его жизни. Он всюду возил с собой пачку тяжелых блокнотов и заносил в них самые интимные мысли и переживания. Инстинкт не обманывал его – художественная насыщенность этих текстов была захватывающей. Но дневники Леандра, внешне похожие по стилю, оказываются скучным перечнем житейских мелочей, занимавших неинтересного старого человека. В них не было и тени душевной боли, безжалостного суда над самим собой, сверкающего на страницах дневника автора романа об Уопшотах. В лучшем случае – сентенции, прославляющие дар жизни и красоту мироздания.

Тенор. Человек слаб и грешен, говорит нам Чивер, но *желание лучшего* никогда не умирает в нем. Каким-то образом его персонажи находят выход из бездны отчаяния и одиночества. После смерти старого Уопшота сыновья обнаруживают записку с наставлениями им: "Никогда не занимайся любовью, не сняв штанов... Пиво на виски – слишком много риска... Держись прямо. Восхищайся миром. Цени нежную любовь женщины. Полагайся на Господа". А недобрую богатую родственницу Джустину постигает кара: куратор из Метрополитен-музея объявляет ей, что полотна Тициана и других итальян-

цев, которыми она так гордилась, являются подделкой. Но автору этого мало: он насылает на замок старухи пожар и сжигает его дотла.

Бас. Во время чтения романа я продолжал недоумевать, каким образом эта разваливающаяся конструкция могла завоевать успех у читателя, получить Общенациональную премию за лучшую книгу (1958), принести автору членство в престижном Институте искусства и литературы. И лишь в главе 34-й я нашел возможное объяснение. Сто лет спустя после войны за освобождение негров в Америке XX века началась скрытая гражданская война за освобождение от клейма позора адептов однополой любви. Среди образованных людей все сильнее нарастало стремление защитить гомосексуалистов от гонений, помочь им обрести человеческое достоинство. В главе 34-й с большим сочувствием описаны гомосексуальные порывы, пережитые Коверли Уопшотом, а потом — и его отцом. "В том, кто любит, нет места для глупости и злобы", — говорит Уопшот-старший. Мне кажется, роман Чивера вынесло к славе таким же ветром, каким в свое время была вознесена "Хижина дяди Тома".

Тенор. Действительно, в начале 34-й главы автор честно предупреждает, что в ней речь пойдет о гомосексуализме, и предлагает тем, кого это не интересует, пропустить ее. Так прямо коснуться этой темы до Чивера посмел только Джеймс Болдуин в книге "Комната Джованни", но ее действие разворачивается во Франции. Когда молодая жена оставила Коверли Уопшота, он чувствовал себя очень одиноким. И ухаживания молодого начальника, его приглашение отправиться вместе на десять дней в Англию взволновали его. "В его глазах мир должен был быть таким местом, в котором подобный порыв не подвергался бы осуждению". Но секунду спустя он представил себе, как, поддавшись порыву, он утратит любовь всех прелестных женщин, которых ему предстоит встретить в жизни, и отшатнулся от соблазнителя. Спору нет, невидимая гражданская война продолжается и в наши дни, и в ней по-прежнему можно погибнуть, как это убедительно показано в фильме "Горбатая гора".

Бас. Соблазны кинематографа не миновали Чивера. Он боялся Голливуда, он видел череду писателей, чей талант был размыт служением целлулоидному идолу. Но безденежье донимало так сильно, что в конце 1960 года он принял предложение киностудии Фокс писать киносценарий по роману Лоуренса "Пропавшая девушка". Оказавшись оторванным на шесть недель от семьи, он задыхался от одиночества в роскошном номере гостиницы в Беверли-Хиллз и счастлив был встретить старого знакомого по Дому творчества в Яддо. В

дневнике появилась запись: "Провел ночь с К. К чему это может привести? Может быть, грех произошел от стечения обстоятельств. Ведь это случалось всего три раза в моей взрослой жизни. Я знаю свою неуправляемую натуру и пытаюсь удерживать ее рамками творчества. Искренне надеюсь, что это не повторится... Надеюсь, я не принесу боли тем, кого люблю".

Тенор. Страх разоблачения преследовал Чивера всю жизнь. Но в конце 1950-х гомофобия в стране поднялась на новую ступень. В штате Массачусетс однополая любовь считалась "отвратительным и постыдным преступлением против природы" и каралась тюремными сроками. Коллега Чивера по Совету управляющих колонии Яддо, профессор Арвин, попал в тюрьму за то, что у него нашли порнографические открытки гомосексуального характера. Семнадцатилетняя Сьюзен спросила у отца, как это могло случиться и почему этих людей преследуют так жестоко. Он не нашелся, что ответить, и вышел из комнаты сердитый и подавленный.

Бас. После рождения третьего ребенка арендованный домик в окрестностях Нью-Йорка стал тесен семейству Чиверов, и решено было переезжать. Городок Оссининг на левом берегу Гудзона привлек их внимание своими живописными улочками, обвивавшими прибрежные холмы. Вопрос, как всегда, уперся в деньги. С конца 1940-х Мэри получала каждый квартал небольшие суммы из наследства, оставленного ей умершей бабушкой, но гордый супруг отказывался принимать эти деньги для хозяйственных нужд. Теперь накопленные десять тысяч пошли на уплату аванса, и в начале 1961 года семья вселилась в двухэтажный дом, окруженный вязами, имевший посреди участка пруд с игрушечным домиком для уток, фруктовый сад, луг и живые изгороди из тиса. Мэри была счастлива, а Джон говорил, что выплаты банку заставят его в течение ближайших двадцати лет писать по рассказу в неделю, а вечера тратить на сочинение пьес и сценариев.

Тенор. Несмотря на расширение жизненного пространства, миру в семье не суждено было установиться. Подросшая Сьюзен больше не обливалась слезами, слушая попреки отца, а отбривала его репликами, отточенными в долгой семейной войне. "У тебя в разговорах всегда звучало только две струны, — говорила она. — Одна — история наших предков, другая — твое детское чувство удивления перед миром. Но теперь обе струны порвались". Или: "Ты говоришь не то, что думаешь, и думаешь не то, что говоришь". Когда в доме гостил ее друг-студент, Чивер следил, чтобы они спали в разных комнатах, требовал, чтобы не обнимались на диване в гостиной.

Бас. Поток попреков в адрес жены тоже не ослабевал. "Жить с интеллектуалкой, – писал Чивер, – это все равно что впустить в дом гремучую змею. Она не умеет сложить столбик простых чисел или постелить постель, но будет читать тебе лекции о символике произведений Камю, пока обед подгорает на плите".

Тенор. Кипевшая ярость искала выхода. В рассказе "Океан" жена героя настолько рассеянна, что начинает поливать лужайку во время сильного дождя. Или случайно заправляет салат мужа не уксусом, а бензином. В другой раз вместо соли и перца сыпет в телячьи котлеты отраву против жуков. "А может, это уже не случайность, но преднамеренность?" – думает муж. В рассказе "Образованная американка" герой вынужден после рабочего дня сидеть с четырехлетним ребенком, убирать дом, чистить серебро, потому что жена погружена в благородные общественные кампании и в сочинение биографии Флобера. Однажды муж возвращается домой и обнаруживает ребенка в жару, оставленного в спальне без присмотра. Оказывается, жена уехала в город на какой-то митинг, а нанятая присматривать девчонка ушла домой помогать матери. В конце безжалостный автор дает ребенку умереть.

Бас. По сути, Чивер всю жизнь оставался моралистом, воображавшим, что он знает, какую роль положено играть каждому, и возмущавшимся, когда эта роль не выполнялась. Его дневник переполнен обвинениями себе за то, что он не достиг в семье и обществе статуса непререкаемого авторитета, не поднялся до той роли, которую можно было бы считать достойной. Из этого постоянного мучения и родился, я думаю, один из лучших его рассказов – "Пловец".

Тенор. По свидетельству Сьюзен, этот расказ был уцелевшим обрывком сожженного романа. Солнечное летнее утро наполняет сердце героя, Неда Меррила, беспричинной радостью жизни, и в голове его рождается славная затея: оставить жену на попечении друзей, с которыми они накануне вечером слегка перебрали, и отправиться в свой дом ВПЛАВЬ! Да-да – плыть, переходя из бассейна в бассейн на участках многочисленных богатых знакомых, населявших их округу.

Бас. Когда я читал этот рассказ в первый раз, мне по-детски хотелось, чтобы затея удалась. Чтобы в каждом доме друзья радовались появлению Неда, как это случилось в домах Грэхемов и Банкеров, угощали выпивкой, просили задержаться. Но когда он в середине пути наталкивается на дерево, окруженное опавшей желтой листвой (что случилось с летом?), на чью-то запертую калитку, на бассейн без воды, я понял, что путешествие в пространстве превращается в путеше-

ствие во времени. Стоя у дома Велчеров и глядя на объявление "Продается", Нед пытается вспомнить, когда эти друзья решили расстаться со своим чудесным домом? И когда он с женой в последний раз отказался принять их приглашение на обед? Неделю назад? Месяц? Год?

Тенор. Именно в этой сцене в голове героя всплывает вопрос, который Чивер должен был много раз задавать себе: "Неужели моя память слабеет? Или я так упорно дрессировал ее не помнить ничего неприятного, что разрушил ее способность отличать фантазии от правды?" В очередном доме хозяева пытаются выразить ему сочувствие по поводу обрушившихся на него бед — он заявляет, что не понимает, о чем они говорят, что никогда он свой дом не продавал и что с детьми не случилось ничего плохого. Они ждут его дома и встретят, когда он завершит свой оригинальный заплыв.

Бас. Солнце сменилось холодным ветром с дождем, мускулы пловца ослабели, он уже с трудом — пользуясь лесенкой, такой позор! — вылезает из очередного бассейна. В какой-то момент ему нужно пересечь двухполосное шоссе, и он вынужден долго стоять на обочине в мокрых трусах, а из пролетающих машин его осыпают насмешками, кто-то запускает консервной банкой из-под пива. Потом он оказывается в общественном парке и плывет в бассейне для отдыхающих, натыкаясь на других купальщиков, держа голову над сильно хлорированной водой, подчиняясь грубым командам спасателей на вышках. И, наконец, финал: в холодных сумерках Нед подходит к своему дому и видит, что оборванный ветром желоб повис над окном, ворота гаража заржавели, все двери заперты. Дом темен и пуст. И судорога сострадания сжимает сердце читателя.

Тенор. Рассказ имел огромный успех, Голливуд снял фильм по нему с Бертом Ланкастером в главной роли. В 1964 году вышел роман Чивера "Скандал в семействе Уопшотов", два новых сборника рассказов. Журнал "Тайм" напечатал большую статью о нем, поместил портрет на обложке. Впервые бедность отступила, пришло признание, и семья Чиверов получила возможность путешествовать по свету. Они побывали в Италии и Египте, Японии и Корее, Англии и Испании, отдыхали на Майорке и Кюросао.

Бас. В Советской России у Чивера сложилась репутация критика американского общества, и он трижды побывал там по приглашению Союза писателей, подружился со своей переводчицей, Татьяной Литвиновой. Его гонорары в рублях невозможно было превратить в твердую валюту и увезти из страны. Закупив достаточное число меховых шапок и деревянных матрешек для подарков, он предложил оставшиеся

деньги Литвиновой, чтобы та могла хотя бы купить себе пальто. Но та заявила, что подаренные деньги она потратит на поддержку подпольных публикаций самиздата. Чивер, всеми силами избегавший вмешательства в политику, дарить деньги не стал.

Тенор. Просветы появились и в делах амурных. Жизнерадостная вдова, Сара Спенсер, жившая неподалеку, многие годы, получая "Нью-Йоркер", первым делом искала в нем рассказы Джона Чивера. Познакомившись с ним и узнав, что он чувствует себя ужасно одиноким, потому что жена отправила его спать в другую комнату, она предприняла необходимые шаги, чтобы развеять его одиночество.

Бас. В дневнике появилась запись: "Я пригласил ее в ресторан в Покипси, а потом мы устроили веселую борьбу на ее кушетке... 'Вам бы нужен молодой человек, а не я', — говорю я ей. 'И два, и три, и четыре молодых человека', — отвечает она". Чивер даже сознался ей в своих гомосексуальных порывах. Но разбитная вдова заверила его, что это вздор, что она в жизни не встречала мужчину, умеющего так откликаться на женские ласки. Видимо, импотенция как-то испарилась под гостеприимной крышей миссис Спенсер.

Тенор. В эти же месяцы способность Чивера влюбляться в мужчин тоже была вознаграждена. В писательской колонии Яддо он встретил старого знакомого, композитора Неда Рорена, который к тому времени привлек к себе внимание как автор весьма откровенной книги о геях. В течение недели двое были неразлучны: разъезжали по округе в автомобиле Чивера, устраивали пикники, пили джин из термоса, занимались любовью два-три раза в день и однажды настолько забыли об осторожности, что устроились под столом для пинг-понга. Правда, впоследствии Рорен не без удивления вспоминал, что из всех анатомических даров ему доставался только рот возлюбленного — ничего другого.

Бас. Зато на литературном фронте дела вскоре опять пошли вниз. Завершение романа "Скандал в семействе Уопшотов" сам Чивер так комментировал в своем дневнике: "Когда я дописал его, моим первым инстинктивным порывом было покончить с собой или сжечь рукопись". Пять лет спустя был закончен и опубликован роман "Буллет-Парк". Про это произведение один критик писал, что оно перегружено черным юмором, другой — что в погоне за диковинным и абсурдным автор уже окончательно махнул рукой на правдоподобие. Пока я читал "Буллет-парк", мне несколько раз хотелось снять телефонную трубку, позвонить Чиверу и спросить: зачем вы заставили меня читать первую главу про семейство Хаммеров,

покупающих дом в городке, если потом они исчезают из повествования на сто двадцать страниц? Только я проникся сочувствием к семейству Нейлсов и их заболевшему сыну-подростку, как они провалились в небытие на восемьдесят страниц. И эти восемьдесят страниц будут посвящены воскресшему Хаммеру, разъезжающему по всему свету в поисках какой-то желтой комнаты. Только для того, чтобы на последних двадцати страницах свести оба семейства в нелепом эпизоде: обезумевший Хаммер пытается совершить ритуальное убийство сына Нейлсов путем сожжения его на церковном алтаре. Неужели вам наплевать, верит читатель вашему рассказу или нет?

Тенор. Мне кажется, беда Чивера-романиста и беда Чивера-человека вырастали из одного корня: всякий новый знакомый и всякий выдуманный персонаж *слишком быстро наскучивали ему*. Бесконечное многообразие человеческих чувств и характеров не увлекало его. Живых людей он провоцировал сарказмами и всякими едкими замечаниями, чтобы сделать их интереснее для себя, персонажам приписывал всякие экстравагантные поступки и черты, чтобы заинтересовать читателя.

Бас. Кажется, он воображал, что всем людям свойственны одни и те же желания и все эти желания ему заранее известны: иметь хорошую работу или капитал, хорошее жилье, почетное положение в обществе, любовь жены и детей, успех у женщин, крепкое здоровье, привлекательную внешность. И в этом убеждении он был очень близок тысячам благодарных читателей журнала "Нью-Йоркер".

Тенор. В его произведениях почти нет героев, увлеченных какой-нибудь абстрактной идеей, забывающих себя в благородно-жертвенном порыве или в религиозном экстазе. Попытки жены Мэри принять участие в общественной жизни только раздражают его, порыв дочери ехать в Южные штаты, чтобы принять участие в борьбе за права негров, вызывает град насмешек.

Бас. К писателям, пытавшимся выйти за рамки маленького индивидуального "я", он относится с открытой враждебностью. В какой-то момент пишет эссе "Чего никогда не появится в моем следующем романе", куда включает пародию на Холдена Колфилда. В письме редактору "Нью-Йоркера" называет Сэлинджера "шестисортным". В рассказе "Мир яблок" выводит в пародийном виде Роберта Грейвза, мэтра британской литературы, автора исторического бестселлера "Я, Клавдий" и множества других книг и сборников стихов.

Тенор. В этом рассказе старый поэт Аза Баскомб вот уже сорок лет живет в уединенной вилле в горах Италии (Грейвз жил на Майорке) и снисходительно принимает теку-

щих к нему поклонников. Рисуя внутренний мир поэта, Чивер явно наделяет его всеми слабостями и порочными порывами, присущими ему самому. Баскомб увенчан многими литературными наградами, призами и медалями, но тоскует по Нобелевской премии. Проснувшись ночью, он с ужасом осознает, что не может вспомнить имя Байрона и наутро начинает отчаянно тренировать свою память. Вместо веселых детских стихов из-под его пера вдруг начинает выползать похабщина и порнография. В общественном туалете он любуется идиотским лицом педераста, за деньги предлагающего себя всем желающим. На концерте классической музыки занимает себя тем, что мысленно раздевает певицу. Баскомб мечется: где искать спасения от этого наваждения?

Бас. Только в церкви — туда автор и приводит своего героя. Религия занимала важное место в жизни Чивера. Молитва перед трапезой была обязательным ритуалом в его доме. В 1955 году он прошел обряд конфирмации. В дневнике и письмах друзьям объяснял, что главным импульсом для этого было безмерное чувство благодарности Творцу за дар жизни. В том числе — и благодарности за любовный экстаз. "Прожив много лет как гибрид человека и таракана, я обнаружил недавно, что таракан исчез... В нашем появлении на свет таится любовь, даже если мы были зачаты дряхлой парой в дешевом отеле". В церкви он посещал раннюю службу, потому что в нее не включалась проповедь. Его литературный вкус не позволял ему примириться с тавтологией и грамматическими ошибками, делаемыми проповедником.

Тенор. И все же религия не могла помочь Джону Чиверу в безжалостной войне, которую он вел с собой каждый день. "Нет, сегодня я не прикоснусь к спиртному до самого ланча. Ну, хорошо — дождусь полудня и там позволю себе один стаканчик. Нет-нет, глоток джина, который я сделал, поднимаясь в спальню, не засчитывается". На следующий день первый стаканчик мог прорваться уже за завтраком, а дальше следовали другие. Очень часто необъяснимые вспышки раздражения против домашних происходили оттого, что он искал возможность проскочить мимо них к буфету или в кладовку. Бутылки с джином и виски запасливо прятались в платяном шкафу, в письменном столе, на книжных полках, даже в кустах рядом с автомобильным въездом.

Бас. Попытки обращаться к психиатрам не приносили успеха. "О чем я буду с ними беседовать, если они не читали моих книг? — жаловался Чивер. — Они не читали даже Диккенса, Флобера, Гончарова. Единственное, о чем они хотят говорить, — моя мать. И пытаются убедить меня, что я ненавижу

женщин. Смешно! Знали бы они, какое любовное письмо я получил вчера от Хоуп Ланге!" Под свои частые измены он подводил теоретическую базу. Вина за них лежала не на нем, а на обществе, которое упрямо пыталось сохранять мораль ушедшей в прошлое эпохи. Раньше пожизненный союз мужчины и женщины был необходим для успешного выращивания урожая и воспитания детей. В индустриальную эпоху, когда работа разбрасывает членов семьи порой на недели и месяцы, порой на десятки и сотни миль, соблюдать правила моногамного супружества практически невозможно.

Тенор. Роман Чивера с актрисой Хоуп Ланге тянулся штрих-пунктиром через многие годы. После того как она разошлась со своим мужем, режиссером Эланом Пакулой, они встретились в Нью-Йорке, и это событие было отражено в дневнике Чивера: "Мы содрали одежду друг с друга и славно провели три или четыре часа, перемещаясь с дивана на пол и обратно. Я был не на высоте, но наплевать... Мы имели вдоволь всего: в ход шли пальцы, языки, титьки и попки, объятия до треска костей и серьезные объяснения в любви". Хоуп потом отзывалась о Чивере с теплом, говорила, что это самый горячий мужчина из встреченных ею в жизни. Правда, слишком занятый собой, не очень отзывчивый на нужды партнерши. "Мне он нравился, но жить с ним я бы не могла. В нем слишком много от школьника".

Бас. Вспомним, что в рассказе "Пловец" бывшая возлюбленная тоже говорит герою: "Когда ты повзрослеешь?" Ну, разве мог бы взрослый серьезный мужчина, даже подвыпив, хвастаться своими любовными приключениями перед женой и детьми. "Он мог изменять, мог напиваться в городе, — рассказывала Мэри, — но к обеду всегда исправно возвращался домой". Наблюдательная Сьюзен потом писала, что отец не любил говорить о чувствах — только о фактах, событиях, сценках, поступках. Он был сосредоточен на том, что можно видеть, слышать, обонять, ощущать, мог подробно рассказать, *что* он проделывал с такой-то дамой в таком-то отеле, но не о том, какие эмоции это в нем пробуждало.

Тенор. Устав от измен мужа, Мэри тоже завела роман с женатым чернокожим публицистом и рассказывала о нем своему психиатру. Она стала нарядно одеваться, занималась йогой, аккуратно посещала парикмахерскую, писала стихи, которые впоследствии были опубликованы в сборнике под названием "Нужда в шоколаде". Мало того — она потеплела к собственному мужу и ненадолго вернула ему доступ к своей постели. Тот не мог поверить своему счастью, и это нашло отражение в дневнике: "Я оседлал мою возлюбленную, и мы ум-

чались в счастливое путешествие, какого у меня уже давно не бывало".

Бас. Из рассказа в рассказ у Чивера проходит образ жены, разочарованной в муже, недовольной своей судьбой, обуреваемой странными порывами. Муж же, как правило, видит себя бодрым, внимательным к жене и детям, разумным, немного опечаленным несовершенством мира. Но сын Федерико, слушая разговоры родителей за столом, однажды взял лист бумаги, написал на нем слева "он", справа — "она" и стал рисовать черные галочки под соответствующим местоимением каждый раз, когда один из собеседников наносил другому словесный укол. Через полчаса под "он" скопилось 25 галочек, а под "она" — только три.

Тенор. Жалобы на одиночество — лейтмотив всего творчества Чивера, его дневников и писем. Он активно общался с сотнями людей, но это общение часто нагоняло на него скуку. Похоже, он часто говорил окружающим неприятные вещи только для того, чтобы придать общению остроту, разрушить пресность разговоров о погоде и процентах на закладную. Люди отшатывались от него, и так это и тянулось по кругу: спасаясь от дракона одиночества, он попадал в пещеру дракона скуки, вступал с ним в сражение, побеждал, но при этом снова оказывался один на один с самим собой.

Бас. Смены настроения у отца болезненно били по детям. Сьюзен доставалось за то, что у нее долго не было ухажеров. Потом ухажеры появились, дочь приводила их в дом, но Чивер обращался с ними коварно: приглашал, например, вместе косить луг или пилить поваленное дерево и там, наедине, говорил им что-то такое, что они уходили взбешенными. Старший сын, Бен, тоже приводил в дом своих друзей и подруг, но доставалось и им. В одного начинающего поэта Чивер вдруг запустил стаканом из-под виски. Подругу, пытавшуюся защищать Бена, обозвал шлюхой. Когда Бен женился, молодые долго бедствовали, и сыну часто приходилось просить денег у отца. Чивера возмущали не сами просьбы, а то, что они делались — как он полагал — по требованию жены. ("Не сумел поставить себя в семье!") Младший сын, Фред, уже в тринадцать лет был ростом выше отца и мог отпихнуть его, если тот слишком донимал его попрёками и угрозами.

Тенор. С одной стороны, детям в семье Чиверов с малолетства внушалось, что внешность неважна, а главное — суть, душа человека. С другой — делясь впечатлениями о встреченных людях, отец давал в первую очередь внешние приметы. Женщина была либо "очень привлекательна", либо "выглядела классно", либо была "шикарной блондинкой", либо была

никем. Мужчина был либо "одет с иголочки", либо имел "отличный загар", либо "тюремную бледность", либо "бегающие глаза". "Выглядеть кем-то важно потому, что это отражает внутренние достоинства", — объяснял он окружающим.

Бас. Заповеди достойного поведения, внушавшиеся ему отцом, Чивер старательно передавал своим сыновьям. Первая была: "никогда не делайте женскую работу в доме". Вторая: "никогда, ни в коем случае не занимайтесь мастурбацией; это саморазрушительно, это закроет вам путь к женщине!" Каково же было их удивление, когда после смерти отца из его дневников они узнали, что сам он предавался этому пороку вполне регулярно. Одна из записей: "Во время суходрочки я воображаю, как скоро окажусь между ног Хоуп или в горле у Неда". В другом месте он сознаётся, что ему необходимо два-три оргазма в неделю. А как их получить, если жена так холодна и неприветлива?

Тенор. В 1971 году Чивер вдруг нашел себе странное занятие: стал вести литературный кружок в тюрьме Синг-Синг. Отчасти его вдохновил на это пример Чехова, который вдруг оставил на время сочинение рассказов и отправился в далекое путешествие, чтобы увидеть своими глазами каторгу на острове Сахалин. Чиверу не пришлось покрывать тысячи миль, тюрьма располагалась прямо в Оссининге, но была местом не менее опасным, чем Сибирь с ее морозами и медведями. Как раз в те месяцы взбунтовались заключенные одной из тюрем на севере штата, и администрация Синг-Синга боялась, что огонь бунта перекинется и на их заведение. Заключенные, являвшиеся на занятия в литкружок, говорили Чиверу: "Из тебя получится отличный заложник".

Бас. Большинство обитателей тюрьмы были черными или латино-американцами. Литературных способностей они не проявляли, приходили в основном, чтобы спорить и переругиваться. Но Чивер ощущал странную близость с ними, всегда принимал их сторону в их стычках с надзирателями и администрацией. Сьюзен потом писала в своих воспоминаниях: "Отец отождествлял себя с заключенными. Как и они, он был одновременно виновен и неповинен, как и они — отрезан от общества, отделен от него, но только не решетками и вооруженными охранниками, а чем-то посложнее".

Тенор. С одним из "студентов" по имени Доналд Ланг у Чивера завязались дружеские отношения. Поначалу тот отнесся к преподавателю с недоверием, считал, что он является в тюрьму только для того, чтобы было о чем рассказывать на светских вечеринках. Но постепенно лед таял, и в какой-то момент Ланг сказал Чиверу: "Все же не понимаю, где такой

шибздик, как ты, набирается духу являться в наше разбойничье гнездо".

Бас. Впоследствии Чивер способствовал условно-досрочному освобождению Ланга из тюрьмы, помогал ему найти работу и жилье, даже купил автомобиль. Это из разговоров с Лангом он черпал яркие описания тюремной жизни, которые потом всплывут в романе "Фальконер". На счастье Чивера и его семьи доброта по отношению к закоренелому преступнику не привела к трагическому исходу, как это случилось с Норманом Мейлером десять лет спустя. Мейлер опубликовал свою переписку с сидевшим пожизненно убийцей Генри Эбботом. Книга стала бестселлером, либеральному истеблишменту удалось добиться освобождения заключенного. Выйдя на свободу, тот вращался в литературных кругах, заводил романы, шатался по ресторанам. Но уже через три месяца натура взяла свое, и Эббот ни за что ни про что, на глазах у прохожих, зарезал юношу-официанта.

Тенор. Среди заключенных Чивер чувствовал себя на месте, но попытки преподавать в университетах безотказно приводили к резкому подскоку ежедневных доз алкоголя. Мне кажется, нехватка формального образования делала, при его самолюбии, пребывание в академической среде мучительным. Деньги он тратил безалаберно, роман "Буллет-Парк" успеха не имел, и в начале семидесятых он снова был беден, оттеснен в тень, поэтому согласился вести курс в университете штата Айова. Однако летом 1973-го его сразил первый инфаркт, и преподавательская карьера повисла на волоске.

Бас. В больнице у пациента начались галлюцинации. Ему казалось, что он в российской тюрьме в Москве и что по коридору больницы проезжают не контейнеры с обедом для больных, а тюремные фургоны с арестованными. Он рвался убежать, сдирал с себя провода датчиков и кислородные трубки, так что его пришлось привязать к кровати. Сьюзен принесла газету с хвалебной рецензией на сборник рассказов — он вообразил, что ему подсовывают протокол его признаний в шпионаже для подписи, и швырнул газету на пол.

Тенор. Все же, оправившись от инфаркта, осенью он поехал в Айову и провёл там обещанный курс, а на следующий год поехал преподавать в Бостонский университет. Эпизоды, подобные тому, которым вы начали бы биографический фильм о Чивере, случались там не раз. Все закончилось тем, что Фред Чивер должен был приехать в Бостон, вынести на руках пьяного брата из квартиры и отвезти его домой. Джон Апдайк из дружеских чувств взялся довести студентов, записавшихся на курс Джона Чивера, до конца семестра.

Бас. В апреле 1975 года случилось невероятное: Джон Чивер согласился пройти месячный курс лечения от алкоголизма в нью-йоркской больнице. Он оказался в одной палате с четырьмя другими алкоголиками, каждый из которых имел свою историю жизненного краха: неудачливый вор, разорившийся владелец кафе, безработный матрос, покрытый татуировкой, танцор, уволенный из балетной труппы. Ни пациенты, ни врачи слыхом не слыхали о литературных достижениях Чивера. Соседи по палате издевались над его странной манерой говорить, злились на ироничные смешки, испускаемые им по самым неожиданным поводам. Наблюдавший его врач записала в журнале: "Ему не нравится видеть себя в негативном свете, и он одновременно осмеивает манеры бостонского бомонда и пытается подражать им. Стараюсь уговорить его отказаться от позы фальшивой веселости и стать вровень со своей человеческой природой".

Тенор. Помогла ли работа врачей или в Чивере возродилась столь свойственная ему жажда жизни, но второе чудо произошло: он вышел из больницы излеченным. Ни капли спиртного в течение дня, а вечерами — посещения групп Анонимных алкоголиков, где участники обменивались рассказами о своей судьбе и помогали друг другу сохранять трезвый образ жизни.

Бас. Дочь Сьюзен однажды поехала с отцом на такое собрание и была поражена тем, что там услышала. Впервые в жизни она столкнулась с взрослыми людьми, которые говорили о своих чувствах так, будто они несли ответственность за них, могли их как-то контролировать. В ее кругу это было абсолютно не принято. Если она сердилась на своего возлюбленного за флирт с другой женщиной или впадала в панику, когда он проводил уик-енд с женой и детьми, ей было привычно обвинить в своих страданиях его и только его. Бывшие же алкоголики рассказывали, как они пытаются изменить собственные реакции на происходящее вокруг.

Тенор. Сьюзен заметила, что изменилось и отношение отца к ней и к семье. "Казалось, он впервые стал замечать нас", — пишет она. К жене Чивер старался быть внимательнее и добрее. Однажды, вернувшись домой, та рассказала, что видела в антикварном магазине вазу, которая ей очень понравилась, но показалась слишком дорогой. Чивер немедленно поехал в магазин и купил ей вазу. Вскоре и творческие силы вернулись к нему, и он смог возобновить работу над романом "Фальконер".

Бас. Многие герои рассказов Чивера осуществляют те порывы, которые он сам явно испытывал в душе, но не решался

превратить в действие. В рассказе "Взломщик из Шейди-Хилла" герой, оставшись без работы, по ночам залезает в дома богатых друзей и крадет их бумажники. В рассказе "Просто скажи мне — кто?" ревнивец подходит на перроне к человеку, которого он подозревает в связи со своей женой, и без лишних слов сбивает его с ног ударом кулака. Героиня рассказа "Пять-сорок-восемь" под дулом пистолета заставляет лечь лицом в грязь начальника, который сначала соблазнил ее, а потом уволил. В уже упоминавшемся рассказе "Прощай, брат мой" герой бьет палкой по голове занудного брата. В романе "Фальконер" снова всплывает малоприятный брат. Но теперь палка превращается в кочергу, и брат погибает.

Тенор. Я бы назвал этот роман "раскрепощением Джона Чивера". Впервые он позволил себе ничего не выдумывать, а писать только то, что ему довелось увидеть или испытать самому. Наркомана Фаррагута суд объявляет виновным в убийстве брата и отправляет в тюрьму Фальконер. Тюремный быт описан великолепно благодаря долгому общению с заключенными Синг-Синга. Состояние наркомана, оставшегося "без заправки", с большим знанием дела воссоздано пером бывшего алкоголика. Снова всплывают мучительные отношения с братом, матерью, отцом, звучат обвинения, уже знакомые нам по рассказам и дневникам.

Бас. Опять достается жене героя. В тюрьме Фаррагут вспоминает, как после тяжелого инфаркта он был отправлен домой и взывал к жене, прося проявить хоть немного доброты. "Доброта? — спросила жена. — Что ты сделал когда-нибудь для меня, чтобы заслужить мою доброту? Что я имела от тебя? Пустая и бессмысленная жизнь. Поденщина, пыль, паутина. Автомобиль, который не заводится, и зажигалка, которая не загорается. Клинический алкоголизм и наркомания, переломы рук и ног, сотрясение мозга, а теперь еще и сердечный приступ... Единственный выигрыш для меня от твоего пребывания в больнице: три недели стульчак в туалете оставался сухим..."

Тенор. Любимая тема Чивера — тема одиночества — достигает апогея в тюремной обстановке. Бывшей мимолетной возлюбленной Фаррагут пишет: "Вчера вечером смотрел комедию по телевизору. Там показали, как женщина слегка тронула мужчину за плечо — только слегка, но я потом лежал в кровати и плакал". В середине романа — блистательное описание зарождающейся гомосексуальной любви, многими оттенками напоминающее отношения Чивера с его возлюбленными. Даже чудесное освобождение героя из тюрьмы Чивер не стал выдумывать — взял готовым из "Графа Монте-Кристо"

(беглец прячется в саване умершего соседа, и его выносят на волю).

Бас. Глубокие любовные переживания наполнили жизнь Джона Чивера с момента встречи с аспирантом Университета Айовы, Аланом Гурганусом, в 1973 году. Его письма к Алану полны неподдельной нежности: "Бесценный Алан, как приятно было получить твое письмо и говорить с тобой по телефону. Это не стон отвергнутого любовника, но спокойный и ясный зов. Я так люблю тебя. Мне радостно знать, что ты существуешь, даже там, далеко, на берегах Айовы... Помнишь, я говорил, что всегда хочу оставаться любящим, но необязательно любимым? Это полная чепуха".

Тенор. Гурганус был приветлив и почтителен с Чивером, но на его любовные призывы не откликался. Другое дело — Макс Зиммерман. К моменту встречи с Чивером в Университете Штата Юта (Солт-Лэйк-Сити) он успел покинуть сначала мормонскую церковь, потом — жену, потом — инженерную профессию и целиком отдался литературе. Чивер взялся помогать ему на этом пути, уговорил покинуть Юту и переехать на Восточный берег, устроил ему место в колонии Яддо. Хотя тридцатилетний Макс без большого энтузиазма принимал ласки шестидесятипятилетнего возлюбленного, их роман продолжался до самой смерти Чивера, и в дневниках обоих этим отношениям посвящено много страниц.

Бас. По мере своих сил Чивер помогал карьере своих возлюбленных. Рассказ Гургануса он устроил в "Нью-Йоркер", Зиммера ввел в литературный мир, рекомендовал издателям его произведения. Но сам угрызался порой корыстностью своих усилий. В дневнике писал: "Как жестока, ненатуральна и черна моя любовь к З[иммеру]. Я пожираю его молодость, загоняю в трагическую изоляцию, лишаю собственной жизни. Любовь должна была бы учить, показывать нашему возлюбленному то, что мы знаем об источнике света". Но и Макс тяготился иногда положением, которое он занял в доме Чивера. "Раз он решил, что это нормально для меня находиться рядом с его женой и детьми, я тоже принял это как нормальное положение дел... Наверное, так ведут себя люди на Восточном побережье, думал я. Но сидеть за семейным столом всего лишь час спустя после того как мы занимались наверху любовью, было мучительно тяжело".

Тенор. В середине марта 1977 года вышел номер "Ньюсуика" с портретом Чивера на обложке и с интервью, которое он дал Сьюзен для журнала. Мгновенно продажа романа "Фальконер" подскочила до небес. Первые двадцать пять тысяч экземпляров исчезли из магазинов, и "Кнопфу" при-

шлось срочно допечатать еще восемьдесят тысяч в твердой обложке. Критики состязались в комплиментах. Три недели роман продержался на вершине списка бестселлеров. Последовавшее издание в мягкой обложке разошлось тиражом триста тысяч.

Бас. Чивер не любил возвращаться к старым вещам, предпочитал жить сегодняшним и завтрашним днем. Поэтому издателям пришлось долго уговаривать его на публикацию большого сборника рассказов. Выпущенный в 1978 году семисотстраничный том имел еще больший успех, чем "Фальконер". Последовавшие торжества и почести можно было сравнить с коронацией. Ассоциация критиков объявила сборник лучшей книгой года, в обход таких произведений, как "Мир глазами Гарпа" Джона Ирвинга и "Переворот" Джона Апдайка. Гарвардский университет присвоил Чиверу звание почетного профессора. Издательство "Кнопф" подписало договор на следующий роман, уплатив аванс в пятьсот тысяч долларов.

Тенор. В большом сборнике есть рассказ, который называется "Метаморфозы". Он, мне кажется, таит в себе ключ к пониманию главного приема Чивера-прозаика. Рассказ представляет собой серию маленьких новелл, переносящих античные мифологические сюжеты, собранные Овидием, в XX век. Одна из новелл, например, повествует об успешном сотруднике финансовой фирмы, его жене и детях, его богатом доме, собаках, яхте. У него случается маленькая неприятность на службе: он, не постучавшись, зашел в кабинет начальницы в тот момент, когда она, совершенно обнаженная, обнимала директора фирмы. После этого начинаются странные явления: где бы герой ни натыкался на собак, они начинали рычать и лаять на него. Новелла кончается тем, что собаки загрызли до смерти Ларри Актеона. Здесь фамилия-подсказка помогает читателю вспомнить миф о Диане-Артемиде, которую подкравшийся охотник Актеон увидел купающейся и которая покарала его за это. Но во многих других рассказах фантастично-сказочное так искусно спрятано за ширмой дотошно реалистического, что читатель не замечает момента, когда его вводят в миф, и с доверием проникается его драматической красотой.

Бас. Похожую двойственность, а вернее — многослойность, мы находим и в стилистике Чивера. Ее колдовство заключается в том, что любая фраза, начавшаяся в ключе обыденного, может вдруг — без всякой причины — распуститься поэтическим цветком. В рассказе "Пловец" описывается приближение дождя: "Внезапно начало темнеть; это был тот момент, когда остроголовые птички перестраивают свою песнь в уверенное и щемящее приветствие надвигающемуся штор-

му". Магией рассказчика птицы превращаются в соучастников человеческой драмы, и это переносит повествование из бытового слоя в бытийный, готовит читателя к вторжению *мифа о пловце в никуда*. В другом рассказе для описания ночи в обычном американском поселке вдруг, без всяких объяснений, врываются призраки далекого прошлого: "в такие ночи короли в золотых доспехах пересекают горы на слонах".

Тенор. Чтобы уходить от плоской однозначности, чтобы не быть предсказуемым, Чивер часто вводит интонацию *вопрошания*. И в дневниках, и в художественных произведениях мы на каждой странице наталкиваемся на вопросительные знаки. В том же абзаце, откуда вы взяли цитату о птицах, встречающих шторм, далее следуют вопрошания героя, обращенные неизвестно к кому: почему я люблю грозу? почему простое дело захлопывания дверей и окон наполняет меня радостным возбуждением? откуда берется уверенность в приближающихся счастливых переменах при звуке первых капель дождя?

Бас. Возвращаясь к роману "Фальконер", я бы так определил его суть: это история узника, рвущегося на свободу. Только тюрьма, в которой Чивер ощущал себя заключенным, построена не людьми. Ее стены, балки и решетки выстроены из каких-то глубинных основ человеческого бытия. Большинство людей легко смиряется с этим и спешит устроиться внутри стен с минимумом неудобств. Только не Чивер. Он рвется на волю неразумно, безнадежно, отчаянно. Огромный читательский отклик на роман я готов объяснять тем сочувствием, которое каждый из нас испытывает к попытке смелого беглеца: удастся или нет?

Тенор. В привычных нам категориях реальной жизни мы можем сказать, что попытка не удалась. Ни мировая слава, ни богатство не принесли Чиверу спасения от чувства одиночества, томившего его всю жизнь. Когда он умирал от рака летом 1982 года, жена и дети сменялись у его постели, сотни друзей и читателей справлялись о ходе болезни, десятки газет готовили места для некролога. Но и на смертном одре он не мог удержаться от сарказмов в адрес близких. "Как это умно с твоей стороны, Сузи, предположить, что я просил не просто выключить нагреватель, а также выдернуть штепсель из розетки". И дочь поневоле вспомнила сотни подобных замечаний, начинавшихся с "как это умно с твоей стороны", и сердце ее сжалось от тоски.

Бас. Тем не менее после смерти отца дети делали все возможное, чтобы память о нем не умирала. В 1884 году Сьюзен опубликовала воспоминания под названием "Домой до темно-

ты". В 1988 году под редакцией Бена вышли избранные письма Чивера. Затем дошла очередь и до дневников. Чивер при жизни обсуждал с сыном возможность их издания и был очень рад, что Бен поддержал эту идею.

Тенор. В 1990 году Сьюзен устроила аукцион. Она пригласила видных издателей в свою квартиру, где на столах были разложены все 28 заполненных блокнотов. Приглашенным была дана возможность знакомиться с текстами в течение нескольких часов. Один из них писал впоследствии: "Впечатление от дневников осталось гнетущее. Жизнь Чивера предстала предо мной как шатания между отчаянием, тоской и беспричинной эйфорией, кончавшиеся обычно мастурбацией и бутылкой".

Бас. Но, ко всеобщему изумлению, представитель издательства "Кнопф" предложил купить права на издание за миллион двести тысяч долларов. Сделка совершилась, и книга сначала появилась отрывками в "Нью-Йоркере", а в 1991 году вышла отдельным томом. Скандал был немалый, одни ругали и возмущались, другие хвалили искренность автора и смелость издателей. А были даже такие, которые ставили "Дневники" в один ряд с "Исповедью" Блаженного Августина, Руссо, Толстого.

Тенор. В финале романа "Фальконер" Фаррагут, сбежавший из тюрьмы, встречает в ночном городе человека с чемоданом и горой всяких пожитков у ног. В ожидании автобуса они разговорились, и человек рассказал свою печальную историю. Его выселили из квартиры. Нет, не за неуплату — деньги у него есть. Но хозяйка дома, из тех вечных вдов, которые остаются вдовами, даже если их муж сидит на кухне и пьет пиво, которые ненавидят жизнь в любой ее форме, цвете и запахе, объявила его нарушителем мира и спокойствия. "Меня выселили за то, что во мне есть все, что свойственно человеку, — объяснял новый знакомый. — Я произвожу шум, я иногда кашляю по ночам, иногда насвистываю, занимаюсь йогой. Шум, испускаемый мною, расходится вверх и вниз по лестнице, и за это меня выселили из квартиры". Не спрятан ли в этом персонаже печальный автопортрет Чивера, каким он видел себя? Постоянно "выселяемым", вытесняемым из мира за то, что не умел подавлять в себе общечеловеческое и тем самым превращался в "нарушителя мира и спокойствия"?

Уильям Шекспир
Отрывки из "Комедии ошибок"[1]

(с параллельным английским текстом)

в переводе Марины Бородицкой

От переводчика

Вообще-то "переперевод" — не моя стихия. Я согласилась и осмелилась взяться за шекспировский текст именно потому, что в нашем общем литературном хозяйстве жизнеспособного перевода этой ранней (примерно 1591 года) пьесы просто не нашлось. Приступая к чтению комедии (второпях пролистанной много лет назад в тяжеловесном переводе, с эпитетом "ученическая" в предисловии), я ожидала найти что-то вроде черновика, малокровного зародыша "Двенадцатой ночи". И заранее посмеивалась над громоздкой конструкцией с двумя парами близнецов, эхом Плавтовых "Менехмов" и "Амфитриона"...

Я была посрамлена. Пьеса легла в ладонь, плотная и цельная, как желудь, таящий сразу несколько будущих дубков. "Двенадцатая ночь" — само собой, но отсюда же тянутся и первые побеги "Укрощения строптивой" (это ясно видно из разговора двух сестер), и, может быть, отчасти "Отелло" (лейтмотив ревности), и даже — что было для меня полной неожиданностью — сонетов. Во всяком случае, ни в одной из более поздних пьес Шекспира мне не встречались монологи главных персонажей (именно монологи, не прологи и не песенки), написанные правильными катренами с перекрестной рифмовкой, как написаны, например, упреки Люцианы и от-

© Марина Бородицкая. Перевод, 2012

1. Фрагмент перевода "Комедии ошибок", публикуемого в этом номере, взят из готовящегося к изданию нового Собрания сочинений У. Шекспира. Его по праву можно называть полным — читатели познакомятся и с переводами практически неизвестных сегодня в России произведений, предположительно приписываемых Барду.

Это проект Университетского издательского консорциума, в рамках которого под редакцией Сергея Радлова выйдет пятнадцатитомное собрание, а также отдельные издания лучших русских переводов Шекспира с вновь созданными текстологическими комментариями и построчными примечаниями.

Осуществление шекспировского проекта должно стать заметным событием для современной читательской аудитории страны — талантливый перевод в выверенном историко-культурном контексте всегда дарит классическому произведению второе рождение.

Во впервые публикуемом иллюстративном материале Собрания будет развернута история рецепции шекспировского наследия за прошедшие столетия. (*Прим. ред.*)

ветная любовная тирада Антифола Сиракузского (акт III, сцена 2). А в четвертом акте появляется даже шестистрочная строфа! Вообще, по-моему, одно из очарований пьесы как раз в том, что здесь белый пятистопный ямб еще не властвует безраздельно. Большие куски, чуть не целые сцены, написаны в рифму, причем встречаются и шести-, и семистопные ямбы, и "безразмерные" строчки с рифмой на конце, наподобие раешника...

Журнальный формат не позволяет, конечно, напечатать комедию целиком. Но приведенные фрагменты, надеюсь, все-таки дадут представление об этой живой и обаятельной пьесе молодого Шекспира.

Почти вся первая сцена первого акта состоит из монолога сиракузского купца Эгеона, объясняющего Солину, герцогу Эфесскому, что привело его в Эфес. Двадцать пять лет назад он сам и вся его семья — жена, двое сыновей-близнецов, еще грудных, и двое приемных младенцев, тоже близнецов, предназначавшихся в услужение его детям, — потерпели ужасное кораблекрушение. Они привязались к мачте: на одном конце Эгеон с малышом Антифолом первым (сыновей зовут одинаково) и его будущим слугой Дромио, на другом — жена со вторым сыном и вторым Дромио. Мачта разбилась об утес, людей на двух симметричных обломках спасли разные суда, и они потеряли друг друга из виду. Достигнув восемнадцати лет, Антифол Сиракузский (тот, что остался с отцом) вместе с Дромио отправился на поиски брата и тоже пропал; вот уже несколько лет Эгеон пытается разыскать своих детей...

Однако в Эфесе недавно принят закон, запрещающий сиракузцам высаживаться в здешней гавани (города́ в ссоре). За нарушение закона — смертная казнь или штраф 1000 марок. Герцог сочувствует несчастному отцу и дает ему отсрочку до вечера: вдруг кто-то из местных купцов согласится заплатить за него в казну?

Во второй сцене первого акта в Эфес тайно прибывает Антифол Сиракузский (то есть воспитанный отцом). Тем временем Адриана, жена другого Антифола (который, разумеется, живет в Эфесе), посылает его слугу Дромио в город за мужем, опаздывающим к обеду. Тот, встретив на площади пришлого Антифола, принимает его за своего хозяина, и начинается великая путаница...

Act II

Scene 1

Enter ADRIANA, wife of Antipholus of Ephesus, with LUCIANA, her sister.

ADRIANA
Neither my husband nor the slave returned
That in such haste I sent to seek his master?
Sure, Luciana, it is two o'clock.
LUCIANA
Perhaps some merchant hath invited him,
And from the mart he's somewhere gone to dinner.
Good sister, let us dine, and never fret.
A man is master of his liberty.
Time is their master, and when they see time
They'll go or come. If so, be patient, sister.
ADRIANA
Why should their liberty than ours be more?
LUCIANA
Because their business still lies out o' door.
ADRIANA
Look when I serve him so, he takes it ill.
LUCIANA
O, know he is the bridle of your will.
ADRIANA
There's none but asses will be bridled so.
LUCIANA
Why, headstrong liberty is lashed with woe.
There's nothing situate under heaven's eye
But hath his bound in earth, in sea, in sky.
The beasts, the fishes, and the wingèd fowls
Are their males' subjects and at their controls.
Man, more divine, the master of all these,
Lord of the wide world and wild wat'ry seas,
Indued with intellectual sense and souls,
Of more pre-eminence than fish and fowls,
Are masters to their females, and their lords.
Then let your will attend on their accords.
ADRIANA
This servitude makes you to keep unwed.
LUCIANA
Not this, but troubles of the marriage bed.

Акт II

Сцена 1

Входят Адриана, жена Антифола Эфесского, и Люциана, ее сестра.

Адриана
Уж два часа пробило, Люциана,
А муж мой не вернулся! И слуга,
За ним отправленный, пропал куда-то.
Люциана
Супруг твой мог на рынке повстречать
Других купцов и к ним пойти обедать.
Давай и мы, сестрица, поедим.
И не тревожься так, ведь он мужчина,
А над мужчиной властно только время:
Настанет время — явится и муж.
Адриана
Зачем мужья свободней нас во всём?
Люциана
Их дом — весь мир, наш мир — семья и дом.
Адриана
Сам злится он, коль прихожу я позже!
Люциана
Твоим желаньям он — узда и вожжи.
Адриана
Одним ослицам польза от узды.
Люциана
Где слишком много воли — жди беды.
На Божьем свете, милая сестрица,
Всему предел положен и граница.
У птиц, у рыб, у всякого зверья
Над самочками властвуют мужья.
А человек, сестра, венец природы,
Кому подвластны звери, твердь и воды,
Кому даны душа и разум, — он
Самим Создателем провозглашен
Над женщиной своею господином.
Итак, наш долг — покорствовать мужчинам.
Адриана
Долг, долг... Вот ты и в девушках досель!
Люциана
Меня страшит лишь брачная постель.

ADRIANA
But were you wedded, you would bear some sway.
LUCIANA
Ere I learn love, I'll practise to obey.
ADRIANA
How if your husband start some otherwhere?
LUCIANA
Till he come home again, I would forbear.
ADRIANA
Patience unmoved! No marvel though she pause:
They can be meek that have no other cause.
A wretched soul, bruised with adversity,
We bid be quiet when we hear it cry.
But were we burdened with like weight of pain,
As much or more we should ourselves complain.
So thou, that hast no unkind mate to grieve thee,
With urging helpless patience wouldst relieve me.
But if thou live to see like right bereft,
This fool-begged patience in thee will be left.
LUCIANA
Well, I will marry one day, but to try.
Here comes your man. Now is your husband nigh.

Enter DROMIO OF EPHESUS.

ADRIANA
Say, is your tardy master now at hand?

DROMIO OF EPHESUS. Nay, he's at two hands with me, and that my two ears can witness.
ADRIANA. Say, didst thou speak with him? Know'st thou his mind?
DROMIO OF EPHESUS. I? Ay, he told his mind upon mine ear. Beshrew his hand, I scarce could understand it.
LUCIANA. Spake he so doubtfully thou couldst not feel his meaning?
DROMIO OF EPHESUS. Nay, he struck so plainly I could too well feel his blows, and withal so doubtfully that I could scarce understand them.
ADRIANA
But say, I prithee, is he coming home?
It seems he hath great care to please his wife.
DROMIO OF EPHESUS
Why, mistress, sure my master is horn-mad.
ADRIANA. Horn-mad, thou villain?

Адриана
По крайности, женой почетно зваться.
Люциана
Сперва я научусь повиноваться.
Адриана
А если муж твой загуляет вдруг?
Люциана
Дождусь, пока домой придет супруг.
Адриана
Да ты и замуж не спешишь, сестрица,
Чтоб дольше кротостью своей кичиться.
Коль рядом от обид и неудач
Заплачет кто-то — мы твердим: "Не плачь!",
А приключись такие беды с нами,
Куда бы громче сетовали сами.
Вот так, мужских беспутств еще не знав,
Ты мне твердишь: "Терпи, смиряй свой нрав!" —
Хотя сама подобную обиду
Едва ль стерпела б, не подавши виду.
Люциана
Что ж, выйду замуж — там и поглядим.
Вон твой слуга: не с ним ли господин?

Входит Дромио Эфесский.

Адриана
Ну наконец-то! Где же твой хозяин?
Идет ли за тобою по пятам?
Дромио Эфесский. По пятам — не знаю, а по ушам моим он прошелся на славу.
Адриана. Что он сказал? Куда он направлялся?

Дромио Эфесский. Его кулак направлялся мне прямо в ухо, а что сказал — я не расслышал.
Люциана. Быть может, он говорил обиняками, и ты не сумел разобраться?
Дромио Эфесский. Нет, он лупил обеими руками, а я не успел убраться.

Адриана
Но собирался ль он домой вернуться?
И помнит ли еще, что он женат?
Дромио Эфесский. Да говорю же вам, хозяин рехнулся! Он зол, как черт рогатый.
Адриана. Рогатый? Что ты врешь!

DROMIO OF EPHESUS. I mean not cuckold-mad, but sure he is stark mad.
When I desired him to come home to dinner,
He asked me for a thousand marks in gold.
''Tis dinner-time,' quoth I. 'My gold!' quoth he.
'Your meat doth burn,' quoth I. 'My gold!' quoth he.
'Will you come home?' quoth I. 'My gold!' quoth he;
'Where is the thousand marks I gave thee, villain?'
'The pig,' quoth I, 'is burned.' 'My gold!' quoth he.
'My mistress, sir —' quoth I. 'Hang up thy mistress!
I know thy mistress not. Out on thy mistress!'

LUCIANA
Quoth who?

DROMIO OF EPHESUS
Quoth my master.
'I know,' quoth he, 'no house, no wife, no mistress.'
So that my errand, due unto my tongue,
I thank him, I bore home upon my shoulders;
For, in conclusion, he did beat me there.

ADRIANA
Go back again, thou slave, and fetch him home.

DROMIO OF EPHESUS
Go back again and be new-beaten home?
For God's sake, send some other messenger.

ADRIANA
Back, slave, or I will break thy pate across.

DROMIO OF EPHESUS
And he will bless that cross with other beating,
Between you I shall have a holy head.

ADRIANA
Hence, prating peasant. Fetch thy master home.

She beats Dromio.

DROMIO OF EPHESUS
Am I so round with you as you with me,
That like a football you do spurn me thus?
You spurn me hence, and he will spurn me hither.
If I last in this service, you must case me in leather.

Exit.

LUCIANA
Fie, how impatience loureth in your face!

ADRIANA
His company must do his minions grace,
Whilst I at home starve for a merry look.

Дромио Эфесский. Я не говорю, что у него рога, просто он чертовски зол и вдобавок тронулся умом.

Зову его домой — он у меня
Каких-то денег просит. Тыщу марок!
"Пора обедать", — говорю, а он:
"Где золото?" — я говорю: "Жаркое
Горит", а он — "Где золото мое?"
"Свинина стынет", — говорю, а он:
"Где золото мое? Где тыща марок?"
"Хозяйка, — говорю, — зовет", а он:
"К свиньям хозяйку! Знать ее не знаю!"

Люциана
Кто это говорит?

Дромио Эфесский
Хозяин мой!
Не знаю, мол, ни дома, ни хозяйки.
Вот вам ответ: не на устах гонца
Он прибыл — на ушах и на затылке
И припечатан парочкой пинков.

Адриана
Ступай за ним и приведи домой!

Дромио Эфесский
Чтоб он меня опять прогнал пинками?
Пусть лучше сходит кто-нибудь другой.

Адриана
Ступай, болван, не то получишь взбучку!

Дромио Эфесский
Боюсь, на вашу взбучку у него
Найдется вздрючка. Тут-то мне и крышка.

Адриана
Марш, деревенщина! Бегом, дурак!

Бьет Дромио.

Дромио Эфесский
Дурак я круглый и притом набитый.
С утра меня пинают взад-вперед,
Как мяч футбольный. Скоро вам, похоже,
Меня обшить придется новой кожей.

Уходит.

Люциана
Фу, что за вид! Как ты раздражена!

Адриана
С подружками он занят, а жена
Без ласки дома чахнет одиноко.

Hath homely age th'alluring beauty took
From my poor cheek? Then he hath wasted it.
Are my discourses dull? Barren my wit?
If voluble and sharp discourse be marred,
Unkindness blunts it more than marble hard.
Do their gay vestments his affections bait?
That's not my fault: he's master of my state.
What ruins are in me that can be found
By him not ruined? Then is he the ground
Of my defeatures. My decayèd fair
A sunny look of his would soon repair.
But, too unruly deer, he breaks the pale,
And feeds from home. Poor I am but his stale.

LUCIANA

Self-harming jealousy! Fie, beat it hence.

ADRIANA

Unfeeling fools can with such wrongs dispense.
I know his eye doth homage otherwhere,
Or else what lets it but he would be here?
Sister, you know he promised me a chain.
Would that alone, alas, he would detain,
So he would keep fair quarter with his bed.
I see the jewel best enamellèd
Will lose his beauty; and though gold bides still
That others touch, and often touching will
Wear gold, and so no man that hath a name
By falsehood and corruption doth it shame.
Since that my beauty cannot please his eye,
I'll weep what's left away, and weeping die.

LUCIANA

How many fond fools serve mad jealousy!

Exeunt.

Scene 2

.....

ADRIANA

Ay, ay, Antipholus, look strange and frown:
Some other mistress hath thy sweet aspects.
I am not Adriana, nor thy wife.
The time was once when thou unurged wouldst vow
That never words were music to thine ear,
That never object pleasing in thine eye,
That never touch well welcome to thy hand,

Быть может, подурнела я до срока —
Так то не по вине ли муженька?
Иль речь моя уже не столь бойка?
Но лишь наткнувшись на его немилость,
Она, как меч о мрамор, затупилась.
Одета ль я бедней его подруг?
Но платит и за платье мой супруг.
Не он в ответе ли за все изъяны,
Что сыщутся у бедной Адрианы?
Одна улыбка и приветный взгляд
Вернут красу мне, раны исцелят.
Но рвется он, точь-в-точь олень сквозь вешки,
В соседний лес. А я терплю насмешки.

ЛЮЦИАНА

От ревности твоей — один лишь вред!

АДРИАНА

Лишь тот не ревновал, в ком сердца нет.
Увы! Не мне супруг мой дарит взгляды,
Вдали от дома ищет он услады.
Цепочку, что сулил он мне, поверь,
Я с радостью отвергла бы теперь,
Лишь был бы мне он верен. Ах, сестрица,
Как золото ущерба не боится
От многих сотен рук, и всё же глуп,
Кто часто пробует его на зуб, —
Так собственное имя не порочит,
Кто уберечь его от порчи хочет.
Я ж одного хочу: чтоб ливень слез
И красоту, и жизнь мою унес!

ЛЮЦИАНА (*в сторону*)

Она свихнулась! Ревность — тяжкий воз.

Уходят.

Сцена 2

АДРИАНА

Что ж, Антифол, не признавай меня!
Другой, не мне, дари свое сиянье.
Я не жена твоя, не Адриана.
Не мне ты клялся, что ничьих речей,
Ни взглядов самых нежных, ни касаний,
Ни тонких яств, ни веселящих вин
Твой слух, твой взор, твоя рука и нёбо

That never meat sweet-savored in thy taste,
Unless I spake, or looked, or touched, or carved to thee.
How comes it now, my husband, O how comes it
That thou art thus estrangèd from thyself?
Thy 'self' I call it, being strange to me
That, undividable, incorporate,
Am better than thy dear self's better part.
Ah, do not tear away thyself from me;
For know, my love, as easy mayst thou fall
A drop of water in the breaking gulf,
And take unmingled trence that drop again
Without addition or diminishing,
As take from me thyself, and not me too.
How dearly would it touch me to the quick
Shouldst thou but hear I were licentious,
And that this body, consecrate to thee,
By ruffian lust should be contaminate?
Wouldst thou not spit at me and spurn at me,
And hurl the name of 'husband' in my face,
And tear the stained skin of my harlot brow,
And from my false hand cut the wedding ring,
And break it with a deep-divorcing vow?
I know thou canst, and therefore see thou do it!
I am possessed with an adulterate blot;
My blood is mingled with the crime of lust.
For if we two be one, and thou play false,
I do digest the poison of thy flesh,
Being strumpeted by thy contagion.
Keep then fair league and truce with thy true bed,
I live unstained, thou undishonourèd.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE

Plead you to me, fair dame? I know you not.
In Ephesus I am but two hours old,
As strange unto your town as to your talk,
Who, every word by all my wit being scanned,
Wants wit in all one word to understand.

LUCIANA

Fie, brother, how the world is changed with you!
When were you wont to use my sister thus?
She sent for you by Dromio home to dinner.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE

By Dromio?

DROMIO OF SYRACUSE

By me?

Не жаждут, как моих. О Антифол,
Супруг мой, как же вышло, как случилось,
Что самому себе ты стал чужим?
Да, самому себе, а значит — мне,
Ведь мы одно. Я часть твоя, любимый, —
Быть может, лучшая. Не рви же связь
И прочь не рвись, ведь мы неразделимы.
Знай: легче каплю уронить в поток
И вынуть из него всё ту же каплю —
Без примеси малейшей, без убытка —
Чем от меня, мой свет, тебя отъять
Не вырвав с мясом. Антифол, подумай,
Как глубоко ты был бы уязвлен,
Узнав, что изменила я, что тело,
Которым ты один владел по праву,
Злодейской похотью осквернено.
О, как бы ты плевал в меня, топтал,
Кричал, что я твое бесчещу имя,
На лбу искал бы, обдирая кожу,
Клеймо блудниц, венчальное кольцо
Сорвал и разломал бы в знак развода.
Не правда ль, муж мой? Ну так начинай!
Я совершила прелюбодеянье,
И кровь моя отравлена грехом.
Ведь если мы — одно, и ты порочен,
Твоя мне порча разъедает плоть,
Твоя измена — делает развратной.
Будь честен, наше ложе не срами —
И я чиста пред Богом и людьми!

Антифол Сиракузский

Вы это мне, сударыня? Увы,
Я вас не знаю. Прожил я в Эфесе
Лишь два часа: я здесь еще дитя,
И нравы местные, и ваши речи
Меня, признаться, завели в тупик.

Люциана

Стыдитесь, братец! Что за перемена?
Грех вам глумиться над моей сестрой.
Она послала Дромио сказать вам,
Чтоб шли обедать...

Антифол Сиракузский

Дромио?

Дромио

Меня?

ADRIANA
By thee; and this thou didst return from him –
That he did buffet thee, and in his blows
Denied my house for his, me for his wife.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Did you converse, sir, with this gentlewoman?
What is the course and drift of your compact?
DROMIO OF SYRACUSE
I, sir? I never saw her till this time.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Villain, thou liest! For even her very words
Didst thou deliver to me on the mart.
DROMIO OF SYRACUSE
I never spake with her in all my life.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
How can she thus then call us by our names? –
Unless it be by inspiration.
ADRIANA
How ill agrees it with your gravity
To counterfeit thus grossly with your slave,
Abetting him to thwart me in my mood!
Be it my wrong you are from me exempt,
But wrong not that wrong with a more contempt.
Come, I will fasten on this sleeve of thine.
Thou art an elm, my husband, I a vine,
Whose weakness, married to thy stronger state,
Makes me with thy strength to communicate.
If aught possess thee from me, it is dross,
Usurping ivy, brier, or idle moss,
Who, all for want of pruning, with intrusion
Infect thy sap, and live on thy confusion.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE (*aside*)
To me she speaks; she moves me for her theme.
What, was I married to her in my dream?
Or sleep I now, and think I hear all this?
What error drives our eyes and ears amiss?
Until I know this sure uncertainty,
I'll entertain the offered fallacy.
LUCIANA
Dromio, go bid the servants spread for dinner.
DROMIO OF SYRACUSE (*aside*)
O, for my beads! I cross me for a sinner.
This is the fairy land. O spite of spites,
We talk with goblins, owls and elves and sprites.

Адриана
Тебя! и ты вернулся в синяках
И доложил, что муж мой знать не хочет
Ни дома своего и ни жены.
Антифол Сиракузский
Ты говорил сегодня с этой дамой?
Что за маневры за моей спиной?
Дромио Сиракузский
Я — с ней? Да я ее впервые вижу!
Антифол Сиракузский
Врешь! Ты мне повторял ее слова:
Твердил, что дома ждут меня к обеду.
Дромио Сиракузский
Я в жизни, сударь, с ней не говорил.
Антифол Сиракузский
Но ей известны наши имена,
Что это — чары? Или дар наитья?
Адриана
Еще уловка! Подучить раба,
Чтоб он в лицо мне дерзко прекословил.
Как это непохоже на тебя!
Пусть я виновна — возражать не стану,
Но мне твое презренье — соль на рану.
Подай же руку мне, взгляни в глаза,
Ты — твёрдый ствол, я слабая лоза:
Я льну и обвиваюсь — ты же, милый,
Меня своей напитываешь силой.
Что встать могло меж нами? Сорняки:
Лишайник, плющ, ползучие вьюнки,
Что сок древесный пьют, — их вырвать надо,
Чтоб в кровь тебе не подмешали яда.
Антифол Сиракузский (*в сторону*)
Как горяча мольба ее ко мне!
Быть может, с ней венчался я во сне?
Иль эта встреча — только сновиденье?
Кто наши чувства вводит в заблужденье?
Пойду за ней, приняв покорный вид,
Покуда время всё не разъяснит.
Люциана
Эй, Дромио, скажи, чтоб стол накрыли!
Дромио Сиракузский (*в сторону*)
Свят-свят... Спаси Господь! К нечистой силе
Попали мы, в край гоблинов и фей,
Где духи прячутся среди ветвей.

If we obey them not, this will ensue:
They'll suck our breath or pinch us black and blue.

LUCIANA

Why prat'st thou to thyself, and answer'st not?
Dromio, thou Dromio, thou snail, thou slug, thou sot.

DROMIO OF SYRACUSE

I am transformèd, master, am I not?

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE

I think thou art in mind, and so am I.

DROMIO OF SYRACUSE

Nay, master, both in mind and in my shape.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE

Thou hast thine own form.

DROMIO OF SYRACUSE

No, I am an ape.

LUCIANA

If thou art changed to aught, 'tis to an ass.

DROMIO OF SYRACUSE

'Tis true: she rides me and I long for grass.
'Tis so, I am an ass; else it could never be
But I should know her as well as she knows me.

ADRIANA

Come, come, no longer will I be a fool,
To put the finger in the eye and weep
Whilst man and master laugh my woes to scorn.
(*To Antopholus.*)
Come, sir, to dinner. — Dromio, keep the gate. —
Husband, I'll dine above with you today
And shrive you of a thousand idle pranks. —

(*To Dromio.*)
Sirrah, if any ask you for your master,
Say he dines forth, and let no creature enter. —
Come, sister. — Dromio, play the porter well.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE (*aside*)

Am I in earth, in heaven, or in hell?
Sleeping or waking? Mad or well advised?
Known unto these, and to myself disguised?
I'll say as they say, and persever so,
And in this mist at all adventures go.

DROMIO OF SYRACUSE

Master, shall I be porter at the gate?

ADRIANA

Ay, and let none enter, lest I break your pate.

Их не послушаешь — так эти черти
Задушат и защиплют нас до смерти.

ЛЮЦИАНА

Что ты бормочешь, Дромио? Вперед,
Улитка, черепаха, сонный кот!

ДРОМИО СИРАКУЗСКИЙ

Я претерпел как будто превращенье.

АНТИФОЛ СИРАКУЗСКИЙ

И у меня такое ощущенье.

ДРОМИО СИРАКУЗСКИЙ

Мне, чувствую, и облик новый дан.

АНТИФОЛ СИРАКУЗСКИЙ

Всё тот же с виду ты.

ДРОМИО СИРАКУЗСКИЙ

Нет, я баран.

ЛЮЦИАНА

Скорей уж ты осёл.

ДРОМИО СИРАКУЗСКИЙ

Осёдлан ею,
Бегу и травки пощипать не смею.
Но я знаком ей, а она мне — нет:
Не будь ослом я, знал бы, в чем секрет.

АДРИАНА

Что до меня, я буду впредь умнее
И проливать не стану горьких слез
Слуге и господину на потеху.
(*Антифолу.*)
Идем, супруг мой. — Дромио, куда?
У входа стой! — Любовь моя, обедать
Мы будем наверху, с тобой вдвоем,
И все твои грехи там отпущу я.
(*К Дромио.*)
Кто спросит господина — отвечай:
Мол, нету дома, и пускать не вздумай.
— Идем, сестра. — Гляди же в оба, страж!

АНТИФОЛ СИРАКУЗСКИЙ (*в сторону*)

Где я — в раю, в аду? Что за мираж?
Я спятил? Иль меня околдовали?
Им я знаком, а сам себе — едва ли.
Но притворюсь и стану вторить им,
Что б ни было, а дальше — поглядим.

ДРОМИО

В привратника мне, сударь, превратиться?

АДРИАНА

И чтоб ни шагу от дверей, тупица!

LUCIANA
Come, come, Antipholus, we dine too late.

Exeunt.

Act III

Scene 2

Enter LUCIANA with ANTIPHOLUS OF SYRACUSE.

LUCIANA
And may it be that you have quite forgot
A husband's office? Shall, Antipholus,
Even in the spring of love thy love-springs rot?
Shall love, in building, grow so ruinous?
If you did wed my sister for her wealth,
Then for her wealth's sake use her with more kindness;
Or if you like elsewhere, do it by stealth:
Muffle your false love with some show of blindness.
Let not my sister read it in your eye.
Be not thy tongue thy own shame's orator.
Look sweet, be fair, become disloyalty;
Apparel vice like virtue's harbinger.
Bear a fair presence, though your heart be tainted:
Teach sin the carriage of a holy saint.
Be secret-false. What need she be acquainted?
What simple thief brags of his own attaint?
'Tis double wrong to truant with your bed,
And let her read it in thy looks at board
Shame hath a bastard fame, well managèd;
Ill deeds are doubled with an evil word.
Alas, poor women, make us but believe –
Being compact of credit – that you love us.
Though others have the arm, show us the sleeve.
We in your motion turn, and you may move us.
Then, gentle brother, get you in again.
Comfort my sister, cheer her, call her wife:
'Tis holy sport to be a little vain
When the sweet breath of flattery conquers strife.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Sweet mistress – what your name is else I know not,
Nor by what wonder you do hit of mine –
Less in your knowledge and your grace you show not
Than our earth's wonder, more than earth divine.

Люциана
Идемте, братец, время подкрепиться.

Уходят.

Акт III

Сцена 2

Входят Люциана и Антифол Сиракузский.

Люциана
Как вы могли так скоро, Антифол,
О долге мужа позабыть? Кто любит,
Тот не разрушит дом, что сам возвел,
Росток едва взошедший не погубит.
Коль из-за денег взяли вы сестру —
Ее лелейте о деньгах радея,
Когда же вам другая по нутру —
Извольте превратиться в лицедея.
Пусть вас ни жест не выдаст, ни язык,
Ни взгляд, греха недавнего свидетель, —
Чаруйте, льстите, лгите каждый миг,
Пускай порок рядится в добродетель.
Пребудьте праведным в глазах жены,
Двуличье пусть войдет у вас в обычай.
Зачем ей знать, что вы ей неверны?
Ведь вор своей не хвалится добычей.
Предать супружеское ложе — стыд,
Но худший стыд — признать свою измену:
Ведь тайный грех молва еще простит,
За явный же двойную спросит цену.
Мы, жены, в ваши нежные слова
Поверить рады. Только протяните —
Не руку, нет, лишь кончик рукава —
И вновь мы в вашей кружимся орбите.
Ступайте же к супруге, милый брат,
Ее утешьте, осушите слезы,
Ведь ласка, да и лесть не повредят,
Когда в дому разбушевались грозы.

Антифол Сиракузский
Не знаю, кто ты, госпожа, откуда
Меня ты знаешь — вижу лишь одно:
Мне ум твой и душа явили чудо,
Что мирозданью целому равно.

Teach me, dear creature, how to think and speak.
Lay open to my earthy gross conceit,
Smothered in errors, feeble, shallow, weak,
The folded meaning of your words' deceit.
Against my soul's pure truth why labour you
To make it wander in an unknown field?
Are you a god? Would you create me new?
Transform me, then, and to your power I'll yield.
But if that I am I, then well I know
Your weeping sister is no wife of mine,
Nor to her bed no homage do I owe.
Far more, far more, to you do I decline.
O, train me not, sweet mermaid, with thy note
To drown me in thy sister's flood of tears.
Sing, siren, for thyself and I will dote.
Spread o'er the silver waves thy golden hairs,
And as a bed I'll take them, and there lie,
And in that glorious supposition think
He gains by death that hath such means to die.
Let love, being light, be drownèd if she sink.

LUCIANA
What, are you mad, that you do reason so?

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Not mad, but mated — how, I do not know.

LUCIANA
It is a fault that springeth from your eye.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
For gazing on your beams, fair sun, being by.

LUCIANA
Gaze where you should, and that will clear your sight.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
As good to wink, sweet love, as look on night.

LUCIANA
Why call you me 'love'? Call my sister so.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Thy sister's sister.

LUCIANA
That's my sister.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
No,
It is thyself, mine own self's better part,
Mine eye's clear eye, my dear heart's dearer heart,
My food, my fortune and my sweet hope's aim,
My sole earth's heaven, and my heaven's claim.

LUCIANA
All this my sister is, or else should be.

О научи меня! хочу постичь я
Твоих речей таинственный язык,
Чтоб разум мой, стряхнув косноязычье,
В их неземную суть смиренно вник.
Но ты в туман и сумрак заблужденья
Мое ввергаешь сердце — для чего?
Я твой, и претерпеть перерожденье
Готов, коль ты и вправду божество.
Но если я — пока что я, то значит,
Твоя сестра мне вовсе не жена,
Не от моих измен бедняжка плачет,
И не она, другая мне нужна.
Не пой, моя прекрасная сирена,
Мне о сестре с ее потоком слёз.
Спой о себе — и я замру блаженно,
Рассыпь по морю золото волос —
Я приплыву, чтоб стали мне постелью,
Забуду всё, качаясь на волне,
И если встанет смерть над колыбелью —
О, как мне сладко будет в глубине!

Люциана
Вы, верно, спятили? Вот это мило!

Антифол Сиракузский
Меня как будто громом поразило.

Люциана
Вас подвели глаза, любезный брат.

Антифол Сиракузский
О да — твои лучи меня слепят.

Люциана
Вы не туда смотрели, вот в чем штука.

Антифол Сиракузский
Мой свет, глазеть во тьму — сплошная мука.

Люциана
Сестре, не мне вы скажете "мой свет".

Антифол Сиракузский
Сестре сестры.

Люциана
Моей сестре.

Антифол Сиракузский
О нет!
Ты — часть меня, не знавшая порока,
Душа моей души, зеница ока,
Ты жизнь моя, удача, рай земной
И свет небес, разлитый надо мной.

Люциана
Всем этим быть для вас должна сестрица.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Call thyself 'sister', sweet, for I aim thee.
Thee will I love, and with thee lead my life.
Thou hast no husband yet, nor I no wife.
Give me thy hand.
LUCIANA
O, soft, sir, hold you still;
I'll fetch my sister, to get her good will.

Exit.

Enter DROMIO OF SYRACUSE.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Why, how now, Dromio! Where runn'st thou so fast?
DROMIO OF SYRACUSE. Do you know me, sir? Am I Dromio? Am I your man? Am I myself?
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Thou art Dromio, thou art my man, thou art thyself.
DROMIO OF SYRACUSE. I am an ass, I am a woman's man, and besides myself.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. What woman's man? And how besides thyself?
DROMIO OF SYRACUSE. Marry, sir, besides myself I am due to a woman: one that claims me, one that haunts me, one that will have me.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. What claim lays she to thee?

DROMIO OF SYRACUSE. Marry sir, such claim as you would lay to your horse; and she would have me as a beast – not that, I being a beast, she would have me, but that she, being a very beastly creature, lays claim to me.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. What is she?
DROMIO OF SYRACUSE. A very reverent body; ay, such a one as a man may not speak of without he say 'sir-reverence.' I have but lean luck in the match, and yet is she a wondrous fat marriage.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. How dost thou mean a 'fat marriage?'
DROMIO OF SYRACUSE. Marry, sir, she's the kitchen wench and all grease; and I know not what use to put her to but to make a lamp of her and run from her by her own light. I warrant her rags and the tallow in them will burn a Poland winter. If she lives till doomsday, she'll burn a week longer than the whole world.

Антифол Сиракузский
Так будь сестрицей — ведь с тобой сродниться
И вместе жизнь прожить я буду рад.
Нет мужа у тебя, я не женат —
Дай руку мне!
Люциана
Сначала за сестрою
Схожу — и ваши планы ей открою.

Уходит.

Вбегает Дромио Сиракузский.

Антифол Сиракузский. Эй, Дромио, как дела? Куда бежишь?
Дромио Сиракузский. Вы меня знаете, сударь? Я Дромио? Я ваш слуга? Я — это я?
Антифол Сиракузский. Ты Дромио, ты мой слуга, ты — это ты.
Дромио Сиракузский. Я осёл, я на побегушках у бабы, и я сам не свой.
Антифол Сиракузский. У какой еще бабы? И почему ты сам не свой?
Дромио Сиракузский. Да потому, что я, оказывается, принадлежу этой женщине. Так она говорит — и бегает за мной, просто проходу не дает!
Антифол Сиракузский. Но по какому праву ты ей принадлежишь?
Дромио Сиракузский. А по какому праву вам принадлежит ваша лошадь? Она, сударь, владеет мной на правах скотины. То есть это не я скотина, а она ведет себя по-скотски.

Антифол Сиракузский. Да кто она такая?
Дромио Сиракузский. Одна беспардонная особа. То есть без пардона ее не опишешь: придется вставлять "пардон" через каждое слово. Скажу не вдаваясь в тонкости, что союз у нас получится толстый. Точнее, жирный.
Антифол Сиракузский. Как это понять — жирный союз?

Дромио Сиракузский. Она, сударь, прислуживает в кухне и насквозь пропиталась жиром да маслом. Прямо и не знаю, на что бы ее можно употребить, разве только сделать масляную лампу, зажечь, чтоб освещала дорогу, да и удрать от нее подальше. Ручаюсь, ее туша и тряпье горели бы долго: как зима в Польше и даже дольше. Они догорели бы через неделю после конца света.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. What complexion is she of?
DROMIO OF SYRACUSE. Swart like my shoe, but her face nothing half so clean kept. For why? She sweats a man may go overshoes in the grime of it.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. That's a fault that water will mend.
DROMIO OF SYRACUSE. No, sir, 'tis in grain. Noah's flood could not do it.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. What's her name?
DROMIO OF SYRACUSE Nell, sir. But her name and three-quarters – that's an ell and three-quarters – will not measure her from hip to hip.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Then she bears some breadth?
DROMIO OF SYRACUSE. No longer from head to foot than from hip to hip. She is spherical, like a globe. I could find out countries in her.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. In what part of her body stands Ireland?
DROMIO OF SYRACUSE. Marry, sir, in her buttocks. I found it out by the bogs.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Where Scotland?
DROMIO OF SYRACUSE. I found it by the barrenness, hard in the palm of her hand.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Where France?
DROMIO OF SYRACUSE In her forehead, armed and reverted, making war against her heir.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Where England?
DROMIO OF SYRACUSE. I looked for the chalky cliffs, but I could find no whiteness in them. But I guess it stood in her chin, by the salt rheum that ran between France and it.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Where Spain?
DROMIO OF SYRACUSE. Faith, I saw it not, but I felt it hot in her breath.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Where America, the Indies?
DROMIO OF SYRACUSE. Oh, sir, upon her nose all o'er embellished with rubies, carbuncles, sapphires, declining their rich aspect to the hot breath of Spain, who sent whole armadoes of caracks to be ballast at her nose.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Where stood Belgia, the Netherlands?
DROMIO OF SYRACUSE. Oh, sir, I did not look so low. To conclude, this drudge or diviner, laid claim to me, called me Dromio, swore I was assured to her, told me what privy marks I had about me – as the mark of my shoulder, the mole in my

Антифол Сиракузский. А каков у ней цвет лица?
Дромио Сиракузский. Она черна, как мой башмак, только куда грязнее. И так потеет, что можно башмаки промочить, стоя с ней рядом.
Антифол Сиракузский. Ну, грязь-то можно смыть водой.
Дромио Сиракузский. Только не эту. Она так въелась, что и всемирного потопа не хватит.
Антифол Сиракузский. А зовут ее как?
Дромио Сиракузский. Люси, сударь. А надо бы Злюси. Или Круглюси: у ней в бедрах футов шесть, не меньше.

Антифол Сиракузский. А, так она широкая натура.
Дромио Сиракузский. У ней что ширина, что вышина — всё один черт. Она шарообразна, как глобус. Я бы мог отыскать на ней разные страны.
Антифол Сиракузский. И в какой же части тела у нее будет Ирландия?
Дромио Сиракузский. Конечно, в ягодицах, сэр. Там такая трясина!
Антифол Сиракузский. А Шотландия?
Дромио Сиракузский. На ладони, сэр. Этакая шершавая мозолистая пустошь.
Антифол Сиракузский. А Франция?
Дромио Сиракузский. На лбу, сэр: там, где волосы трусливо отступают.
Антифол Сиракузский. А как насчет Англии?
Дромио Сиракузский. Я искал у нее во рту меловые скалы и не нашел там никакой белизны. Но со лба, то бишь от Франции, вниз катятся соленые волны, стало быть, Англия — это подбородок.
Антифол Сиракузский. А Испания?
Дромио Сиракузский. Это ее дыхание. Вроде и не видать, а горячо и пованивает.
Антифол Сиракузский. А где Америка с Индиями?
Дромио Сиракузский. Ясное дело, на носу. Там целая россыпь рубинов, сапфиров и всяческих карбункулов. А испанцам только дай всё это подобрать и погрузить на свои галеоны.
Антифол Сиракузский. Ну а Бельгия, Нидерланды?

Дромио Сиракузский. Ох, сэр, в самый низ я не спускался. Ведь эта чертова прислужница на меня набросилась, назвала своим Дромио, побожилась, что мы с ней обручены, припомнила все знаки у меня на теле: родинку на спине, от-

neck, the great wart on my left arm – that I, amazed, ran from her as a witch.

And I think if my breast had not been made of faith, and my heart of steel,
She had transformed me to a curtal dog, and made me turn i'th' wheel.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE

Go, hie thee presently. Post to the road.
An if the wind blow any way from shore,
I will not harbour in this town tonight.
If any bark put forth, come to the mart,
Where I will walk till thou return to me.
If every one knows us and we know none,
'Tis time, I think, to trudge, pack, and be gone.

DROMIO OF SYRACUSE

As from a bear a man would run for life,
So fly I from her that would be my wife.

Exit.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE

There's none but witches do inhabit here,
And therefore 'tis high time that I were hence.
She that doth call me husband, even my soul
Doth for a wife abhor. But her fair sister,
Possessed with such a gentle, sovereign grace,
Of such enchanting presence and discourse,
Hath almost made me traitor to myself.
But lest myself be guilty to self-wrong,
I'll stop mine ears against the mermaid's song

Enter ANGELO with the chain.

ANGELO

Master Antipholus.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE

Ay, that's my name.

ANGELO

I know it well, sir. Lo, here is the chain.
I thought to have ta'en you at the Porcupine.
The chain unfinished made me stay thus long.

метинку на шее, бородавку на левом плече... Тут я сообразил, что она ведьма, вырвался и дал дёру.

Не будь я в вере тверд как сталь и крепок как скала,
Вращать бы мне в обличье пса на кухне вертела!

Антифол Сиракузский

Довольно мешкать. Отправляйся в порт!
Пусть только ветер нам отплыть позволит —
Здесь на ночь не останусь я. Узнай,
Не снаряжается ль какое судно,
А я тебя на рынке подожду.
Мы им знакомы, их не знавши сроду?
Пора сниматься с якоря — и ходу!

Дромио Сиракузский

От той, что выбрала меня в мужья,
Готов как от медведя драпать я.

Убегает.

Антифол Сиракузский

Здесь обитают ведьмы и колдуньи.
Прочь, прочь отсюда! Та, что назвалась
Моей женой, в меня вселяет ужас.
Зато ее прекрасная сестра
Столь хороша, мудра, великодушна,
И кроткий вид, и звук ее речей
Столь были сладостны, что я, признаться,
Чуть не пропал. Но впредь не сдамся в плен
И слух замкну для пения сирен.

Входит Анджело, у него в руках золотая цепочка.

Анджело

Любезный Антифол!

Антифол Сиракузский

Да, это я.

Анджело

Конечно, вы. Вот ожерелье ваше:
Пришлось доделать — верно, потому
Меня не дождались вы в "Дикобразе"[1].

1. Так называется дом, где живет куртизанка; дом Антифола Эфесского зовется "Феникс", а гостиница, где остановился Антифол Сиракузский, — "Кентавр".

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE (*taking the chain*)
What is your will that I shall do with this?
ANGELO
What please yourself, sir. I have made it for you.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Made it for me, sir? I bespoke it not.
ANGELO
Not once, nor twice, but twenty times you have.
Go home with it and please your wife withal,
And soon at supper-time I'll visit you,
And then receive my money for the chain.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
I pray you, sir, receive the money now,
For fear you ne'er see chain nor money more.
ANGELO
You are a merry man, sir. Fare you well.

Exit.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
What I should think of this I cannot tell.
But this I think: there's no man is so vain
That would refuse so fair an offered chain.
I see a man here needs not live by shifts,
When in the streets he meets such golden gifts.
I'll to the mart, and there for Dromio stay.
If any ship put out, then straight away!

Exit.

Act IV

Scene 3

Enter ANTIPHOLUS OF SYRACUSE, wearing the chain.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
There's not a man I meet but doth salute me
As if I were their well-acquainted friend,
And every one doth call me by my name.
Some tender money to me, some invite me,
Some other give me thanks for kindnesses.
Some offer me commodities to buy;
Even now a tailor called me in his shop,
And showed me silks that he had bought for me,
And therewithal took measure of my body.

Антифол Сиракузский (*берет цепочку*)
И как мне с этой вещью поступить?
Анджело
Как вам угодно. Ваш заказ исполнен.
Антифол Сиракузский
Но разве я вам это заказал?
Анджело
И повторили раз, наверно, двадцать.
Ступайте же, порадуйте жену,
А перед ужином я навещу вас
И деньги за работу получу.
Антифол Сиракузский
Вам лучше бы их получить теперь же:
А вдруг и вещь, и деньги пропадут?
Анджело
Да вы шутник! Так я зайду попозже.

Уходит.

Антифол Сиракузский
Загадки не кончаются, похоже.
Однако лишь глупец иль сумасброд
Таким сокровищем пренебрежет.
Вот город! Здесь прохожим в подношенье
Вручают золотые украшенья.
Пойду на рынок, подожду слугу —
Авось до ночи и уплыть смогу.

Уходит.

Акт IV

Сцена 3

Входит Антифол Сиракузский с цепочкой на шее.

Антифол Сиракузский
Кого я здесь ни встречу — все меня
Приветствуют как доброго знакомца
И всякий знает, как меня зовут.
Сулят мне деньги, зазывают в гости,
Иной благодарит за доброту,
А тот свои товары предлагает.
Сейчас меня завел к себе портной
Взглянуть на шелк, что для меня купил он,
И мерку снять... Но это всё игра

Sure, these are but imaginary wiles,
And Lapland sorcerers inhabit here.

Enter DROMIO OF SYRACUSE with the money.

DROMIO OF SYRACUSE. Master, here's the gold you sent me for. What, have you got the picture of old Adam new-apparelled?

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
What gold is this? What Adam dost thou mean?

DROMIO OF SYRACUSE. Not that Adam that kept the Paradise, but that Adam that keeps the prison – he that goes in the calf's skin that was killed for the Prodigal; he that came behind you, sir, like an evil angel, and bid you forsake your liberty.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. I understand thee not.

DROMIO OF SYRACUSE. No? Why, 'tis a plain case: he that went like a bass viol in a case of leather; the man, sir, that, when gentlemen are tired, gives them a sob and 'rests them; he, sir, that takes pity on decayed men and gives them suits of durance; he that sets up his rest to do more exploits with his mace than a Moorish pike.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. What, thou mean'st an officer?

DROMIO OF SYRACUSE Ay, sir, the sergeant of the band: he that brings any man to answer it that breaks his bond; one that thinks a man always going to bed, and says 'God give you good rest'.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Well, sir, there rest in your foolery. Is there any ship puts forth tonight? May we be done?

DROMIO OF SYRACUSE. Why, sir, I brought you word an hour since that the bark *Expedition* puts forth tonight, and then were you hindered by the sergeant to tarry for the hoy *Delay*. Here are the angels that you sent for to deliver you. (*Gives him the money.*)

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
The fellow is distract, and so am I,
And here we wander in illusions.
Some blessèd power deliver us from hence.

Enter a COURTESAN.

COURTESAN
Well met, well met, Master Antipholus.
I see, sir, you have found the goldsmith now.
Is that the chain you promised me today?

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Satan, avoid! I charge thee, tempt me not!

DROMIO OF SYRACUSE. Master, is this Mistress Satan?

Воображенья! Тут кругом, должно быть,
Полным-полно лапландских колдунов.

Входит Дромио Сиракузский с мешочком.

Дромио Сиракузский. Вот, сударь, золото, за которым вы посылали. Что, удалось избавиться от новоявленного Адама?

Антифол Сиракузский

Какое золото? Какой Адам?

Дромио Сиракузский. Уж конечно, не старожил рая, а тот, что сторожил врата тюрьмы. Тот, что одет в шкуру убитого тельца, тот, что шел за вами по пятам, как карающий ангел, и грозился лишить вас свободы.

Антифол Сиракузский. О чем ты говоришь? Не понимаю.

Дромио Сиракузский. Да о том, сударь, кто ходит в кожаном чехле, словно контрабас; о том, кто предлагает усталым джентльменам присесть в надежном за́мке, что всегда на замке́, и надолго пробуждает в них чувство долга. О том, чей тупой жезл выигрывает больше сражений, чем самое острое копье.

Антифол Сиракузский. Так это пристав?

Дромио Сиракузский. Так точно, сэр! Стоит вам задолжать или просрочить платеж, тут его к вам и приставят. Он проводит вас к надежной *пристани* и покажет, где и надолго ли *пристать*.

Антифол Сиракузский. Кстати о пристани, ты разузнал насчет корабля? Можем мы отплыть нынче вечером?

Дромио Сиракузский. Да я вам час назад еще докладывал: отходит, мол, барк из Эпидамна, и название подходящее — "Быстрый". Только вас перехватила стража и погрузила на посудину по имени "Заминка". Вот ваши ангелы-избавители: я вам их принес, как просили. *(Передает ему кошель).*

Антифол Сиракузский

Свихнулся малый. Впрочем, как и я.
Нас призраки морочат, не иначе.
Приди, спасенье! Кто-нибудь, услышь!

Входит куртизанка.

Куртизанка

Любезный Антифол, какая встреча!
Ведь вы от ювелира? Эта цепь —
Та самая, что мне вы обещали?

Антифол Сиракузский

Прочь от меня! Изыди, Сатана!

Дромио Сиракузский. Это что, сударь — мадам Сатана?

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. It is the devil.
DROMIO OF SYRACUSE. Nay, she is worse, she is the devil's dam; and here she comes in the habit of a light wench. And thereof comes that the wenches say 'God damn me — 'that's as much to say 'God make me a light wench'. It is written, they appear to men like angels of light. Light is an effect of fire, and fire will burn. Ergo, light wenches will burn. Come not near her.

COURTESAN
Your man and you are marvellous merry, sir.
Will you go with me? We'll mend our dinner here.
DROMIO OF SYRACUSE. Master, if you do, expect spoon-meat, and bespeak a long spoon.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. Why, Dromio?
DROMIO OF SYRACUSE. Marry, he must have a long spoon that must eat with the devil.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE (*to Courtesan*)
Avoid thou, fiend! What tell'st thou me of supping?
Thou art, as you are all, a sorceress.
I conjure thee to leave me and be gone.
COURTESAN
Give me the ring of mine you had at dinner,
Or for my diamond the chain you promised,
And I'll be gone, sir, and not trouble you.
DROMIO OF SYRACUSE. Some devils ask but the parings of one's nail, rush, a hair, a drop of blood, a pin, a nut, a cherry-stone; but she, more covetous, would have a chain. Master, be wise; an if you give it her, the devil will shake her chain and fright us with it.
COURTESAN (*to Antipholus*)
I pray you, sir, my ring, or else the chain.
I hope you do not mean to cheat me so?
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Avaunt, thou witch! — Come, Dromio, let us go.
DROMIO OF SYRACUSE (*to Courtesan*)
'Fly pride,' says the peacock. Mistress, that you know.

Exeunt ANTIPHOLUS OF SYRACUSE and DROMIO OF SYRACUSE.

COURTESAN
Now, out of doubt, Antipholus is mad;
Else would he never so demean himself.
A ring he hath of mine worth forty ducats,
And for the same he promised me a chain.
Both one and other he denies me now.

Антифол Сиракузский. Да это сам дьявол.
Дромио Сиракузский. Нет, хуже: это его бабушка явилась нам в облике девицы легкого поведения. Кого посылают к чертовой бабушке, тот, стало быть, с ней и улетит. У них, у девиц-то этих, поведение до того легкое — ветер их так и носит туда-сюда. Ну а где ветер, там и огонь, вот они и горят адским пламенем. Держитесь от нее подальше, сударь, не то обожжетесь.
Куртизанка
Вы оба, сэр, большие шутники.
Идемте в дом, там мы обед закончим.
Дромио Сиракузский. Смотрите, хозяин, заварит она вам кашу. Вы хоть ложку-то возьмите подлинней.
Антифол Сиракузский. Зачем, Дромио?
Дромио Сиракузский. Легче будет расхлебывать.

Антифол Сиракузский (*куртизанке*)
С тобой — обедать? Я сказал, изыди!
Колдунья ты, вы все здесь колдуны.
Сгинь, пропади, тебя я заклинаю!
Куртизанка
Верните мне кольцо мое с алмазом
Иль эту цепь отдайте, что взамен
Сулили вы, и тотчас я исчезну.
Дромио Сиракузский. Иные черти просят какой-нибудь пустяк: срезанный ноготь, соломинку, во́лос, каплю крови, булавку, орешек или вишневую косточку, а этой подавай золотую цепь! Не слушайте ее, хозяин, а то как пойдет завывать да греметь цепями, мы же с вами и натерпимся страху.
Куртизанка (*Антифолу*)
Цепочку, сударь, или перстень мой!
Ужель вы обмануть меня хотите?
Антифол Сиракузский
С дороги, ведьма! Дромио, вперед!
Дромио Сиракузский (*куртизанке*)
Лиса из-за обмана слезы льет.

Уходят Антифол Сиракузский и Дромио Сиракузский.

Куртизанка
Теперь я вижу: Антифол безумен,
Иначе б так срамиться он не стал.
Он взял кольцо мое, ценою в сорок
Дукатов, мне же посулил взамен
Цепочку — и ни с чем меня оставил.

The reason that I gather he is mad,
Besides this present instance of his rage,
Is a mad tale he told today at dinner
Of his own doors being shut against his entrance.
Belike his wife, acquainted with his fits,
On purpose shut the doors against his way.
My way is now to hie home to his house,
And tell his wife that, being lunatic,
He rushed into my house, and took perforce
My ring away. This course I fittest choose,
For forty ducats is too much to lose.

Exit.

Scene 4

Enter ANTIPHOLUS OF EPHESUS with the OFFICER.

ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Fear me not, man, I will not break away.
I'll give thee ere I leave thee so much money
To warrant thee as I am 'rested for.
My wife is in a wayward mood today,
And will not lightly trust the messenger.
That I should be attached in Ephesus –
I tell you 'twill sound harshly in her ears.

Enter DROMIO OF EPHESUS with a rope's end.

Here comes my man. I think he brings the money. –
How now, sir! Have you that I sent you for?
DROMIO OF EPHESUS
Here's that, I warrant you, will pay them all.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
But where's the money?
DROMIO OF EPHESUS
Why, sir, I gave the money for the rope.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Five hundred ducats, villain, for a rope?
DROMIO OF EPHESUS
I'll serve you, sir, five hundred at the rate.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
To what end did I bid thee hie thee home?
DROMIO OF EPHESUS. To a rope's end, sir, and to that end am I returned.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
And to that end, sir, I will welcome you.

Да, он сошел с ума: еще в обед
Он нес какой-то вздор — должно быть, бредил —
Что будто бы жена и домочадцы
Его сегодня не пустили в дом.
Верней всего, жена закрылась в доме,
Страшась его припадков. Как же быть?
Отправлюсь к ним, скажу его супруге,
Что в бешенстве ворвался он ко мне,
Отнял кольцо и прочь умчался с криком.
Иного способа, пожалуй, нет:
И впрямь ведь жалко сорока монет.

Уходит.

Сцена 4

Входят Антифол Эфесский и пристав.

Антифол Эфесский
Терпенье, старина. Я не сбегу.
Внесу залог не меньше суммы долга:
Тогда меня ты сможешь отпустить.
Жена не в духе нынче, как нарочно —
Трудненько будет моему гонцу
Ей втолковать, что впрямь я арестован,
И где — в Эфесе! То-то, скажет, срам.

Входит Дромио Эфесский с веревкой.

Вот мой слуга. И деньги с ним, надеюсь. —
Принес ты наконец, что я просил?
Дромио Эфесский (*протягивает ему веревку*)
Так точно, сэр. Теперь они заплатят!
Антифол Эфесский
А деньги где? Чем я-то заплачу?
Дромио Эфесский
А деньги, сэр, я отдал за веревку.
Антифол Эфесский
Пятьсот дукатов отдал, негодяй?!
Дромио Эфесский
Нет — я б тогда принес пятьсот веревок.
Антифол Эфесский
За чем я посылал тебя, дубина?
Дромио Эфесский
За прочною веревкой. Для битья.
Антифол Эфесский
Ах, для битья? Ты выполнил заданье.

He beats Dromio.

OFFICER. Good sir, be patient.
DROMIO OF EPHESUS. Nay, 'tis for me to be patient: I am in adversity.
OFFICER. Good now, hold thy tongue.
DROMIO OF EPHESUS. Nay, rather persuade *him* to hold his hands.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS. Thou whoreson, senseless villain!

DROMIO OF EPHESUS. I would I were senseless, sir, that I might not feel your blows.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS. Thou art sensible in nothing but blows, and so is an ass.
DROMIO OF EPHESUS. I am an ass indeed. You may prove it by my long ears. – I have served him from the hour of my nativity to this instant, and have nothing at his hands for my service but blows. When I am cold, he heats me with beating. When I am warm, he cools me with beating. I am waked with it when I sleep, raised with it when I sit, driven out of doors with it when I go from home, welcomed home with it when I return. Nay, I bear it on my shoulders, as a beggar wont her brat, and, I think when he hath lamed me I shall beg with it from door to door.

Enter ADRIANA, LUCIANA, COURTESAN, and a schoolmaster called PINCH.

ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Come, go along; my wife is coming yonder.
DROMIO OF EPHESUS (*to Adriana*). Mistress, *respice finem* – respect your end – or rather, the prophecy like the parrot, 'Beware the rope's end.'
ANTIPHOLUS OF EPHESUS. Wilt thou still talk?

He beats Dromio.

COURTESAN (*to Adriana*)
How say you now? Is not your husband mad?
ADRIANA
His incivility confirms no less. –
Good Doctor Pinch, you are a conjurer.
Establish him in his true sense again,
And I will please you what you will demand.
LUCIANA
Alas, how fiery and how sharp he looks!
COURTESAN
Mark how he trembles in his ecstasy.

Бьет Дромио.

Пристав. Потерпите, сударь, не горячитесь так.
Дромио Эфесский. Потерпите? Это я тут потерпевший!

Пристав. А ты не распускай язык.
Дромио Эфесский. Это он пусть не распускает руки.

Антифол Эфесский. Ах ты сукин сын, скотина бесчувственная!
Дромио Эфесский. Хотел бы я быть бесчувственным к вашим ударам.
Антифол Эфесский. Да ты одни только удары понимаешь и чувствуешь, точь-в-точь осёл.
Дромио Эфесский. Я и впрямь осёл, не зря меня таскают за уши. — Я служу ему с рождения и ничего не получаю за службу, кроме битья. Когда мне холодно, меня греют побоями, когда жарко — освежают колотушками. Когда сплю, меня будят тумаками, сижу — подымают тычками, ухожу — выпроваживают пинками, прихожу — встречают затрещинами. И всё это добро я таскаю на себе, как нищая побирушка свое дитя. Когда он меня вконец искалечит, пойду просить милостыню, выставляя напоказ свои увечья.

Входят Адриана, Люциана, куртизанка и учитель по имени Щипли.

Антифол Эфесский
Довольно вздора. Вон идет жена.
Дромио Эфесский (*Адриане*). Госпожа моя, *respice finem* — не упускайте из виду конца. Или, как говорят попугаи, "берегись вер-ревки!"
Антифол Эфесский. Да замолчишь ты наконец?

Бьет Дромио.

Куртизанка (*Адриане*)
Что скажете? Иль не безумец он?
Адриана
Он в бешенстве — сама теперь я вижу.
О доктор Щипли, вы искусный маг,
Молю вас, мужа приведите в чувство,
Я за леченье щедро заплачу.
Люциана
Да у него глаза огнем пылают!
Куртизанка
Глядите, он в припадке весь дрожит.

PINCH
Give me your hand, and let me feel your pulse.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
There is my hand, and let it feel your ear.

He strikes Pinch.

PINCH
I charge thee, Satan, housed within this man,
To yield possession to my holy prayers,
And to thy state of darkness hie thee straight:
I conjure thee by all the saints in heaven.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Peace, doting wizard, peace! I am not mad.
ADRIANA
O that thou wert not, poor distressèd soul.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
You minion, you, are these your customers?
Did this companion with the saffron face
Revel and feast it at my house today,
Whilst upon me the guilty doors were shut,
And I denied to enter in my house?
ADRIANA
O husband, God doth know you dined at home,
Where would you had remained until this time,
Free from these slanders and this open shame.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Dined at home? Thou villain, what sayest thou?
DROMIO OF EPHESUS
Sir, sooth to say, you did not dine at home.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Were not my doors locked up, and I shut out?
DROMIO OF EPHESUS
Perdie, your doors were locked, and you shut out.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
And did not she herself revile me there?
DROMIO OF EPHESUS
Sans fable, she herself reviled you there.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Did not her kitchen-maid rail, taunt, and scorn me?
DROMIO OF EPHESUS
Certes she did. The kitchen vestal scorned you.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
And did not I in rage depart from thence?
DROMIO OF EPHESUS
In verity you did. — My bones bear witness,
That since have felt the vigour of his rage.

Щипли (*Антифолу*)
Сэр, дайте вашу руку — пульс послушать.
Антифол Эфесский
Где ухо ваше? Вот моя рука!

Бьет Щипли в ухо.

Щипли
Тебя я заклинаю, Сатана,
Вселившийся в сие мужское тело,
Во имя всех святых на небесах,
Ступай во мрак, откуда ты явился!
Антифол Эфесский
Уймись ты, горе-лекарь. Я здоров.
Адриана
Ах, если б это было так, бедняжка!
Антифол Эфесский
Ты, потаскуха, это что, твой гость?
Не он ли, заклинатель желтолицый,
С тобою в доме тайно пировал,
Покуда муж твой мучился снаружи,
Стуча напрасно в запертую дверь?
Адриана
Но, Бог свидетель, ты обедал дома,
Где мог бы оставаться и теперь
И век не знать прилюдного позора.
Антифол Эфесский
Обедал дома? Так ли это, раб?
Дромио Эфесский
По правде, сударь, дома вы не ели.
Антифол Эфесский
Дом заперт был и я не мог войти?
Дромио Эфесский
Ей-богу, заперт, и засов задвинут.
Антифол Эфесский
Жена моя меня бранила вслух?
Дромио Эфесский
Бранила, сэр — вне всякого сомненья.
Антифол Эфесский
Глумилась ли служанка надо мной?
Дромио Эфесский
Бесспорно, сэр — и как еще глумилась!
Антифол Эфесский
И в гневе удалился я, ведь так?
Дромио Эфесский
Так точно, сэр. Ваш гнев я подтверждаю
И помню каждой косточкой своей.

ADRIANA (*aside to Pinch*)
Is't good to soothe him in these contraries?
PINCH (*aside to Adriana*)
It is no shame. The fellow finds his vein,
And, yielding to him, humours well his frenzy.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS (*to Adriana*)
Thou hast suborned the goldsmith to arrest me.
ADRIANA
Alas, I sent you money to redeem you,
By Dromio here, who came in haste for it.
DROMIO OF EPHESUS
Money by me? Heart and good will you might,
But surely, master, not a rag of money.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Went'st not thou to her for a purse of ducats?
ADRIANA
He came to me, and I delivered it.
LUCIANA
And I am witness with her that she did.
DROMIO OF EPHESUS
God and the ropemaker bear me witness
That I was sent for nothing but a rope.
PINCH (*aside to Adriana*)
Mistress, both man and master is possessed.
I know it by their pale and deadly looks.
They must be bound and laid in some dark room.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Say wherefore didst thou lock me forth today,
(To Dromio.)
And why dost thou deny the bag of gold?
ADRIANA
I did not, gentle husband, lock thee forth.
DROMIO OF EPHESUS
And, gentle master, I received no gold.
But I confess, sir, that we were locked out.
ADRIANA
Dissembling villain, thou speak'st false in both.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Dissembling harlot, thou art false in all,
And art confederate with a damnèd pack
To make a loathsome abject scorn of me.
But with these nails I'll pluck out these false eyes,
That would behold in me this shameful sport.

He tries to attack Adriana.

Адриана (*в сторону, к Щипли*)
Полезно ли во всём бедняге вторить?
Щипли (*в сторону, Адриане*)
Вреда не будет. Этот малый прав:
Уступками он буйство в нем смягчает.
Антифол Эфесский (*Адриане*)
От ювелира иск — твоя работа?
Адриана
Помилуй бог! Послала выкуп я,
Как только Дромио за ним примчался.
Дромио Эфесский
Послали выкуп? Разве что привет,
И то во сне, а денег — ни медяшки.
Антифол Эфесский
Ты брал у ней с дукатами кошель?
Адриана
Кошель нашла и с ним передала я.
Люциана
Всё это было на моих глазах.
Дромио Эфесский
А мне порукой Бог и тот канатчик,
В чьей лавке я веревку покупал.
Щипли (*Адриане*)
Слуга, хозяин — оба одержимы:
Они бледнее смерти. Мой совет —
Связать и уложить их в темном месте.
Антифол Эфесский (*Адриане*)
За что меня ты не пустила в дом?
(*К Дромио.*)
Зачем ты лжешь мне, что не брал дукатов?
Адриана
Но, милый муж, ты в доме был со мной.
Дромио Эфесский
Но, господин мой, золота не брал я,
Хоть нас и правда не пустили в дом.
Адриана
Ах, негодяй! Ты дважды нам солгал.
Антифол Эфесский
А ты, блудница, врешь на каждом слове,
С преступной шайкой заговор плетешь,
Меня презренным, жалким выставляешь —
Я вырву эти лживые гляделки:
Им моего бесчестья не видать!

Бросается на Адриану.

ADRIANA
O, bind him, bind him. Let him not come near me.

Enter three or four, and offer to bind him. He strives.

PINCH
More company! The fiend is strong within him.
LUCIANA
Ay me, poor man, how pale and wan he looks.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
What, will you murder me? — Thou jailer, thou,
I am thy prisoner. Wilt thou suffer them
To make a rescue?
OFFICER
Masters, let him go.
He is my prisoner, and you shall not have him.
PINCH
Go, bind this man, for he is frantic too.

They bind Dromio.

ADRIANA
What wilt thou do, thou peevish officer?
Hast thou delight to see a wretched man
Do outrage and displeasure to himself?
OFFICER
He is my prisoner. If I let him go,
The debt he owes will be required of me.
ADRIANA
I will discharge thee ere I go from thee.
Bear me forthwith unto his creditor,
And, knowing how the debt grows, I will pay it. —
Good Master Doctor, see him safe conveyed
Home to my house. O most unhappy day!
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
O most unhappy strumpet!
DROMIO OF EPHESUS
Master, I am here entered in bond for you.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
Out on thee, villain! Wherefore dost thou mad me?
DROMIO OF EPHESUS
Will you be bound for nothing? Be mad, good master —
Cry, 'The devil!'
LUCIANA
God help, poor souls, how idly do they talk!

Адриана
Ай! Кто-нибудь, скорей его свяжите!

Вбегают трое или четверо и пытаются связать Антифола.
Он сопротивляется.

Щипли
Зовите помощь! Дьявол в нем силён.
Люциана
Ах, бедненький. А сам он худ и бледен.
Антифол Эфесский
Убить меня хотите? — Страж, я твой!
Ты вел меня в тюрьму — иль ты позволишь
Меня украсть?
Пристав
Пустите, господа.
Он под арестом и пойдет со мною.
Щипли
Слугу вяжите, чёрт и в нем сидит!

Дромио связывают.

Адриана
Подумай, что творишь ты, страж закона!
Он болен, сам себе чинит он вред —
Иль это зрелище тебе по нраву?
Пристав
Я задержал его как должника.
Коль отпущу, с меня же долг и взыщут.
Адриана
Я за него останусь. Отведешь
Меня к заимодавцу: я узнаю,
За что и сколько задолжал мой муж,
И заплачу. — Несите осторожно
Его к нам в дом. Какой злосчастный день!
Антифол Эфесский
Злосчастная ты шлюха. Погоди же!
Дромио Эфесский
Взгляните, сударь: крепнут наши узы.
Антифол Эфесский
Опять меня ты злишь? Ступай к чертям!
Дромио Эфесский
И правда, чтоб не зря скрутили нас,
Давайте буйствовать. Кричите: "Дьявол!"
Люциана
Спаси господь их души. Страх какой!

ADRIANA
Go bear him hence. — Sister, go you with me.

Exeunt PINCH and others carrying off ANTIPHOLUS OF EPHESUS and DROMIO OF EPHESUS. The Officer, Adriana, Luciana, and the Courtesan remain.

(*To the Officer.*)
Say now, whose suit is he arrested at?

OFFICER
One Angelo, a goldsmith. Do you know him?

ADRIANA
I know the man. What is the sum he owes?

OFFICER
Two hundred ducats.

ADRIANA
Say, how grows it due?

OFFICER
Due for a chain your husband had of him.

ADRIANA
He did bespeak a chain for me, but had it not.

COURTESAN
Whenas your husband all in rage today
Came to my house, and took away my ring —
The ring I saw upon his finger now —
Straight after did I meet him with a chain.

ADRIANA
It may be so, but I did never see it. —
(*To the Officer.*)
Come, jailer, bring me where the goldsmith is.
I long to know the truth hereof at large.

Enter ANTIPHOLUS OF SYRACUSE (wearing the chain) and DROMIO OF SYRACUSE with their rapiers drawn.

LUCIANA
God, for thy mercy, they are loose again!

ADRIANA
And come with naked swords.
Let's call more help to have them bound again!

OFFICER
Away! they'll kill us.

Exeunt all but ANTIPHOLUS AND DROMIO, as fast as may be, frighted.

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
I see these witches are afraid of swords.

Адриана
Идем, сестра. — Несите их домой.

Уходят Щипли и его помощники, унося Антифола Эфесского и Дромио Эфесского. Остаются пристав, Адриана, Люциана и куртизанка.

(Приставу.)
Скажи мне, от кого был подан иск?
Пристав
От Анджело, из цеха ювелиров.
Адриана
Его я знаю. Сумма какова?
Пристав
В дукатах — ровно двести.
Адриана
А изделье?
Пристав
Цепочка золотая, на заказ.
Адриана
Такую вещь он только обещал мне.
Куртизанка
Когда он от меня сбежал с кольцом —
С тем самым, что на нем сейчас надето, —
Так вот, потом я видела его
С чудеснейшей цепочкою на шее.
Адриана
Вы видели — возможно, но не я.
(Приставу.)
Скорей меня сведите к ювелиру,
Хочу я правду наконец узнать.

Входят Антифол Сиракузский и Дромио Сиракузский. У обоих в руках обнаженные рапиры.

Люциана
Они на волю вырвались! О боже!
Адриана
Да, и клинки у них обнажены.
Скорей за помощью —
Пристав
Бежим! Спасите!

Все, кроме Антифола Сиракузского и Дромио Сиракузского, убегают в испуге.

Антифол Сиракузский
А ведьмы-то боятся острой стали.

DROMIO OF SYRACUSE
She that would be your wife now ran from you.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Come to the Centaur. Fetch our stuff from thence.
I long that we were safe and sound aboard.
DROMIO OF SYRACUSE. Faith, stay here this night. They will surely do us no harm. You saw they speak us fair, give us gold. Methinks they are such a gentle nation that, but for the mountain of mad flesh that claims marriage of me, I could find in my heart to stay here still, and turn witch.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
I will not stay tonight for all the town.
Therefore away, to get our stuff aboard.

Exeunt.

Act V

Scene 1

ABBESS
Be quiet, people. Wherefore throng you hither?
ADRIANA
To fetch my poor distracted husband hence.
Let us come in, that we may bind him fast,
And bear him home for his recovery.
ANGELO
I knew he was not in his perfect wits.
SECOND MERCHANT
I am sorry now that I did draw on him.
ABBESS
How long hath this possession held the man?
ADRIANA
This week he hath been heavy, sour, sad,
And much different from the man he was.
But till this afternoon his passion
Ne'er brake into extremity of rage.
ABBESS
Hath he not lost much wealth by wreck of sea?
Buried some dear friend? Hath not else his eye
Strayed his affection in unlawful love —
A sin prevailing much in youthful men,
Who give their eyes the liberty of gazing?
Which of these sorrows is he subject to?

Дромио Сиракузский
И даже та, что в жены лезла к вам.
Антифол Сиракузский
Ступай в "Кентавр" за нашими вещами.
Скорей бы оказаться на борту.
Дромио Сиракузский. А то, ей-богу, заночевали бы тут. Ничего худого они нам не сделают. Разговаривают учтиво, несут нам золото. Вообще народ здесь предобрый, и если б не гора взбесившейся плоти, что требует меня в мужья, так я бы и насовсем остался, и сам бы сделался колдуном.
Антифол Сиракузский
За все богатства их — я не останусь!
Ступай в "Кентавр" и собирайся в путь.

Уходят.

Акт V

Сцена 1

Аббатиса
Что тут за шум? Зачем вы собрались?
Адриана
Хотим забрать несчастного безумца,
Связать и на леченье увести.
Он мой супруг — позвольте нам войти.
Анджело
Он тронулся умом? Я так и думал.
Второй купец
И я хорош: чуть не сразился с ним!
Аббатиса
Давно ли им безумье овладело?
Адриана
С неделю был он скучен, вял и хмур —
Совсем не тот, каким его я знала;
Но лишь сегодня около полудня
И буйство началось, и странный бред.
Аббатиса
Не разорен ли кораблекрушеньем
Ваш муж? Не потерял ли друга он?
А может быть, любовью беззаконной
Прельстился он? Нередок этот грех
У молодых людей, что много воли
Дают глазам. Которая из бед
С ним приключилась?

ADRIANA
To none of these, except it be the last,
Namely some love that drew him oft from home.
ABBESS
You should for that have reprehended him.
ADRIANA
Why, so I did.
ABBESS
Ay, but not rough enough.
ADRIANA
As roughly as my modesty would let me.
ABBESS
Haply in private.
ADRIANA
And in assemblies too.
ABBESS
Ay, but not enough.
ADRIANA
It was the copy of our conference.
In bed he slept not for my urging it;
At board he fed not for my urging it.
Alone, it was the subject of my theme;
In company I often glanced at it.
Still did I tell him it was vile and bad.
ABBESS
And thereof came it that the man was mad.
The venom clamours of a jealous woman
Poisons more deadly than a mad dog's tooth.
It seems his sleeps were hindered by thy railing,
And therefore comes it that his head is light.
Thou sayst his meat was sauced with thy upbraidings:
Unquiet meals make ill digestions.
Thereof the raging fire of fever bred,
And what's a fever but a fit of madness?
Thou sayst his sports were hindered by thy brawls:
Sweet recreation barred, what doth ensue
But moody and dull melancholy,
Kinsman to grim and comfortless despair,
And at her heels a huge infectious troop
Of pale distemperatures and foes to life?
In food, in sport, and life-preserving rest
To be disturbed, would mad or man or beast.
The consequence is, then, thy jealous fits
Have scared thy husband from the use of wits.

Адриана

Третья. Он из дома
К любовнице уходит что ни день.

Аббатиса

И вы его за это упрекали.

Адриана

О да.

Аббатиса

Журили, может быть, слегка?

Адриана

О нет, бранила, и довольно крепко.

Аббатиса

В дому, наедине?

Адриана

При всех! Везде!

Аббатиса

Должно быть, изредка и понемногу?

Адриана

Да лишь об этом речь у нас и шла!
Я ночью на ухо ему шептала,
Твердила в завтрак, в ужин и в обед,
Наедине все время повторяла,
На людях успевала помянуть,
Что так вести себя — грешно и скверно.

Аббатиса

Вот отчего твой муж сошел с ума.
Ревнивицы докучные попреки
Страшней укусов бешеного пса.
Ты сон его шипеньем прерывала —
Отсюда помраченье в голове;
Ему ты бранью приправляла пищу,
А это к несваренью верный путь.
Где несваренье, там и лихорадка:
Припадки, стало быть, и буйный бред.
Ты мужу отравляла даже отдых:
Лишенный передышки, дух его
Склонился к меланхолии угрюмой,
Что черному отчаянью сродни,
Не зря за ней спешат чумною сворой
Недуги, хвори — всё, что губит жизнь.
Лишенный сна, веселья, вкуса к пище —
Не то что муж, свихнется даже зверь.
Итак, в его безумствах лишь сама ты
Да ревности припадки виноваты.

LUCIANA
She never reprehended him but mildly
When he demeaned himself rough, rude, and wildly.
(*To Adriana.*)
Why bear you these rebukes, and answer not?

ADRIANA
She did betray me to my own reproof. –
Good people, enter, and lay hold on him.

ABBESS
No, not a creature enters in my house.

ADRIANA
Then let your servants bring my husband forth.

ABBESS
Neither. He took this place for sanctuary,
And it shall privilege him from your hands
Till I have brought him to his wits again,
Or lose my labour in essaying it.

ADRIANA
I will attend my husband, be his nurse,
Diet his sickness, for it is my office,
And will have no attorney but myself.
And therefore let me have him home with me.

ABBESS
Be patient, for I will not let him stir
Till I have used the approved means I have,
With wholesome syrups, drugs, and holy prayers
To make of him a formal man again.
It is a branch and parcel of mine oath,
A charitable duty of my order.
Therefore depart, and leave him here with me.

ADRIANA
I will not hence and leave my husband here;
And ill it doth beseem your holiness
To separate the husband and the wife.

ABBESS
Be quiet and depart. Thou shalt not have him.

Exit.

LUCIANA (*to Adriana*)
Complain unto the Duke of this indignity.

ADRIANA
Come, go, I will fall prostrate at his feet,
And never rise until my tears and prayers
Have won his grace to come in person hither
And take perforce my husband from the Abbess.

Люциана
Она его корила лишь любя —
Он как дикарь свирепый вел себя!
(*Адриане.*)
Зачем хулу безропотно ты сносишь?
Адриана
О, я себя не так еще браню. —
Ступайте внутрь и приведите мужа.
Аббатиса
Никто из вас в обитель не войдет.
Адриана
Пусть выведут безумца ваши слуги.
Аббатиса
Нет, право на убежище дано
Ему, как всем. Назад получишь мужа,
Когда его я на ноги поставлю
И в чувство приведу — иль отступлюсь.
Адриана
Ходить за мужем буду я сама.
Лечить и утешать его — не это ль
Священный долг жены? Чужие руки
Не к месту здесь. Отдайте мужа мне!
Аббатиса
Терпенье! Он отсюда не уйдет,
Покуда всех я средств не исчерпаю:
Микстур, настоев, снадобий, молитв —
Для врачеванья страждущего духа.
Монашеский мой орден, долг и сан
Меня обязывают к милосердью.
Ступайте же! Он будет исцелен.
Адриана
Я не уйду и не оставлю мужа
Здесь одного. Супругов разлучать —
К лицу ль вам это, ваше преподобье?
Аббатиса
Довольно слов. Ступай домой и жди.

Уходит.

Люциана (*Адриане*)
Тут произвол! Пусть герцог вас рассудит.
Адриана
Идем! Я упаду к его ногам,
Слезами их омою и не встану,
Пока не умолю его прийти
Сюда со мной и вызволить супруга.

ANGELO
By this, I think, the dial point's at five.
Anon, I'm sure, the Duke himself in person
Comes this way to the melancholy vale,
The place of death and sorry execution,
Behind the ditches of the abbey here.
SECOND MERCHANT
Upon what cause?
ANGELO
To see a reverend Syracusian merchant,
Who put unluckily into this bay
Against the laws and statutes of this town,
Beheaded publicly for his offence.
SECOND MERCHANT
See where they come. We will behold his death.
LUCIANA
Kneel to the Duke before he pass the abbey.

Enter SOLINUS DUKE OF EPHESUS, and EGEON the Merchant of Syracuse, bareheaded [and bound], with the HEADSMAN and other OFFICERS

DUKE
Yet once again proclaim it publicly:
If any friend will pay the sum for him,
He shall not die; so much we tender him.
ADRIANA
Justice, most sacred Duke, against the Abbess!
DUKE
She is a virtuous and a reverend lady.
It cannot be that she hath done thee wrong.
ADRIANA
May it please your grace, Antipholus my husband,
Whom I made lord of me and all I had
At your important letters – this ill day
A most outrageous fit of madness took him,
That desperately he hurried through the street,
With him his bondman, all as mad as he,
Doing displeasure to the citizens
By rushing in their houses, bearing thence
Rings, jewels, anything his rage did like.
Once did I get him bound, and sent him home,
Whilst to take order for the wrongs I went
That here and there his fury had committed.
Anon, I wot not by what strong escape,
He broke from those that had the guard of him,

Анджело
На пять часов указывает тень,
И скоро герцог со своею свитой
Здесь будет проходить: печальный долг
Велит ему присутствовать при казни —
Там, возле рва, у монастырских стен.
Второй купец
При казни?
Анджело
Да: купец почтенных лет,
Из Сиракуз приплывший, по несчастью,
А значит, преступивший наш закон,
Сейчас прилюдно будет обезглавлен.
Второй купец
Они уж близко! Поглядим на казнь.
Люциана (*Адриане*)
Чуть подойдет к нам герцог, падай в ноги.

Входят герцог Солин, Эгеон с обнаженной головой и связанными руками, палач и стражники.

Герцог
Мы повторяем: коль найдется друг,
Что за купца сего в казну заплатит,
Его мы будем рады пощадить.
Адриана (*падая на колени*)
Защиты, государь, — от аббатисы!
Герцог
Ужель сия почтенная особа
Могла кому-то нанести урон?
Адриана
О ваша светлость, Антифол, супруг мой,
Кого благословили вы владеть
И мной самой, и всем, чем я владела,
Сегодня впал в безумье. Он метался
По улицам, пугая горожан,
С ним человек его, такой же буйный:
Они в дома врывались, у людей
Выхватывали кольца, ожерелья
И всё, что попадалось на глаза.
Его мои помощники связали
И повели домой, сама же я
Обиженных спешила удоволить, —
Как вдруг мой муж, от пут освободясь
Каким-то чудом и удрав от стражи,

And with his mad attendant and himself,
Each one with ireful passion, with drawn swords,
Met us again, and, madly bent on us,
Chased us away; till, raising of more aid,
We came again to bind them. Then they fled
Into this abbey, whither we pursued them,
And here the Abbess shuts the gates on us,
And will not suffer us to fetch him out,
Nor send him forth that we may bear him hence.
Therefore, most gracious Duke, with thy command
Let him be brought forth, and borne hence for help.

DUKE (*raising Adriana*)

Long since, thy husband served me in my wars,
And I to thee engaged a prince's word,
When thou didst make him master of thy bed,
To do him all the grace and good I could. –
Go, some of you, knock at the abbey gate,
And bid the Lady Abbess come to me.
I will determine this before I stir.

На пару со взбесившимся слугой
К нам вышел! Обнаженными клинками
Они смогли нас в бегство обратить.
Тогда с собой мы привели подмогу,
Чтоб их связать покрепче, но они
Укрылись там, за стенами аббатства.
Не хочет настоятельница нам
Войти позволить внутрь за беглецами
И их не выдает. О государь,
Велите ей — пускай вернет мне мужа,
Чтоб дома я помочь ему смогла.

ГЕРЦОГ (*поднимая Адриану*)

Супруг твой за меня сражался храбро.
Когда ты согласилась разделить
С ним ложе, дал я слово государя,
Что не оставлю милостью его. —
Эй, кто-нибудь, стучитесь к аббатисе,
Пусть выйдет к нам! Я с места не сойду,
Покуда не улажу это дело.

Тут появляется перегрызший путы и оскорбленный до глубины души Антифол Эфесский в сопровождении своего Дромио. Он требует у герцога справедливости и возмездия. Но аббатиса выводит к собравшимся Антифола и Дромио Сиракузских... и после всеобщего изумления дело улаживается самым неожиданным для персонажей (и даже отчасти для зрителей) образом.

Михаэль Кумпфмюллер

Великолепие жизни

Фрагмент романа

Перевод с немецкого Михаила Рудницкого

Посвящается Эве

Вполне допустимо помыслить, что великолепие жизни залегает повсюду и вокруг каждого, уготованное для нас, но незримое, роковым образом сокрытое где-то глубоко, в неведомых недрах. Однако оно покоится там не враждебное, не строптивое и не глухое к нам. Стоит вызвать его верным словом, окликнуть истинным именем — и оно явится. В этом суть колдовства: оно не творит, а лишь вызывает.

Франц Кафка *Дневники 1921*

© 2012 Litrix.de
© Михаил Рудницкий Перевод, 2012

Часть первая. Прибытие

1

ГОСПОДИН доктор приезжает в пятницу поздним июльским вечером. Последний отрезок пути, от станции в открытой пролетке, был просто нескончаем, все еще стояла жара, он измотан дорогой, но теперь он наконец-то на месте. Элли с детьми встречают его в холле. Он едва успевает поставить багаж, а на нем уже виснут Феликс и Герти, обнимают, что-то наперебой галдят. Они сегодня спозаранок были на море, готовы и сейчас вести его туда, показать, что они там построили, настоящую крепость из песка, огромную, там на пляже полно таких. Да оставьте же его, увещевает Элли с заспанной малюткой Ханной на руках, но они не перестают взахлеб рассказывать о сегодняшних своих подвигах. Элли спрашивает:

— Как доехал? Есть хочешь?

Доктор прикидывает, хочется ли ему есть, но аппетита никакого. Тем не менее он ненадолго поднимается наверх, взглянуть на снятую квартиру, дети, им одиннадцать и двенадцать, спешат показать, где спят они, но находят уйму отговорок, почему им еще рано ложиться. Горничная приготовила для него тарелку с орехами и фруктами, тут же и графин с водой, он пьет, говорит сестре, до чего он ей благодарен, ведь ближайшие три недели он будет здесь столоваться, они будут много времени проводить вместе, вот тогда-то и выяснится, насколько он к такой совместной жизни готов.

Доктор возлагает на этот отдых большие надежды. Последние месяцы стали для него сущей мукой, оставаться у родителей было уже совсем невмочь, тут-то как нельзя кстати и подоспело приглашение отдохнуть на Балтийском взморье. Квартиру сестра нашла по газетному объявлению, которое сулило отличные постели, добротные цены, балконы, веранды, лоджии, и все это прямо у сосновой рощи с восхитительным видом на море.

Его комната расположена в другом конце коридора. Не слишком просторная, но письменный стол есть, матрас жесткий, к тому же в сторону леса обещанием покоя выходит узенький балкон, правда, из близлежащего здания слышны детские голоса. Он распаковывает вещи: пару костюмов, белье, чтение, писчая бумага. Можно прямо сейчас отчитаться Максу о том, как прошли переговоры в новом издательстве, но это не поздно будет сделать и на днях. Было так странно столько лет спустя вновь оказаться в Берлине, а сутки спустя

он уже здесь, в Мюритце, в пансионе, который имеет самонадеянность именоваться "Удачей". Элли уже отпускала какую-то шутку по этому поводу, она надеется, что здесь, на морском воздухе, доктор прибавит несколько кило, хотя оба они знают, что вероятность не слишком велика. Все повторяется, думает он, все последние годы он проводит лето в отелях или санаториях, а потом долгие зимы в городе, где он иной раз неделями с постели не встает. Он рад, что может побыть один, ненадолго выходит посидеть на балкон, где все еще слышны голоса, потом отправляется спать и сразу, без малейших затруднений, погружается в сон.

Пробудившись поутру, он выясняет, что проспал восемь часов с лишним. Он тотчас же вспоминает, где он: на взморье, в этой комнате, далеко ото всего, что знакомо до боли. Детские голоса, под которые он вчера засыпал, уже снова тут как тут, поют что-то, как нетрудно определить, на древнееврейском. Наверно, с востока, думает он, сейчас ведь создают летние лагеря отдыха для таких детей, Пуа, его преподавательница иврита, кажется, говорила, что и в Мюритце такой лагерь есть, а он, оказывается, вот он, совсем по соседству. Доктор выходит на балкон взглянуть, что там творится. С пением тем временем покончено, теперь все дети сидят перед домом за длинным столом и завтракают, весьма шумно и радостно. Год назад в Плане ему подобный шум очень мешал, а сейчас этот веселый неугомонный галдеж его почти радует. Он справляется у сестры, известно ли той что-нибудь об этих детях, но она не знает ровно ничего и, похоже, удивлена, с какой стати он этим обеспокоен, спрашивает, хорошо ли он спал, доволен ли комнатой, да-да, он доволен и уже радуется предстоящему походу на пляж.

До пляжа идти почти четверть часа, это дольше, чем он предполагал. Герти и Феликс несут сумки с купальными принадлежностями и провиантом, то убегают вперед, то снова возвращаются — он за ними явно не поспевает. Море, серебристое и гладкое, сверкает на солнце, повсюду полно детишек в пестрых купальниках, они с восторгом плещутся на мелководье, некоторые играют в мяч. По счастью, справа от мостков причала Элли арендовала для него персональную пляжную кабинку, нечто вроде плетеного кресла с плетеным же верхом, откуда ему все прекрасно видно. Вокруг, среди таких же пляжных кабинок, во множестве высятся замки и крепости из песка, по колено вышиной, по меньшей мере каждая вторая цитадель украшена выложенной из ракушек звездой Давида.

Сигнальный экземпляр

Герти и Феликс рвутся в воду и счастливы, что он тоже идет купаться. Возле берега вода теплая, как в домашней ванне, но он заплывает с обоими детьми подальше, где уже попадаются полосы холодных течений. Герти очень хочет, чтобы он научил ее, как изобразить утопленника, да это же проще простого — и вот уже все трое, лежа на спинах, дрейфуют в искрящейся воде, пока с берега не раздается тревожный окрик Элли. Ему нельзя так усердствовать, увещевает сестра. Или это не у него вчера вечером был легкий жар? Был, соглашается доктор, но сегодня с утра температуры нет. Тем не менее ему приятно просто посидеть в пляжной кабинке, жара стоит несусветная, наверняка далеко за тридцать, на солнце выдержать невозможно. Феликсу и Герти тоже на солнце жариться ни к чему, они сейчас выкладывают из сосновых шишек его инициалы. Он долго сидит и просто смотрит на детей, время от времени до него доносятся обрывки разговоров на идиш, строгие голоса воспитателей, все они, пожалуй, не старше двадцати пяти. Герти уже пообщалась с группой девочек и на его вопрос охотно сообщает: да, они все из Берлина, сюда приехали на лето, как и мы, живут в доме отдыха по соседству.

Доктор мог бы сидеть так часами. Элли то и дело спрашивает, как он себя чувствует — и все время этим озабоченным материнским тоном, который он давно за ней заметил. С Элли никогда не поговоришь так, как можно поговорить с Оттлой, и тем не менее он сам заводит разговор о Бергманах, Хуго и Элзе, которые зовут его поехать вместе с ними в Палестину, в Тель-Авив, где, кстати, тоже есть пляж, на котором, как и здесь, наверняка резвятся детишки. Элли не считает нужным по этому поводу долго распространяться, доктор и так прекрасно знает, какого мнения она о подобных прожектах, в сущности он и сам в них не верит. Но дети для него большая радость, он счастлив и благодарен, что может побыть с ними. Среди всей этой кутерьмы ему даже удается соснуть, больше часа, в самый разгар полуденного зноя, пока Герти и Феликс снова не тащат его в воду.

На второй день он начинает узнавать некоторые лица. Глаза уже не скользят по окружающим без разбора, у него появились предпочтения, где-то замечена пара стройных девичьих ног, губы, волосы, щетка, которой по этим волосам проводят, тут и там чей-то взгляд, вон высокая брюнетка, которая уже не в первый раз на него посматривает, а потом поспешно отводит глаза, делая вид, будто он вовсе ее не интересует. Двух-трех девочек он уже различает по голосам, наблюдает, как они там, вдалеке, прыгают в воду, как бродят по горячему пес-

ку, взявшись за руки и беспрестанно хихикая. Он затрудняется определить их возраст. То кажется, что им все семнадцать, а то вдруг они совсем еще дети, и именно эта переменчивость впечатлений более всего ему приятна, заставляя интересоваться ими снова и снова.

Более всех ему приглянулась высокая брюнетка. Можно, конечно, спросить у Герти, как ее зовут, ведь Герти уже с ней разговаривала, но обнаруживать свое любопытство подобным образом ему не хочется. Эту темноволосую он бы с удовольствием рассмешил, ведь она, к сожалению, совсем не смеется. Вид у нее слегка строптивый, как будто она давно на что-то обижена или злится. Уже в пансионе он смотрит с балкона, как в саду летнего лагеря она накрывает стол к ужину, а позже, вечером, видит ее в главной женской роли в самодеятельном спектакле. Ему не слышно, что она произносит, но видно, как она двигается, с каким упоением играет, судя по всему, роль невесты, которую выдают замуж против ее воли, так, во всяком случае, ему видится разыгрываемый сюжет, он слышит смех детей, аплодисменты, в ответ на которые темноволосая неоднократно выходит на поклоны.

Позже, когда он рассказывает об этом Элли и детям, в голосе его различима грусть. До войны он знавал многих людей театра, неистового Леви, которого так презирал его отец, молоденьких актрис, которые едва справлялись с текстом на идиш, но сколько силы, сколько страсти было в их игре и как он тогда во все это верил...

Когда на следующее утро Герти подводит темноволосую к его пляжной кабинке, он впервые видит, как та улыбается. Поначалу девушка робеет, но, когда он говорит ей, что видел вчера ее на сцене, мало-помалу преодолевает скованность. Он узнает, что зовут ее Тиле, делает ей комплименты. Дескать, она выглядела как настоящая актриса, на что она с живостью возражает: хотелось бы надеяться, что выглядела она как настоящая невеста, она же не актрису играла. Доктору ее ответ нравится, оба смеются и явно не прочь познакомиться поближе. Да, подтверждает девушка, она из Берлина, и даже знает, кто такой господин доктор, в книжной лавке, где она работает, всего лишь пару недель назад она выкладывала на витрину одну из его книг. Подробнее она, похоже, рассказывать о себе не склонна, по крайней мере в присутствии стоящей рядом Герти, а раз так, господин доктор предлагает ей прогуляться вместе до мостков причала. Как выясняется, она хочет стать танцовщицей, и именно с этим связано ее подавленное настроение, ведь она в ссоре с родителями, которым вздумалось

воспрепятствовать этому ее намерению во что бы то ни стало. Господин доктор не очень знает, как и чем ее утешить, избранная ею профессия столь же прекрасна, сколь и трудна, но, если она верит в свое призвание, значит, действительно будет танцевать. Он лично уже сейчас видит ее парящей над сценой, видит, грациозный изгиб ее фигуры, благоговейные, легчайшие взлеты ее рук и ног. Она мечтает об этом с восьми лет, ощущает танец всем телом. Доктор долго ничего не отвечает, пока она, полуженщина, полудитя, выжидательно на него смотрит.

Они гуляют вместе и на следующий день, и через день тоже. Девушка долго думала над словами господина доктора, но не уверена, правильно ли его поняла. А доктор задним числом недоволен своим ответом, может, не стоило укреплять девушку в ее мечте, откуда у него такое право? Он рассказывает ей о своей работе в страховом агентстве и о том, что чувствует ночами, когда пишет — правда, сейчас ему не пишется, да и в агентстве он больше не служит, он уже год как на пенсии, только благодаря этому и сидит сейчас тут, на причале, и беседует с очаровательной берлинкой, которая через несколько лет будет танцовщицей. Вот теперь она снова улыбается и приглашает доктора завтра к ним на ужин, вечером в пятницу у них в летнем лагере всегда бывает небольшой праздник, она уже и у воспитателей получила разрешение его позвать. Он соглашается сразу же, среди прочего и потому, что таким образом в свои сорок лет впервые в жизни будет праздновать иудейский вечер пятницы.

Уже после обеда он со своего балкона может наблюдать за приготовлениями. Он уединился в своей комнате и пишет открытки — о море и о призраках, от которых ему, похоже, пока что удалось бежать. Пишет Роберту и Бергманам, подчас одними и теми же фразами, особенно пространно — о детях. От Тиле он узнал, что их летний лагерь называется "Детское счастье", и вот что в связи с этим он пишет: "Чтобы проверить свою транспортабельность, я после стольких лет головных болей и постельного режима сподвигнулся на небольшое путешествие к Балтийскому морю. В одном мне точно посчастливилось. В пятидесяти шагах от моего балкона расположен летний лагерь берлинского народного интерната для еврейских детей. Сквозь кроны и между стволами деревьев я вижу, как играют дети. Радостные, азартные, полные здоровья. Дети восточных евреев, спасенные западными евреями от берлинского лиха. По полдня и до глубокой ночи дом, лес

и пляж наполнены детским пением. Когда я среди них, я не то чтобы счастлив, но на пороге счастья".

У него еще остается время для короткой прогулки, после чего он неспешно начинает готовиться к вечеру, достает из шкафа темный костюм, проверяет перед зеркалом, как повязан галстук. Ему любопытно все, что его ждет: сам распорядок праздника, пение, лица, — но и только, ничего больше он себе в этот вечер не сулит.

2

Дора сидит за кухонным столом и как назло потрошит рыбу к ужину. Она уже несколько дней о нем думает, и вдруг, нежданно-негаданно, он тут как тут, и надо же, чтобы именно Тиле его привела, причем одного, без той женщины на пляже. Он стоит в дверях и первым делом смотрит на рыб, потом на ее руки, как ей кажется, с немым укором, но это несомненно он — тот самый мужчина с пляжа. Она настолько растеряна, что толком не слышит, что он ей говорит, а он что-то говорит о ее руках, такие нежные руки, говорит он, и такая кровавая им досталась работа. При этом смотрит на нее с живым интересом, явно удивляясь всякому делу, которым ей, кухарке, положено тут заниматься. К сожалению, он остается совсем ненадолго. Тиле хочет показать ему весь дом, он лишь на секунду задерживается около стола, и вот его уже и след простыл.

Какое-то время она сидит, словно оглушенная, слышит из-за двери голоса, смех Тиле, удаляющиеся шаги. Что же теперь, спрашивает она себя, представляет себе, как он уже стоит в комнате Тиле и даже не знает, что это и ее, Доры, комната тоже. Скажет ли ему об этом Тиле? Сдается ей, что скорее нет. Она вспоминает, как впервые заметила его на пляже, с этой женщиной и тремя детьми. На женщину она особо и не смотрела, а вот с него, молодого еще мужчины, почти не сводила глаз, следила, как он плавает, как двигается, как с книжкой в руках сидит в своей пляжной кабинке. Поначалу, из-за смуглого цвета кожи, она вообще решила, что он наполовину индеец. Ведь он женат, сказала она себе, на что ты надеешься — и несмотря ни на что продолжала надеяться. Однажды пошла следом за ним и всем его семейством до поселка, он ей даже снился, впрочем, как и Ханс, но о Хансе сейчас лучше не думать, разве что по обязанности, потому что вроде так положено.

Два часа спустя, за ужином, она видит господина доктора снова. Он сидит далеко, на другом конце стола, рядом с Тиле, которая, кажется, того и гляди лопнет от гордости, потому что, если бы не Тиле, он бы не пришел. Вот уже два дня как от

Сигнальный экземпляр

нее только и слышно, господин доктор да господин доктор, он писатель, в пятницу вы его увидите, а оказывается, он не кто иной, как тот самый мужчина с пляжа. Тиле только что его всем торжественно представила, теперь произносится благословение, преломляются хлеба, разливается вино. У доктора такой вид, будто все это ему в диковинку, но он снова и снова, в течение всего ужина, посматривает на нее, этим странным взглядом, полным тоски и, как ей кажется, давно ей знакомым. Позже, уже на прощание, он подходит к ней спросить, как ее зовут; его-то имя она уже знает, что ж, она называет себя. Он смотрит на нее своими синими глазами, кивает, раздумывая об ее имени, судя по всему, оно ему нравится.

Она говорит, да нет, почти выпаливает:

— А я вас видела на пляже, с женой, — хотя ведь точно знает, никакая это не жена, не может быть, чтобы жена, иначе отчего у нее стало так легко на сердце, когда он сегодня на кухне около нее остановился?

Доктор со смехом подтверждает ее догадку: это его сестра. И дети — это тоже дети сестры, здесь и вторая его сестра, Валли, с мужем Йозефом, вероятно, и они уже попадались ей на глаза. И тут же спрашивает, можно ли надеяться увидеть ее снова. "Мне бы очень хотелось увидеть вас снова", — говорит он, или: "Надеюсь, мы еще увидимся", — и она тотчас же отвечает: "Да, с удовольствием", потому что она тоже хочет увидеть его снова.

— Завтра? — спрашивает она, а сама так и хочет выкрикнуть: "Как только вы проснетесь! И вообще когда вам угодно!"

Он предлагает увидеться на пляже, после завтрака, хотя ей-то милей всего было бы встретиться с ним наедине у себя на кухне. Но он и Тиле тоже приглашает. Она, Дора, и думать забыла, что Тиле вообще существует на свете, но она тут как тут, к сожалению, и всякому видно, что она в доктора уже по уши влюблена, а ведь ей только семнадцать и с мужчинами у нее наверняка еще ничего не было.

Доре эта девчонка сразу понравилась, наверно потому, что она и сама немного такая же: что на уме, то и на языке. Не сказать, чтобы Тиле такая уж хорошенькая, но сразу видно, сколько в ней жизни и как она любит свое тело, длинные стройные ноги, и вправду как у танцовщицы. Доре уже случалось видеть, как она танцует — и как плачет, а потом вдруг, в ту же секунду, уже смеется, словно апрельское солнышко, внезапно выглянувшее из-за туч.

Было уже далеко за полночь, а Тиле все еще во всех подробностях пересказывала ей визит господина доктора, слово в сло-

во повторяя, что тот сказал о лагере, о доме, о еде, о праздничном настроении и о том, какие все радостные. Дора помалкивает, у нее свои впечатления, в которые она теперь вслушивается, которым тем или иным образом себя вверяет, словно и этот мужчина, и немногие мгновения, когда он был с ней рядом, и вправду есть нечто, чему ей следует довериться. Тиле давно уже спит, а в ней только-только начинает вширь и вглубь расти что-то неведомое, то ли звук, то ли аромат, сперва почти неощутимый, а затем все более мощный, завладевающий ею всецело.

Утром на пляже он, здороваясь, протягивает ей руку. Он ее ждал, но у нее утомленный вид. Он как будто безмолвно спрашивает: "Что случилось?" Но поскольку рядом Тиле и его племянница Герти, она только неопределенно ему улыбается, что-то говорит о море, об освещении, о том, как она этот свет ощущает, теперь, после вчерашнего, хотя вчера они и сказали-то друг другу лишь несколько слов — но теперь этим словам, этим взглядам суждено остаться с ней на всю жизнь. Купаться он, судя по всему, не хочет, а вот Тиле рвется в воду, благодаря чему у них теперь есть несколько минут друг для друга. Но его сестра там, вдали, их уже заприметила, — и как только Доре могло в голову взбрести, что это жена?

Зато теперь они говорят, и сами себя не слышат, ибо едва один скажет слово, оно улетучивается, они сидят на пляже, будто в воздушном колоколе, под которым глохнут все звуки. Доктор задает ей множество вопросов, откуда она, где и как живет, а сам смотрит на ее губы, неотрывно и только на губы, что-то шепчет о ее силуэте, о ее волосах, о том, что он видел, что сейчас видит — и все это беззвучно, без единого слова. А теперь говорит она, об отце, о том, как убежала сперва в Краков, потом еще дальше, во Вроцлав, прочь, все дальше прочь, словно только для того и убегала, чтобы однажды, вот здесь, рядом с этим мужчиной оказаться. Рассказывает о своих первых неделях в Берлине, это она еще может вспомнить, и как потом вдруг все оборвалось, потому что Тиле пришла и сзади неожиданно обняла ее мокрыми руками, — тут она вздрогнула и сразу спохватилась, ей же на кухню пора. Доктор тут же поднимается, спрашивает, можно ли ее проводить, к сожалению, и Тиле увязывается с ними, но зато она успевает и сегодня пригласить его на ужин.

Рыбы сегодня не будет, сегодня она перебирает в миске фасоль. Она надеялась, что он придет.

— О, как приятно, и так рано, садитесь же, я так рада, — говорит она.

Господин доктор наблюдает, как она работает, довольно долго, потом признается, что ему доставляет удовольствие на

Сигнальный экземпляр

нее смотреть, заметила ли она это? На нее наверняка и в Берлине с удовольствием смотрят, на что она, сама не зная почему, отвечает: да, то и дело, на улице, в электричке, в ресторанах, то есть, она хотела сказать, смотрят, но не совсем так, как господин доктор. И тут же они оказываются в Берлине. Доктор любит Берлин, даже знает еврейский народный интернат и интересуется, как она стала кухаркой, а чуть позже просит, чтобы она что-то сказала ему на древнееврейском, который он в последние годы пытается учить с преподавательницей по имени Пуа, к сожалению, правда, без особого успеха. Подумав немного, она произносит фразу, что хотела бы вечером сидеть с ним рядом, на что он, не без ошибок, отвечает, что полночи об этом мечтал, и, церемонно склонившись над ее рукой, как бы в шутку, чтобы ее не испугать, и в самом деле целует ей руку. Но она все равно пугается. И чуть позже, когда она картошку чистит, а он как бы невзначай до ее руки дотрагивается, она пугается снова, не столько его, сколько самой себя — такое неистовство, такую беспомощную готовность ему покориться она в себе чувствует, словно никаких условностей между ними вообще нету.

В воскресенье после ужина они идут гулять. На сей раз у них настоящее свидание, о котором они условились на пляже, незаметно от Тиле, чтобы не обидеть девочку, которая по-прежнему ведет себя так, словно господин доктор принадлежит ей и только ей. После обеда, когда все идут купаться, Дора вдруг понимает, что невольно себя с Тиле сравнивает. На своих длинных ногах та стремглав убегает по мелководью, оставляя за собой искрящиеся фонтаны брызг, но господин доктор, который сейчас почему-то кажется Доре еще более тонким и хрупким, чем прежде, почти не смотрит ей вслед. Он и на нее, Дору, поглядывает лишь изредка, но ей кажется, она чувствует на себе этот его взгляд, изучающий ее руки, ноги, бедра, грудь, да, и ей нравится, что он все это разглядывает и сводит для себя в некий единый образ, не столько с удивлением, а словно утверждаясь в том, что в общем и целом и так давно знал. Вода под ногами теплая, ленивая, какое-то мгновение оба медлят, но Тиле вдали уже требовательно зовет, торопит, надо надеяться, она ничего не заметила.

Когда утром доктор представил ее своей сестре, та была скорее любезна, чем приветлива. Она о Доре от брата уже наслышана. Знает, что Дора работает в летнем лагере кухаркой и славится своей стряпней на весь Мюритц. Зато Дора знает, что, если бы не Элли, она бы с господином доктором не познакомилась. Ей нравится, как она о нем говорит, ее брат, уве-

ряет Элли, к сожалению, едок никудышный, нужно ангельское терпение и много любви, чтобы уговорить его хоть что-нибудь съесть.

На прогулку Дора надевает свой темно-зеленый пляжный сарафан. Уже начало десятого, но все еще светло, и ей так радостно идти рядом с ним и чувствовать, что он рад ничуть не меньше. Они могли бы сесть вон там, на одну из скамеек, что на первом причале, и разглядывать фланирующих курортников, но доктор хочет пройти дальше, на второй причал. Дора сняла туфельки, она любит ходить босиком по песку, доктор берет ее под руку — и в тот же миг они снова в Берлине. Доктор знает Берлин еще с довоенной поры, она поражена, насколько хорошо он помнит город, он называет места, что были когда-то для него важны, отель "Асканийское подворье", где ему однажды довелось пережить ужасный день, и тем не менее ему хотелось бы спустя столько лет побывать в Берлине снова.

— Что, правда? — удивляется она, ведь саму-то ее забросило в этот город скорее случайно, три года назад это было. Он спрашивает, в каком районе она живет, как ей там, он вообще странными вещами интересуется, ценами на хлеб и молоко, сколько платят за отопление, настроениями людей на улице, теперь, когда война уже пять лет как кончилась. В Берлине всюду сутолока и хамство, и беженцев с Востока полным-полно, отвечает она, в квартале, где она живет, от них прохода нет, повсюду эти оборванцы, целыми семьями, попрошайничают, поют, и все с этого жуткого Востока.

Прогулка вдоль пляжа тем временем кончена, в тусклом свете фонаря они сидят на узкой скамье на дальних мостках второго причала. Но разговор и мысли все еще о Берлине, доктор рассказывает о своем друге Максе, у которого в Берлине дама сердца по имени Эмми. Тут и ей, к сожалению, приходится в двух словах сообщить о Хансе, по крайней мере упомянуть о нем она должна, тем более что доктор вспоминает о своей бывшей невесте, но с тех пор сто лет прошло. Он предается мечтаниям вслух — как славно было бы переехать в Берлин, на что она с живостью откликается, это было бы замечательно, она бы ему все показала, театры, варьете, толкучку на Александерплатц, но есть и тихие уголки, ближе к окраинам, в Штеглице или на Мюггельзее, где город уже почти превращается в деревню. Кто бы мог подумать, вздыхает доктор. Поехать на море, а очутиться в Берлине. Ему сейчас очень хорошо вот так с ней сидеть. Ей тоже.

Мостки тем временем мало-помалу пустеют, скоро, наверно, уже полночь, лишь тут и там одинокие пары, спящие чай-

ки на дощатом настиле причала и где-то совсем вдалеке огни отеля. Поднялся легкий ветерок, доктор спрашивает, не холодно ли ей, может, ей пора домой, нет, она хочет еще побыть тут, пусть он расскажет о своей невесте и об этом жутком дне, если, конечно, это не одно и то же, на что доктор отвечает, да, в сущности, одно и то же.

Ночью она долго лежит без сна. Было около половины второго, когда доктор проводил ее до дома, а вскоре началась гроза, казалось, она бушует прямо над их крышей, между вспышками молний и ударами грома никаких промежутков. Почти весь лагерь проснулся, и Тиле в соседней кровати тоже, она, конечно же, тут же спрашивает, где Дора была? С ним встречалась? Дора отвечает: да, прогулялись немного, а теперь вон что началось. Они пережидают, пока гроза не уйдет, на улице заметно похолодало, Дора пошла распахнуть окно и заодно взглянуть на его балкон, но там темно.

Дождь не прекращается до утра, а потом и до вечера, доктор приходит лишь после обеда, но приходит, ибо это уже почти стало для него привычкой — сидеть у нее на кухне и ее расспрашивать, и запас вопросов у него неиссякаем. Ей по душе официальность его обращения на "вы", она знает, это лишь антураж, временный маскарад, который они однажды отбросят. Ведь она может ему сказать: "Я вспоминала о вас, сегодня за завтраком мы о вас говорили, вы все еще думаете о Берлине?" Она-то беспрестанно об этом думает. Иной раз ей приходится себя одергивать, настолько погружается она в эти мечты, в мыслях она уже приводила его к себе, в свою комнату на Мюнцштрассе, хотя ничего хорошего, даже водопровода, в этой комнате нет, в сущности, это просто жалкая каморка: койка, шкаф и окно на темный задний двор.

Она решила, что ему лет тридцать пять, значит, он старше ее лет на десять. Но он не здоров, он сам сказал, застудил себе верхушки легких, из-за этого и морской воздух, и этот пансион в лесу; не будь он уже столько лет болен, они бы не встретились.

Его рот, его губы, его слова, в которые она окунается, словно в ласковые волны. Прежде ни один мужчина так на нее не смотрел, он видит ее насквозь, видит ее плоть, видит, как под кожей все в ней трепещет, и ей от этого хорошо.

Однажды она очень счастлива — это когда он пересказывает ей свой сон. Во сне он едет в Берлин, уже много часов сидит в

поезде, но по непонятным причинам поезд тащится ужасно медленно, то и дело останавливаясь, он в отчаянии, уже ясно, что из расписания они безнадежно выбились, а ведь на вокзале его должны встречать в восемь вечера, но сейчас уже семь, а они еще даже не пересекли границу. Такой вот сон. Доре тоже иногда что-то похожее снилось, и главное в этом сне, как ей кажется, — это что его ждут. Ей лично, говорит она, было бы совсем нетрудно его дождаться: ну, села бы на скамейку и просидела бы полночи. Доктор спрашивает:

— Да, вы в самом деле так думаете?

До вчерашнего дня он церемонно обращался к ней "барышня", и ей это нравилось, но теперь он зовет ее просто Дора, а ведь Дора происходит от "дара", что ж, раз так, пусть принимает, она ждет.

Перевод романа Михаэля Кумпфмюллера на русский язык планируется к публикации в издательстве "Текст" при поддержке грантовой программы "Litrix.de" Немецкого культурного центра им. Гёте. Прочитать рецензию на книгу, а также получить более подробную информацию об авторе и ознакомиться с немецкоязычной версией публикуемого фрагмента вы можете на интернет-портале о современной немецкоязычной литературе www.litrix.de.

Марина Ефимова

К *200-летию американской "Войны 1812 года"*

Попросите русского и американца назвать страну, в истории которой была война, получившая название "Война 1812 года", чья территория во время этой войны была частично оккупирована, столица сожжена, но которая, тем не менее, закончила войну победоносно. Русский назовет Россию, американец — Америку, и оба будут правы. Еще сходство — под впечатлением от войны в обеих странах было написано по стихотворению: в России — "Бородино" Лермонтова, в Америке — "Звездное знамя" Фрэнсиса Ки, ставшее американским гимном.

На этом сходство кончается. Россия воевала с Наполеоном, Америка — с Англией, с колонистами Канады и с индейцами. И все два с лишним года война шла на ее территории. (По иронии судьбы, слова будущего американского гимна были положены на мелодию застольной английской песни).

18 июня 1812 года Соединенные Штаты объявили войну Англии, которая к тому времени уже больше десяти лет дралась с Наполеоном. Для объявления войны было несколько давно накопившихся причин и один повод — давний (1807 года) эпизод, но такой возмутительный, что американцы не могли его забыть. Читаем в книге Альберта Маррина "1812. Война без победителей":

Атлантика, побережье вблизи Виргинии. 22 июня 1807 года. Американский военный корабль "Чесапик" (один из семнадцати судов, из которых состоял тогда военный флот Соединенных Штатов) был остановлен у берегов Виргинии английским фрегатом "Леопард". От него пошла шлюпка. Капитан "Чесапика" ждал ее с тревогой: воюющая Англия отчаянно нуждалась в матросах, и, по сложившейся подлой практике, англичане останавливали и обыскивали американские торговые суда якобы на предмет ареста своих дезертиров, а на деле для принудительного рекрутства. Однако военные суда они пока не трогали — Америка была нейтральной страной. Британский молоденький офицер, заикаясь от волнения, передал требование своего капитана обыскать "Чесапик", на котором якобы служат четыре дезертира. Капитан "Чесапика" выполнить требование отказался. Через час "Леопард" открыл огонь из всех пушек. На "Чесапи-

© Марина Ефимова, 2012
Совместно с радио "Свобода"

ке" первым же залпом убило троих матросов и тяжело ранило восемнадцать. И его капитан спустил флаг в знак сдачи. Его судили за трусость.

Это — повод. О причинах войны — профессор Доналд Хики, автор книги "Война 1812 года. Забытый конфликт":

Англия, находившаяся в состоянии войны, поставила Америке условие — не торговать с Францией и ее союзниками, — что заметно подрывало американскую экономику. Кроме того, англичане активно поддерживали индейцев Севера, объединенных вождем племени шауни Текумешем (или Тэкумсэ, как его называли индейцы), и его воины начали нападать на фермы и истреблять поселенцев в районе Великих озер — тогдашнего фронтира. Ну и, конечно, политика англичан на море вызывала всеобщее возмущение. Понимая, что с семнадцатью кораблями "Королеву морей" не победить, американские стратеги решили атаковать английские войска в Канадских провинциях, полагая, что колонисты будут счастливы помочь им — чтобы избавиться от британского владычества. А захватив Канаду, они надеялись склонить Англию к прекращению морского разбоя[1].

Англия, уставшая от сражений с Наполеоном, была не очень готова к новой войне. Но как была не готова Америка!.. Регулярная армия насчитывала семь тысяч необстрелянных солдат. Милиция состояла из фермеров и охотников, которые приходили и уходили, когда хотели. Генералов — восемь на всю страну. Герои Революции, они постарели на тридцать лет. Одного из них, генерала Дирборна, даже прозвали Granny Dearborn — бабуля Дирборн. Кроме того, тогдашние стратеги не предвидели ни упрямой лояльности канадцев к Англии, ни того, что после первых же поражений американцев индейцы сделают окончательный выбор, и все племена Севера перейдут на сторону англичан. Первый год войны был годом сплошных поражений на канадской границе.

22 января 1813 года колонна кентуккских militiamen под командой шестидесятилетнего генерала Винчестера с трудом продвигалась по замерзшей реке Мауми на соединение со своими силами. Они шли на взятие форта Детройт, который бесславно сдался англичанам в августе. Ночью, в метель, колонна добралась до городка Фрэнчтауна у реки Рэйзин и расположилась на долгожданный ночлег. Винчестер был так рад укрыться от ледяного ветра, что забыл расставить посты. Под утро 23 января больше тысячи английских солдат и индейцев атаковали спящий лагерь. Канадский генерал Проктор был галантен по отношению к пленным и щедр по отношению к индейцам. Он оставил под их охраной всех раненых американцев. Винчестеру он сказал с улыбкой: "Индейцы — замечательные врачи". Индейцы поняли жест белого генерала по-своему: они сняли не-

1. Интервью, данное М. Ефимовой профессором Доналдом Хики (Wayne State College), 2012.

сколько дюжин скальпов и послали их ему в подарок[1].

Волна ужаса и гнева прокатилась по Америке. "Помни Рэйзин!" стало таким же кличем этой войны, как ста тридцатью годами позже — "Помни Перл-Харбор!"

Уже в начале второго года войны многим стало ясно, что план завоевания Канады провалился. На счету американцев были большие по тогдашним временам потери в людях, немалые потери пограничных территорий, отступающая армия и пустая казна. Однако война 1812 года была полна сюрпризов.

В феврале 1813 года двадцатисемилетний коммодор Оливер Перри получил приказ из Вашингтона — чрезвычайно короткий: "Немедленно отправляйтесь на верфи озера Эри. Постройте военную флотилию. Разбейте английский флот. Исполняйте".

Перри заехал домой попрощаться с матерью и с ее неохотного согласия забрал с собой триднадцатилетнего брата Алекса, который умолял взять его в поход. На верфи работа закипела. В окрестных лесах валили каштаны, белый дуб, сосну... Дерево, срубленное утром, к вчеру превращалось в мачту. Сам Перри носился по всему Северо-Востоку и покупал якоря, канаты, смолу, парусину... К осени 1813 года маленькая флотилия была готова. Но она оказалась запертой в гавани, блокированной флотилией британцев. Только на одну ночь английский адмирал Барклай снял блокаду — приняв приглашение канадцев на бал в его честь. И в эту ночь американцы выскользнули в озеро. Атаковать надо было сразу, пока Барклай не успел выстроить свою флотилию наилучшим образом. На рассвете Перри разделил свои корабли на две группы: впереди — он на фрегате "Лоуренс" и два корабля поменьше. Арьергардную группу вел лейтенант Эллиот на фрегате "Ниагара".

Вообще говоря, у Перри был перевес в огневой силе. На "Ниагаре" были особенно мощные орудия, но — только ближнего боя. И Перри решил атаковать, прикрывая "Лоуренсом" "Ниагару", пока она не подойдет на выстрел. Однако по неизвестной причине Эллиот отстал от Перри, и англичане начали разносить "Лоуренс" в щепки прежде, чем "Ниагара" смогла вступить в бой.

В один миг на "Лоуренсе" все пушки, кроме двух, были разбиты, мачты сломаны. Но Перри не терял спокойствия. Увидев наконец подходившую "Ниагару", он отдал приказ прекратить огонь. Замолчали и англичане, ожидая спуска флага на "Лоуренсе". В тишине Перри скомандовал спустить шлюпку, спрыгнул в нее и приказал матросам грести что есть сил. Англичане начали стрелять по шлюпке, но не очень метко, и за несколько минут Перри долетел до своего арьергарда. На "Ниагаре" Эллиот встретил его странным вопросом: "Как прошел день, сэр?" — "Плохо", — сказал Перри и повел "Ниагару" в

1. Albert Marrin. 1812. The War Nobody Won. — Atheneum Books, 1985.

атаку, маневрируя так, чтобы беспомощный "Лоуренс" заслонял ее от англичан. Дойдя почти без повреждений, он дал залп из всех пушек. Через 15 минут британский адмирал спустил флаг. Только после этого Перри бросился на подбитый "Лоуренс" искать Алекса. Оказалось, что мальчик, потрясенный всем увиденным, заснул в своем гамаке и проспал победу брата.

В тот же вечер Перри отправил по начальству рапорт — такой же короткий, каким был приказ: "Встретился с флотилией неприятеля. Она — наша". И — список кораблей.

Несколько неожиданных побед американцев на море еще не решили исхода войны. В апреле 1814 года Наполеон был побежден, Англия послала в Америку свежие силы, и 24 августа ее войска вошли в американскую столицу. Вашингтон горел не так, как Москва: он был сожжен частично, но намеренно — в отместку за городок Йорк в Канаде, сожженный рьяным американским генералом.

Утром 24 августа англичане были в нескольких милях от столицы, и город был пуст: бежали не только жители, но и охрана Белого дома, оставив без всякой защиты Долли Мэдисон — первую леди.

Вообще говоря, первая леди была не пара своему супругу — рафинированному интеллектуалу Джеймсу Мэдисону. Она любила наряды, балы и веселье. Но 24 августа 1814 года, оставшись одна в пустом Белом доме, Долли доказала, что достойна своего титула. После бегства охраны она, бросив все сборы, нашла в библиотеке и спрятала в своих вещах оригинал Декларации независимости и вынула из рамы портрет Джорджа Вашингтона работы художника Стюарта. И лишь после этого покинула Белый дом. Только благодаря ей две эти реликвии не стали британскими трофеями.

Второй целью англичан на постнаполеоновском этапе "Войны 1812 года" был порт Балтимор. 12 сентября 1814 года английский флот встал в заливе Чесапик напротив маленького форта "Мак-Генри", закрывавшего своими пушками подход к городу. К британскому флагману подплыл на лодке тщедушный американец, юрист и поэт-любитель Фрэнсис Ки, чтобы просить адмирала за друга, попавшего в плен. И сидя в лодке в зоне обстрела, этот тщедушный смельчак стал свидетелем знаменитой осады.

У англичан было самое разрушительное оружие по меркам 1814 года. Пушки с огромными ядрами, начиненными несколькими килограммами пороха. Именно от них холодели сердца жителей Балтимора. И за сутки на форт Мак-Генри были выпущены сотни таких ядер. Однако вмешалось множество обстоятельств: непробиваемые стены форта, стойкость гарнизона, недостаточная меткость англичан и... везение. Пожары в форте залил ливень. Одно ядро попало в пороховой погреб, еще минута и форт взлетел бы на воздух. А если бы пал форт, то, скорей всего, пал бы и город. Но именно это ядро не взорвалось. И вообще — в фор-

те за всю осаду погибло шесть человек[1].

Целые сутки жители города не отрывали глаз от огромного американского флага на башне форта. Пока он там — форт не капитулировал. Иногда его затягивало дымом. Но дым рассеивался, и флаг был на месте. В 4 часа утра 14 сентября пушки форта вдруг замолчали. Англичане продолжали обстрел еще три часа. В семь утра, после двадцати пяти часов обстрела, — тишина. Все вглядывались в дымную даль. И вдруг в просвете — флаг.

Со стен Балтимора раздались такие ликующие вопли, что они были слышны в заливе, и под эти крики британские корабли развернулись и ушли. А Фрэнсис Ки тут же, в лодке, начал писать: Oh, say, does the star-spangled banner yet wave?.. (Скажи, веет ли еще звездное знамя над землей свободных, над домом отважных?) Неловкость текста в том, что среди защитников Балтимора были и черные рабы. Но чей гимн не без греха?

В американской "Войне 1812 года" участвовали четыре силы: американцы, англичане, канадские колонисты и индейцы. О том, как все они оценивали эту войну, — профессор Хики:

Есть старое выражение о войне 1812 года: "Эта война всех удовлетворяет. Американцы довольны, потому что они *думают*, что они выиграли. Канадцы довольны — потому что они *знают*, что они выиграли. А счастливее всех англичане — потому что они эту войну абсолютно не помнят". И это верно, если не считать индейцев — единственных по-настоящему проигравших. У американцев в этой войне родились армия и военный флот, и было много ярких побед. Канадцы отстояли свою лояльность к Англии, лояльность, которая была через полвека награждена получением статуса доминиона. А для Англии это была война на задворках наполеоновских войн[1].

В новом юбилейном фильме телекомпании PBS о войне 1812 года выступил американский историк индейского происхождения, который сказал, что если бы их вождя Тэкумсэ не убили в одном из сражений в начале войны, то объединенные племена индейцев в содружестве с Англией могли бы совершенно изменить ход американской истории.

Нет, не думаю, — говорит об этом профессор Хики. — Тэкумсэ был великим индейским вождем, но объединение разных, часто враждующих племен не могло продержаться долго. Демографическое время северо-американских индейцев истекало. Тем или иным путем американцы взяли бы над ними верх — даже если бы Тэкумсэ не погиб. Сейчас мы, рассуждая с позиций современной нравственности, склонны приписывать гибель индейцев и исчезновение их образа жизни исклю-

1. Из документального телефильма 2004 г. "The War of 1812" (History Channel).

1. Здесь и далее отрывки из интервью Доналда Хики.

чительно жестокости тогдашнего американского общества. Никто уже не пытается поставить себя на место людей, которые жили тогда в Америке. Нам несравненно легче быть совестливыми и прозорливыми, чем тогдашним американцам.

Война 1812 года полна примеров отчаянной доблести и отчаянных нелепостей. И самой доблестной нелепостью была ее последняя битва.

Англия мечтала поскорей закончить войну, но ее стратеги, отбив Канаду, решили отбить у американцев еще и устье Миссисипи с Новым Орлеаном, отрезать таким образом Соединенные Штаты от Дальнего и даже Среднего Запада, и остальную часть континента сохранить в качестве английской колонии.

Новый Орлеан защищал сорокасемилетний генерал Эндрю Джексон (будущий президент) по прозвищу Старый Орешник — Old Hickory. Прибыв на место, он обнаружил, что город открыт для атаки — в окружавших его болотах проложено много каналов (*байу* на местном диалекте), по которым легко пройдут британские баржи с пехотой и амуницией. По приказу Джексона все эти каналы были завалены деревьями. Но один случайно пропустили...

Между тем Джексон готовил оборону. У него было мало солдат, поэтому он набирал защитников города буквально на улицах: франко-говорящих креолов *кейжунс*, рабов, индейцев и пиратов с Мексиканского залива (оказавшихся лучшими артиллеристами). Словом, народное ополчение. Платил он одинаково, как он говорил, "белым, черным, кофейным и чайным". Главной его силой были теннессийские и кентуккские охотники — такие дикие и грязные, что солдаты просили не ставить их с наветренной стороны. Зато они были снайперами и стреляли не из неуклюжих мушкетов, а из ружей.

Англичане довольно быстро обнаружили чистое *байу*, дошли до первой плантации, высадились, арестовали майора местной милиции Габриеля Гильера и заперли его в пустом доме. Но Гильер выбил окно и под пулями англичан нырнул в прибрежные заросли. Англичане его не преследовали, потому что боялись крокодилов, и Гильер успел предупредить Джексона.

Old Hickory умело выбрал оборонительную позицию между рекой и болотом — так что прорвать его оборону можно было только опасной лобовой атакой по пустому пространству высохшего болота. Его солдаты стояли в обманчиво открытом строю, но за ними был высокий земляной бруствер, а на нем восемь пушек — маленьких, но заряженных картечью.

Англичанами командовал сэр Эдвард Пакенхам. Его солдаты воевали с Наполеоном и были испытанными ветеранами, особенно знаменитый шотландский полк "Хайлендерс". Пакенхам был опытным генералом, но он высокомерно недооценил Джексона — не только его военный талант, но и личность командира. Он не знал, что ополченцы Джек-

сона больше боятся его, чем противника.

Англичане атаковали 8 января 1815 года. Картечь сразу нанесла значительный урон наступавшим, а когда англичане подбежали на выстрел, раздался условный сигнал Джексона – музыканты грянули "Янки-Дудл". По этому сигналу стрелки попрыгали за бруствер и начали стрелять под его прикрытием. Красные мундиры на открытом поле падали, как трава. Оставшиеся в живых повернули, было, назад. Не выдержав позора, Пакенхам на коне рванулся на поле и тут же был убит. Остались только хайлендеры – высоченные красавцы, как на подбор, они не привыкли сдаваться и рассчитывали на рукопашную... Но не добежали.

Один английский офицер в пылу битвы добежал до бруствера и вскочил на него. Он увидел десяток направленных на него ружей и мушкетов. Но никто не стрелял, и несколько пальцев указывали на что-то за его спиной. Офицер оглянулся и увидел, что за ним никого нет[1].

Зрелище разбросанных по полю сотен убитых и раненых вызвало у английских офицеров такой шок, что они собрали остатки сил и вернулись на корабли. В битве за Новый Орлеан англичане потеряли 386 убитыми, 1500 ранеными и 500 пленными. У американцев было убито 55 человек и ранено 185. Самым нелепым и трагичным в битве за Новый Орлеан было то, что эта битва произошла через две недели после заключения мира. Его подписали в Европе, в Генте, но средства связи-то были медленными.

Война 1812 года имела чрезвычайно важные последствия, – считает профессор Хики. – Она сформировала две нации: будущую Канаду и Америку. Она показала, что из "соединенных", но разрозненных американские штаты превратились в единую страну, которую ее жители готовы защищать и с которой надо считаться. Именно эта война определила будущую позицию Англии. Она никогда больше не строила планов относительно Америки и раз навсегда признала независимость Соединенных Штатов. Поэтому Войну 1812 года называют еще Второй войной за независимость. И мы, историки, надеемся, что в юбилейном 2012 году ее вспомнят и в Америке, и даже в Англии[1].

1. Albert Marrin. 1812. The War Nobody Won.

1. Из интервью Доналда Хики.

Александр Ливергант
Почетные гости

"Швейцария — почетный гость книжной выставки 'Нонфикшн' 2013 года", — торжественно объявили нам благую весть наши хозяева — сотрудники известного швейцарского фонда "Прогельвеция", что в переводе с латыни на русский означает "На пользу Швейцарии". До декабря 2013 года еще далеко, пока же "почетными гостями" "Прогельвеции" стали мы. Мы — это двенадцать московско-петербургских издателей, готовых — не без поддержки "На пользу Швейцарии" — издавать современных швейцарских авторов в переводе с немецкого, французского, итальянского и даже с экзотического ретороманского. Подвизается на этой "ниве" и "Иностранная литература". У журнала на швейцарском поприще немало заслуг: два специальных номера, посвященных современной швейцарской литературе, "Литературный гид" о швейцарском Кафке — Роберте Вальзере, а еще — немалое число швейцарских публикаций, щедро рассыпанных по нашим "регулярным" номерам.

О том, что Швейцария будет почетным гостем "Нонфикшн" в 2013 году, мы узнали сразу по прибытии, 1 июля. А гораздо раньше, еще в Москве, пришел по электронной почте тревожный сигнал, разосланный всем двенадцати издательским апостолам чудесной Александрой фон Аркс, сотрудницей отдела литературы и общества "Прогельвеции", не сводившей с нас глаз и водившей через улицу по "зебре", как детсадовцев. "В аэропорту не берите такси!" — предупреждала Александра. Мы, конечно же, не послушались: не ехать же из аэропорта на трамвае! И, конечно же, просчитались, а вернее, *недо*считались некоторого числа швейцарских франков — впрочем, возмещенных. Зато сразу же, еще в самолете, начали наслаждаться фирменными швейцарскими видами; трудно, право же, согласиться с князем Львом Николаевичем Мышкиным, признававшимся после возвращения из Швейцарии, что ему "всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз". Вовсе нет — и не тяжело, и не беспокойно. Куда беспокойнее было сначала следить за неумолимо бегущими цифрами на счетчике таксиста, а потом — прикидывать, как бы совместить несовместимое: встречу с гостеприимными хозяевами, возглавляемыми безупречной во всех отношениях Ангеликой Салвисберг, и другую

© Александр Ливергант, 2012

встречу, футбольную, – Испании и Италии в финале польско-украинского чемпионата Европы.

Первая встреча, как ей и полагалось, была светски-ресторанной, а вот вторая, в "Литературном доме" Цюриха, где в начале прошлого века – очень возможно, сидя за соседними столами, – изучали европейские газеты подслеповатый мэтр европейского модернизма Джеймс Джойс и остроглазый "мэтр" русской революции Владимир Ульянов (Ленин), – уже вполне деловой. До 1897 года в "Литературный дом" женщины не допускались (как не допускались они и до выборов еще три четверти века), зато теперь здесь женское царство. К Ангелике Салвисберг и Александре, переводившей дух: довела, слава Богу, свою неуправляемую паству от дверей отеля до дверей офиса "Прогельвеции", присоединилась энергичная директриса "Литературхауса" со своими не менее энергичными сотрудницами. Экскурсия по "Литдому" была короткой, но информативной и впечатляющей: здесь к вашим услугам любой журнал и газета за любой год, плюс справочные издания, плюс компьютеры, плюс несказанный уют, плюс мертвая тишина, со времен Джойса–Ленина ненарушимая.

Впечатляющими были и выступления обозревателя авторитетной "Нойе цюрихер цайтунг" Мартина Цингга и президента Ассоциации швейцарских немецкоязычных писателей и книгопродавцев Дани Ландолфа. Впечатляющими по числу фактов, проблем, парадоксов, литературных и не литературных курьезов. Имеют курьезы место, оказывается, и в Швейцарии, что, впрочем, вообще свойственно стране консервативной, почитающей традиции; Швейцария же страна суперконсервативная – Англия отдыхает.

В первые два дня нашего пребывания в Цюрихе мы узнали про Швейцарию и швейцарскую литературу больше, чем за всю предыдущую жизнь.

Оказывается, швейцарцы имеют обыкновение сначала надолго забывать своих классиков, зато потом до скончания века их превозносят; так было с Робертом Вальзером и с Готфридом Келлером. Оказывается, славная, хотя, признаться, и несколько утомительная, традиция литературных чтений родилась не где-нибудь, а в Швейцарии. "Устная литература" здесь не менее почетна, чем в Германии или у нас "устная история" – "oral history" по-нашему. Оказывается, Швейцария – страна эмиграции; тоже ведь парадокс: официально обездоленных из стран третьего мира и Центральной Европы не принимает, а те все равно "понаехали"; попробуй-ка высели, поэтому "конфронтация двух культур" едва ли не самая животрепещущая тема местной литературы. Оказывается, знакомство с современной русской литературой привычным триумвиратом "Толстой–Достоевский–Чехов" не ограничивается; знают здесь и Бунина с Гончаровым (только что вышел новый, прямо из печки, перевод "Обломова") и Викторию Токареву, и здеш-

него кумира Михаила Шишкина. Ну и, естественно, Б. Акунина: Фандорин красуется на прилавках книжных лавок и с "n" на конце – на немецком севере, и с "ne" – на французском юге. Кстати, о немецком севере и французском юге. Немецкоязычная Швейцария ориентируется на немецкий книжный рынок примерно так же, как англоязычный рынок Канады – на США; немецкоязычным авторам и издателям на книжном рынке Германии живется куда вольготнее, чем франкоязычным – во Франции; французская фанаберия дает себя знать и в издательском бизнесе тоже.

В отличие от Цингга, Дани Ландолф говорил с нами главным образом на языке цифр и тоже преподнес немало сюрпризов. Оказывается, франкоязычный книжный рынок занимает всего-то 25 % книжного рынка страны, а немецкоязычный – целых 65. Всеобщее же число, как выражаются профессионалы, "титулов" впечатляет не слишком – 8200 в год. Оказывается, швейцарский книжный рынок составляет лишь 5 % немецкого. Зато число книжных магазинов (и каких! От витрины не отойдешь) больше пятисот – и это только на немецком севере страны, где проживает чуть больше шести миллионов. Оказывается, треть всех швейцарских издательств пользуется услугами всего одного (!), от силы двух-трех, человека (что, кстати сказать, верное свидетельство негромкого, но надежного, устойчивого книгоиздательского процесса). Настоящей, вроде нашего "ЭКСМО" (где ты теперь, "АСТ"?), акулой книжного бизнеса является, по существу, только цюрихский "Диоген". У "Диогена" и немалый книгоиздательский стаж (60 лет), и солидные, не в пример большинству других издательств, тиражи, и патологическая тяга к белым обложкам, и не менее патологическая – к нашему соотечественнику Андрею Куркову.

В высшей степени информативен был и франкоязычный коллега Дани Ландолфа президент издателей и книгопродавцев Женевы и Лозанны Жак Шерер. В отличие от Ландолфа, Шерер, человек рассудительный и обстоятельный, "ударился в историю". Долго и небезынтересно рассказывал нам о кальвинистской реформе в Женеве, удачно совпавшей по времени с книгопечатанием. Превозносил друга Кокто и Апполинера, швейцарского классика Блеза Сандрара, который, кстати сказать, в 20-е годы путешествовал по России. Говорил о важности для французских кантонов таких книжных клубов, как "Гутенберг" или "Встреча". Сообщил, что во французской Швейцарии, в отличие от Швейцарии немецкой, такого понятия, как роман, еще совсем недавно не было и в помине, как не было до конца 60-х годов издателей, подвизающихся на ниве художественной литературы. Жаловался, что швейцарцы не создают больших социальных полотен, что во французской Швейцарии издательский рынок очень мал: на полтора миллиона населения всего-то

2200 книг. Щедро сыпал, как и Ландолф, цифрами — всех и не упомнишь...

Не гнушалась цифрами и Ангелика. Из ее пространного сообщения мы вынесли, что "Прогельвеция" создана больше семидесяти лет назад, в 1939 году. Что годовой бюджет фонда 39 миллионов франков. Что работают в фонде 62 человека. Что ежегодно в фонд поступают 3000 заявок, из них 800 — литературных. Что в переводческом доме в Лорене двенадцать "посадочных мест" (кто был, говорят — рай на земле). Что... впрочем, читателю эта статистика наверняка несколько уже наскучила.

Чтобы завершить деловую часть очерка, скажем лишь, что наиболее частыми словами в выступлениях как работников фонда, так авторов и издателей, были "грант" и "субсидия". Почти все швейцарские авторы, пишущие по-немецки и по-французски, по-итальянски и по-ретороманski, практичные и не очень, талантливые и не очень — дети капитана "гранта". Их лозунг такой же, как в свое время у Шкловского: зарабатывать не *литературой*, а *на литературу*. А поскольку заработать литературой нереально, а на литературу — очень даже, швейцарские авторы и издатели пребывают, как правило, в неплохом настроении. "Книжное дело в Швейцарии — дело вашего сердца", — подытожил, расчувствовавшись, Томас Крамер, издатель и автор книг по изобразительному дизайну и архитектуре.

Радужное настроение было и у российских издателей, хотя большинство из нас, если честно, большой разницы в заработке литературой и на литературу не усматривают. Как говорится в старом анекдоте, "оба плохо". В самом деле, отчего было нам не радоваться? Красивая, благополучная страна, спокойный, достойный, умиротворенный — особенно в сравнении со взбалмошной, истеричной Москвой — Цюрих. Небольшая, уютная, изящная (Франция рядом) Лозанна. Замечательный цюрихский музей живописи: и Ван-Гог тебе, и Мемлинг, и Мунк, и Ходдлер, и Арнольд Бёклин: хорош, оказывается, вовсе не только "Остров мертвых". Замечательные, как уже говорилось, книжные магазины; особенно поражают воображение книги по искусству — полиграфическая техника и вкус в девяноста девяти случаев из ста безупречные. Гостеприимные хозяева, не знающие как и угодить. Не угодили, пожалуй, только один раз, когда в последний день нашего пребывания отрядили немолодого скорохода, который часа два таскал нас по "литературному Цюриху". Ходил семимильными шагами, рассказывал мало и сбивчиво, зато, останавливаясь перед домами, где жил Готфрид Келлер (или Канетти, или Джойс, или Макс Фриш), доставал гроссбух и вычитывал оттуда длиннейшие цитаты "на тему". За эти два часа швейцарская литература ближе нам не стала.

При перечислении цюрихских достоинств чуть не забыл про фрески Шагала в одной из церквей в центре города. С фресками, впрочем, получил-

ся некоторый конфуз. Мы увидели их с порога, в центральном нефе, и тут же бросились их разглядывать, не услышав торжественные аккорды органа, не обратив внимание, что церковь, и это в середине рабочего дня, полна, и прихожане все как один в черном. Сообразили же мы в чем дело, только когда служитель догнал нас и вежливо поинтересовался, кем мы приходимся покойному.

И вот здесь самое, по-моему, время перейти с ноты мажорной на минорную, а если конкретно — на кладбищенскую.

Жители больших городов имеют обыкновение преувеличивать время, которое требуется, чтобы добраться пешком из точки А в точку Б — каждодневное пользование машиной и общественным транспортом, отсутствие привычки ходить сказываются. Вот и "девушка-на-ресепшн" в нашем небольшом уютном цюрихском отеле, когда я задал ей вопрос, далеко ли от центра кладбище, где похоронен Джеймс Джойс, ткнула, сверившись с компьютером, в самый край городской карты и объявила: "Это далеко, час на трамвае". Узнав же, что безумный постоялец намеревается добираться до кладбища пешком, окинула меня скорбно-недоверчивым взглядом и приговорила к трем часам быстрой ходьбы — "никак не меньше".

В три часа я, конечно, не поверил — не до Братеева же мне идти, но к полутора психологически подготовился. И зря: несмотря на медленный шаг и частые остановки для подслеповатого, тревожного подглядыванья в карту, где возле главного городского погоста Зинфельд стояла размашистая галочка, на дорогу ушло минут сорок — "никак не больше".

Не успел я преодолеть и половины самой длинной (и самой унылой) в Цюрихе Боденерштрассе, как карта велела свернуть на узенькую, на удивление симпатичную, улочку, которая плохо вязалась с угрюмым, бедноватым районом и называлась "Кипарисовая" — хотя ни одного кипариса на ней не было. Кипарисовая и привела меня к безбрежной усыпальнице, одинаково уютной и для мертвых, и для живых: издали, пока за деревьями не показались надгробия, Зинфельд смотрелся регулярным парком.

Не первой молодости, волоокая, крупная дама с меланхоличным взглядом (времена веселых шекспировских могильщиков давно позади), сидевшая в большой комнате с табличкой "Buero", внимательно выслушала мой вопрос. Выслушала и смерила меня каким-то печальным взглядом ("Оставь надежду всяк сюда входящий"), который я объяснил дефектом своей немецкой речи. А между тем фразу: "Простите, вы не скажете, где здесь находится могила ирландского писателя Джеймса Джойса", которой, понятное дело, не найти ни в одном туристическом справочнике, я неблизкой дорогой отшлифовал до немеркнущего блеска. Но мой далекий от безукоризненного немецкий на этот раз был ни при чем. И

стало это ясно уже через несколько секунд, после того как волоокая владычица цюрихского некрополя, воззрившись в компьютер и нажав кнопку принтера, поведала мне горькую правду.

Ну, конечно же, такой насмешник, как Джойс, не мог и после смерти отказать себе в удовольствии поиздеваться над своим почитателем и переводчиком. Так вот, кладбищенский компьютер засвидетельствовал, что покоится классик вовсе не на главном городском погосте на западе Цюриха, а на небольшом кладбище Флунтерн, в противоположном конце города, неподалеку от знаменитого зоопарка и не слишком знаменитого университета. Дальше история повторилась: директриса Зинфельда, как и "девушка-на-ресепшн", не поверила своим ушам: неужели и это расстояние я готов преодолеть zu Fuss? Искренне за мою психику испугавшись, она предприняла слабую попытку отговорить меня тем, что Флунтерн не только очень далеко, но и очень *высоко*, о чем недвусмысленно свидетельствовало название одной из ведущих туда улиц: Zürichbergstrasse — Улица Цюрихской горы.

Но тягаться немолодой, сердобольной швейцарке с упрямым, молодым (в душе) российским джойсоведом было, естественно, не по силам. И марафон продолжился. Избавлю читателя от описания медленного, но упорного восхождения на вершину Цюрихской горы. В конце концов, спустя еще пару часов, подъем был взят, и вспотевший альпинист с картой оставшегося далеко внизу Цюриха в одной руке и распечатанным на цветном принтере планом Флунтерна, в другой, приблизился, тяжело дыша, к "месту своего назначения". Каковое, будь подъем чуть круче, мог бы стать местом назначения в самом прямом — и высшем — смысле слова.

Место назначения представляло собой самую обыкновенную, чтобы не сказать невзрачную, серую каменную плиту с выбитыми на ней именами Джеймса Джойса, его жены Норы Барнакл и Джорджа Джойса — и совершенно необыкновенный, во всяком случае, по кладбищенским меркам, стоявший чуть поодаль памятник писателю.

Ничего легкомысленнее нельзя было придумать. Джойс сидит — и даже не сидит, а както по-хлестаковски присел на скамеечку, развязно закинув ногу на ногу. В откинутой руке он не без кокетства, с некоторым, я бы сказал, вызовом держит раскрытую книгу — так модница держала бы зеркальце; зеркальце, но никак не источник знания. К губе автора "Улисса" приклеилась сигарета, на голове красовался чаплинский котелок, к ноге прислонилась чаплинская же тросточка. Издали и впрямь вылитый Чаплин, а не столп европейского модернизма. "Ну что? — казалось, обронил мне столп, затягиваясь сигареткой. — Здорово я тебя разыграл?"

Неподалеку от Джойса, собственно, в соседней могиле, покоится тоже писатель, нобелевский, в отличие от Джойса, лауреат Элиас Канетти, чей

надгробный камень, как и памятник Джойсу, вид имеет довольно беззаботный — в основном из-за выбитой на нем размашистой, лихой, трудно читаемой (отчасти потому, что стертой) подписи великого австрийца.

И вот, стоя между видными литературными авторитетами эпохи, я вспомнил, как с год назад, находясь километрах в двухстах к юго-западу от Флунтерна, я остановился тоже перед памятником, и тоже писателю. Правда, стоял памятник не на кладбище, а на лужайке между затянутым мартовским туманом Женевским озером и солидным отелем начала века в стиле "модерн". Тогда, как и теперь, меня поразила беспечная поза этого выплавленного из меди писателя. Поза — не лицо. Среди таких же, как и он, выставленных на лужайке медных скульптур, принадлежащих известным джазистам и поп-певцам (которых он, к слову, не жаловал — а кого он жаловал?), писатель этот смотрелся белой вороной. Медные головы Эллы Фицджералд и других мастеров джаза весело, беззаботно улыбались; в напряженном же, презрительно-задумчивом писательском лице, в повороте головы, в глазах, пытливо, неодобрительно взирающих на вас из-под очков, ровным счетом ничего беспечного не было.

Да, памятник Владимиру Набокову перед отелем "Монтрё Палас", где он прожил последние восемнадцать лет, имеет с джойсовским немало общего. Набоков сидит, отвернувшись от джазистов, в расслабленной позе, залихватски, как и Джойс, закинув ногу на ногу. И не просто закинув, а свив ноги узлом — говорят, автор "Лолиты" и при жизни любил так сидеть, когда, раскачиваясь на стуле, играл в шахматы. Он и здесь, как и автор "Улисса" на цюрихском кладбище, словно раскачивается на стуле.

Вот и подумалось: два совершенно разных скульптора, с разницей в полвека, не сговариваясь, уловили в Джойсе и Набокове что-то очень важное. Важное и общее, сближающее этих великих литературных и национальных изгоев. И тот и другой сверх серьезно, можно даже сказать маниакально, относились к своему литературному поприщу, ощущали тяжкое бремя и ответственность гениальности. И насмешливо, несерьезно, словно бы свысока — к своей нелегкой изгнаннической судьбе. Ни тот ни другой никогда не жаловались на судьбу при жизни. Не жалуются, похоже, и после смерти.

Эдуард Шульман

Превозмогая обожанье: искажения и переделки

Начнем с Гаспарова[1]:

...в середине 1930-х гг. ... произошел важный перелом. Тот стиль переводов, который держался приблизительно с начала века, заклеймен как БУКВАЛИСТСКИЙ [выделено мной. — *Э. Ш.*], и взамен выдвинулся новый стиль, обычно называемый ТВОРЧЕСКИМ. Грубо говоря, БУКВАЛИСТСКИЙ перевод насилует традиции своей литературы в угоду подлиннику, а ТВОРЧЕСКИЙ... насилует подлинник в угоду традициям своей литературы... ...чередование этих стилей так же неизбежно, как чередование шагов правой и левой ногой.

<...>

...какого бы поэта ни переводил Маршак, этот поэт прежде всего терял черты своего времени и становился "поэтом для вечности".

Шекспир из пышного и буйного становился степенным и мудрым. Веселая мужиковатость Бёрнса твердой рукой вводится в границы литературного благообразия. Блейк перестает быть экстатическим чудаком и делается сдержан и вдумчив. Английские народные баллады теряют все приметы фольклорного стиля — и простоту синтаксиса, и постоянные эпитеты, и бытовые реалии — и становятся подобны балладам Жуковского.

Тональность Гаспарова вроде бы осудительная. Тогда как словесно, по логике, Маршак оправдан:

Стиль БУКВАЛИСТСКИЙ рассчитан прежде всего на узкий круг ценителей, знакомых с подлинником, стиль ТВОРЧЕСКИЙ рассчитан на широкую массу читателей... Об этих массовых читателях и думал Маршак...

Выкатывается на позиции и бьет прямою наводкой "тяжелая артиллерия" — привлекается классик (В. Белинский), что пуляет "по площадям" в терминологическом тумане:

© Эдуард Шульман, 2012

1. Михаил Гаспаров. О русской поэзии. Маршак и время. — СПб.: Азбука, 2001.

Если бы искажение Шекспира было единственным средством для ознакомления его с нашей публикой — и в таком случае не для чего было церемониться; искажайте смело, лишь бы успех оправдал ваше намерение: когда две, три и даже одна пьеса Шекспира, хотя бы искаженная вами, упрочила бы в публике авторитет Шекспира... вы сделали великое дело, и ваше искажение или переделка в тысячу раз достойнее уважения, нежели самый верный и добросовестный перевод...

Иными словами: ПОДСТРОЧНИК... ВОЛЬНОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ... ПЕРЕПЕВ ПО МОТИВАМ... — да делайте, что угодно, лишь бы произведение было ЖИВЫМ.

Таков завет любого поэта (и прозаика, и драматурга):

> Но быть живым, живым и только,
> Живым и только до конца.

Гаспаров не превозносит "золотую середину", не ратует за "божественную пропорцию", ибо соединение БУКВАЛИСТСКОГО и ТВОРЧЕСКОГО доступно богам, а людям — редко и в редкие моменты. "Поэтический перевод, — говорит Чуковский, — в принципе невозможен. Всякий раз — исключение".

Надежда единственно на "авось" — на Божий дух, что "веет, где хочет".

Простейший пример — Набоков "Poems & Problems".

По-русски — "Стихи и Шахматные задачи".

Смысл передан. Правда, не абсолютно. Потому что жизнь — в ритме и звуке. Два двусложных слова с ударением на переднее О + двойное начальное *P* и конечное *S*.

Или несколько абзацев нобелеата J. M. Coetzee.

Из романа, заглавие которого — "Master of Petersburg" — буквально непереводимо. И отсылает нас, кроме прочего (возможно, я ошибаюсь), к Булгакову.

Там — "Мастер и Маргарита", тут — "Мастер и Петербург":

October, 1869. A droshky passes slowly down a street in the Haymarket district of St Petersburg. Before a tall tenement building the driver reins in his horse.

His passenger regards the building dubiously. 'Are you sure this is the place?' he asks.

' Sixty-three Svechnoi Street, that's what you said.'

The passenger steps out. He is a man in late middle age, bearded and stooped, with a high forehead and heavy eyebrows that lend him an air of sober self-absorption. He wears a dark suit of somewhat démodé cut.

'Wait for me,' he tells the driver.

Воспользуемся переводом (с незначительными модификациями) Сергея Ильина[1]:

Октябрь 1869 года. По петербургской улице, невдалеке от Сенного рынка, медленно едут дрожки. Перед высоким доходным домом извозчик натягивает вожжи.

Господин в дрожках сомневается.

— Ты уверен, что здесь?

— Шестьдесят третий нумер по Свечной, как приказывали-с.

Господин соступает на мостовую. Бородатый, сутулый. На исходе средних лет. Высокий лоб и густые брови. Выражение спокойное, сосредоточенное... Темный сюртук несколько старомодного покроя.

— Подожди меня, — роняет извозчику.

Дж. М. Кутзее *Осень в Петербурге*

Переводчик стилизует позапрошлый век (*нумер*, "как приказывали-с"), и авторский *driver* (по Утесову — "водитель кобылы") становится ИЗВОЗЧИКОМ.

Между тем "извозчик" (воспользуемся Интернетом):

1) (кучер) *carrier*; (легковой) *cabman*, *cabby* разг.; (ломовой) *drayman*, *carter*, *waggoner*;

2) (экипаж с кучером) *cab*; ехать на извозчике — *go in a cab*, *take a cab*; ругаться как извозчик — *swear like a trooper*.

Повествователь, видите ли, — наш современник, и оттого экзотическими "дрожками" (*droshky*) правит шофер (*driver*).

Автор-нобеленосец, словно репортер, засланный в русский XIX век, фиксирует окружающее "на глазок" посредством мобильного телефона. История перетекает в вечность, изливаясь (излагаясь) как газетный отчет — настоящим временем, звенящей инговой формой.

Но переводчик, повторяю, стилизует, то есть меняет авторский стиль, и "steps out" получается "*соступает*" (по Далю — "*соступить* с крыльца").

Допустим, и впрямь: буквализм — меньшее зло...

Да беда в том, что, хочешь не хочешь, а самый *разъЯрый*, *разъЯренный*, *разъярЁнный* буквалист вынужден сочинять.

У Шукшина есть рассказ, как отец, председатель колхоза, навещает сына, студента. И тот, будущий актер, выдает товар лицом, демонстрирует, чему научился, — в точности копирует отцову походку.

1. "ИЛ", 1999, № 1.

– Здорово! – растроган отец. – Ловко!

– Нет, – говорит сын. – Тут только ты. А надо, чтоб оба: и ты был, и я.

Как раз двойное присутствие – переводящего и переводимого – и есть Божественная пропорция.

Божественный альянс,
Божественный баланс...
Не то чтоб мезальянс,
Но вроде бы романс.
А может быть, сеанс,
А может быть, нюанс,
Но лучше бы – аванс,
Курьерский дилижанс...

Куда ж нам ехать-плыть?

Причаливаем к Гаспарову:

Кто из поэтов, переводимых Маршаком, удался ему лучше? ...не Шекспир, и не Бернс, и не Блейк, а Джон Китс и, если угодно, Вордсворт. Потому что романтики менее всего богаты приметами времени....если кто из английских поэтов ближе всего подходил к тому стилю Владимира Ленского, который вносил Маршак в свои переводы, то это был Джон Китс.

От Владимира Ленского остался, коли не вру, короткий отрывок. Пушкин *заковычил* и *откомментировал*:

Так он писал *темно* и *вяло*...

А что писал – поют по всему миру с 1879 года (премьера – 17 марта).

Вот вам "темно и вяло"!

Ленский – самый распространенный писательско-актерский псевдоним в позапрошлом и в начале прошлого века (включая Ленина).

Ну и распахнем пушкинские кавычки:

Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,

Иль мимо пролетит она,
Всё благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!

Похоже, тезис Гаспарова подтверждается: *автор теряет черты своего времени и превращается в "поэта для вечности"*. Никакой, простите, современности (разве что модная поэтика).

Сравните с Маршаком-Китсом:

Кузнечик и сверчок

Вовеки не замрет, не прекратится
Поэзия земли. Когда в листве,
От зноя ослабев, умолкнут птицы,
Мы слышим голос в скошенной траве
Кузнечика. Спешит он насладиться
Своим участьем в летнем торжестве,
То зазвенит, то снова притаится
И помолчит минуту или две.

Поэзия земли не знает смерти.
Пришла зима. В полях метет метель,
Но вы покою мертвому не верьте.
Трещит сверчок, забившись где-то в щель,

И в ласковом тепле нагретых печек
Нам кажется: в траве звенит кузнечик.

Теперь послушайте, как ликует (воркует, трепещет, заливается...) *объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья* Борис Леонидович Пастернак. Из второй сонетной строфы доносится голос восторженного землянина, нашего общего вселенского соседа – абсолютно реального – моего и вашего:

Кузнечик, вот виновник тех мелодий.
Певун и лодырь, потерявший стыд,
Пока и сам, по горло пеньем сыт,
Не свалится в последнем хороводе.

На просторечного "лодыря" сердится даже компьютер – зеленеет от злости, взрываясь зеленой гофрированной каймой. Впрочем, при нашей личной технической бездарности нет смысла разбирать виртуальные доводы...

Первый шаг творчества – у некоторых – ПОДРАЖАНИЕ. Ему предшествует *всехняя* рифма – ОБОЖАНИЕ.

Пастернак, март 1941-го:

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

Через пятнадцать лет:

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

Обожание, понимаете, не способствует наблюдению – слезою застит взор, перехватывает дыхание. Необходимо преодолеть. Растворить в крови, в желудочном соке. Гнать пищеварительным трактом, не допуская выделения...

Тогда промываются мозги и открываются глаза:

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

Давид Самойлов, *1961*

Много лет спустя в "Подённых тетрадях" отыскали мы заметку Давида Самуиловича Самойлова, которая (заметка) обернулась вдруг "коротышкой" под произвольным титулом:

Поэтический толмач

Итальянское "переводчик" рифмуется с "изменник". Хуже – убивцы.

26.02.81

Примечание:
переводчик – traduttore,
изменник – traditore.
Поздняя сноска:
Давид Самойлов – славнейший советский traduttore.
И traditore.

Изменяя себе, поэт убивает себя.

Но верность себе убивает тоже. *Чем случайней, тем вернее.* Значит – наверняка.

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

Поэт-переводчик:
а) изменяет себе и обожаемому переводимому автору;
б) убивает себя и обожаемого переводимого автора.

Мандельштам сказал Пастернаку: "Ваше полное собрание будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома... ваших собственных стихотворений".

"Заставить Мандельштама переводить было почти невозможно".

Анна Ахматова *Листки из дневника*

Пока ОБОЖАНИЕ владеет душой, ПОДРАЖАНИЕ водит рукой.

Хотим слово за словом перенести произведение в нежных ладонях. Возвести, как в песне, "по кирпичику" новый дом – один к одному старый.

"Я строю на песке", – говорит знаменитый поэт.

А другой, не знаменитый:

Песок и песня,
Песня и песок
Не разлучаемы,
Как пуля и висок.

Голубая мечта: кровно породниться с чужим языком. Чтобы по-нашему — как по-ихнему. Слово в слово. Буква в букву. Точка в точку. Тик в тик. Чик в чик. Чок в чок...

И долгий синонимический ряд вплоть до "тютелька в тютельку".

Этимологически — в смысле "тютелька" — *чего-то рукодельного*[1]. Как песенная казачка: *чего-то винного поставила на стол.*

Лексически — по части "тютельки" — пустота:

в таких-то английских словарях — нет;
в таких-то французских словарях — нет;
в таких-то немецких — нет;
в таком-то итальянском — нет...

А мы шпарим взахлеб, подстрекаемые ОБОЖАНИЕМ, воспаряя, ровно на облаке или ковре-самолете, — инспектируем синонимический ряд:

впору, дословно, буквально,
как раз, в аккурат, текстуально,
как по заказу, влитой,
самое то, *родной.*
ровным счетом,
копейка в копейку,
ни больше ни меньше,
по мерке и
целЯком...[2]

Никакой Набоков нам не указ. Дескать, в жилах английской литературы течёт кровь Шекспира.

У французов — латынь, "Неистовый Роланд" и "Человеческая комедия".

У итальянцев — опять же латынь и "Божественная комедия".

У немцев — *Нибелунги*, Лютер и Гёте.

1. Букв.: тютя (*диал.*) — удар топором, попадание, имеется в виду точное попадание в одно и то же место. (*Прим. ред.*)
2. Диалектическое целЯком — целиком (вследствие так называемого яканья) — словарь русских синонимов. (*Прим. ред.*)

Наша кровь – Пушкин.

Буря и Натиск – фонетически – не *Sturm und Drang*. Весна – не *Primavera*. И NEVERMORE будет по-нашему ВОРОН, потому что "никогда" – печальное девичье "до свиданья", нежное и тоскливое. Льется, ластится, любит. Полнится и поется славянскими пушкинскими гласными: А-Е-А...

Не воющее О,
А ахнувшее А.
Не нужно нам окно,
Поскольку мы – вода.

Что "никогда", что "до свиданья", не в состоянии – без рёва и рокота Р – хотя бы разок КАРКНУТЬ.

Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
а для меня распался и потек.

Борис Слуцкий

ОБОЖАНИЕ – не просто оболочка. Под сугубым напором диффузии, конфузии и *контузии* – эфирное, эфемерное – проникает на глубину, выявляя (при определенных условиях) телесную сущность.

В лесоповальном климате, в горячем цеху КПК (кузнечно-прессовом корпусе), на участке паровых молотов, в страду и путину образуется тайный орган, не подвластный ни *лазарям*, ни *узям* (лазерному просвечиванию и УЗИ) – некий тугой комок, полученный опытным путем в лаборатории *Тыка* и *Ляпа*, в процессе многократной возгонки-перегонки воздушной субстанции (субтильной, нематериальной души) по лагерному методу Николая Алексеевича Заболоцкого:

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Так испаряется (адсорбируется) первоначальное ОБОЖАНИЕ и сухим концентрированным остатком физически оседает в крови – не выделяемый химически компонент.

"Сейчас такие времена, – говорил Бабель, – что душу нужно осаживать".

Вот два перевода с польского одного стихотворения Болеслава Лесьмяна:

Вечером

1

Тьма сгустилась, туман над землею плывет,
Даль потерянно встала у самых ворот;
Ветер с крыши скользнул, прошумел в кроне ив...
Иль во мне зазвучал? И сквозь этот мотив
Месяц всплывает над бором.

Заглянул на подворье сквозь ветви берез, —
Осветились колодец, оставленный воз,
Между спиц колеса и раскиданных слег
Дух-скиталец стал виден: забрел на ночлег
По вечерним просторам.

Стекла окон моих, заглядевшихся в пруд,
Среди трав отсыревших свет тлеющий льют.
Вереск вянет в ладонях, он мертвен и сух.
Мое имя так странно разносится вслух
По вечерним просторам.

Днем по золоту нивы брела моя тень,
А теперь стережет пустоту этих стен.
Стекла окон закрыты лохмотьями тьмы...
Пруд серебряный видит иначе, чем мы:
Месяц всплывает над бором.

Перевод с польского
Людмилы Рогожевой

2

Холодеет земля, надвигается мгла,
Заплутавшая даль до ворот добрела...
Где-то ветер в бору отпевает зарю, —
Или в сердце поет? — и сквозь пенье смотрю,
Как луна встает за горою.

На подворье среди потемневших берез
Проступает колодец и брошенный воз,

У блеснувших колес на обочину лег
Неприкаянный дух, не нашедший дорог
Этой темной поздней порою.

Под окном, заглядевшимся в око пруда,
На промокшей траве догорает звезда.
Мертвый вереск у ног — как сухое жнивье.
И так дивно мне вымолвить имя свое
Этой темной поздней порою!..

Только тень моя, днем исходившая луг,
Пустоту моих стен заполняет вокруг
Да серебряный круг выступает из тьмы:
Это пруд увидал — по-иному, чем мы, —
Как луна встает за горою...

Перевод с польского
Анатолия Гелескула

На мой глаз, на мое ухо: у Людмилы Леоновны Рогожевой — больше Лесьмяна, у Анатолия Михайловича Гелескула — больше поэзии.

Напоследок — еще один текст в переводе и переложении:

Wolfgang Borchert

D*er Schrifsteller*

Der Schriftsteller muss dem Haus, an dem alle bauen, den Namen geben. Auch den verschiedenen Raeumen. Er muss das Krankenzimmer "Das traurige Zimmer" nennen, die Dachkammer "Das windige" und den Keller "Das duesterte". Er darf den Keller nicht "Das schoene Zimmer" nennen.

Wenn man ihm keinen Bleistift gibt, muss er verzweifeln vor Qual. Er muss versuchen, mit dem Loeffelstiel an die Wandt zu ritzen. Wie im Gefaengnis: Dies ist ein haessliches Loch. Wenn er das nicht tut in seiner Not, ist er nicht echt. Man sollte ihn zu den Strassenkehrern schicken.

Wenn man seine Briefe in anderen Haeusern liest, muss man wissen: Aha. Ja. So also sind sie ib jenem Haus. Es ist egal, ob er gross oder klein schreibt. Aber er muss leserlich schreiben. Er darf in dem Haus die Dachkammer bewohnen. Dort hat man die tollsten Aussichten. Toll, das ist schoen und

grausig. Es ist einsam da oben. Und es ist da am kaeltesten und am heissesten.

Wenn der Steinhauer Wilhelm Schroeder den Schriftsteller in der Dachkammer besucht, kann ihm vomoeglich schwindelig werden. Darauf darf der Schriftsteller keine Ruecksicht nehmen. Herr Schroeder muss sich an die Hoehe gewoehnen. Sie wird ihm guttun.

Nachts darf der Schriftsteller die Sterne bekucken. Aber wehe ihm, wenn er nicht fuehlt, dass sein Haus in Gefahr ist. Dann muss er posaunen, bis ihm die Lungen platzen!

Вот перевод:

Вольфганг Борхерт

Писатель

Дело писателя — дать имя дому, который все строят. И различным помещениям также.

Комнату больного нужно назвать печальной. На чердаке — сквозняк, в подвале — сырость. Нельзя называть подвал прекрасной комнатой.

Когда отберут карандаш, писатель корчится в муках. Будто кинули в "одиночку". Царапает на стене черенком оловянной ложки: это — грязная дыра.

Которому не по силам — не настоящий. Пускай подметает улицу.

Когда-нибудь его закорючки разберут в соседних домах. Ага, смекнут, ого! Ясно! Вот оно как в том доме...

Без разницы, крупно ли, мелко пишет. Обязан писать внятно.

Место писателя на чердаке. С высоты открываются безумные горизонты.

Безумный — значит прекрасный.

И ужасающий...

Но как одиноко там, наверху! Где всего холодней. И всего жарче.

Если каменотес Вильгельм Шредер взгромоздится на твой чердак, каменная голова, возможно, пойдет кругом. Писатель, не принимай во внимание!.. Господин Шредер обтерпится. Ничего, только на пользу.

Ночь дается писателю, чтобы глазеть на звезды.

Но горе ему, коли он не почуял, что дом в опасности. Тогда его дело трубить, покуда не лопнут легкие.

А вот переложение:

Вольфганг Борхерт

Инструкция

Писатель должен
дом, где мы живем,
назвать по имени
и в помещенье всяком
отметиться,
хотя б настенным
знаком,
чтоб люди знали:
побывал он
в нем.

С тех пор
подвал сырой,
на крыше — ветер,
и в комнате больного
плачет мать.
Нельзя писателю,
за все блага на свете,
чердак
прекрасной комнатой
назвать.

Когда его
лишат карандаша —
башкой об стенку,
заорет от муки,
и даже ложка
будет хороша,
чтоб ею нацарапать:
все вы
суки!

Писатель,
поселись на чердаке
в безумном одиночестве утеса.
И если ты
расслышишь вдалеке
тяжёлый шаг

Петра-каменотеса —
впусти его.

Не принимай в расчет,
что у земного —
головокруженье.
Привыкнет к высоте
и сам поймет
необходимость
небо-
притяженья.

Смотри на звезды.
Но беда тебе,
когда опасность дому
не заметил.

Труби, писатель,
на своей трубе,
покуда сам
не превратишься
в ветер.

Олег Дорман

Украсть нельзя перевести

Такие истории, да еще и куда похлеще, могли бы рассказать многие переводчики, сценаристы, режиссеры, актеры и музыканты. Молчат они не только потому, что недостойно тратить на это время, но, думаю, и потому, что хотят дальше работать. Потому, что в хорошо известном смысле мы заложники уродливой монопольной экономики. Поэтому считаю, что должен написать. Как ни противно, а главное, как ни скучно.

В 2005 году издательство "Иностранка" выпустило сборник рассказов Вуди Аллена "Шутки Господа" в переводе Олега Дормана, то есть моем. Первое легальное издание Аллена на русском языке.

Через некоторое время в издательство пришел из Нью-Йорка конверт с машинописью новой книги Аллена – формат А4 – с чернильными пометками автора.

Отказаться от такой чести невозможно, и я сел за перевод.

Новый сборник состоял из трех пьес и назывался "Ривер-сайд Драйв". Он вышел одновременно в Америке и в "Иностранке" в 2005 году (http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177196).

Зимой 2009 года ко мне обратились руководительницы продюсерской группы "Театр": они прочитали книгу и хотели приобрести права на перевод пьесы "Централ-Парк Вест" для постановки в антрепризе. Мы договорились.

Следущей зимой спектакль под названием "Уйти нельзя остаться" начали играть в Москве и других городах.

А через год прислали письмо знакомые из Самары. Спектакль приехал в их город, но на афишах было написано "перевод Анны Котляр". Вот: http://koncertsamara.ru/afisha/2011-10-30-1294/.

Потом написали из Екатеринбурга. Там тоже спектакль "Уйти нельзя остаться" шел в переводе Анны Котляр. (В самом деле – http://premiera-ekb.ru/2012-09-10-19:00:00-39.html.)

Получив письмо от поклонников Вуди Аллена из Киева, я уже не удивился: там спектакль "Уйти нельзя остаться" тоже гастролировал в переводе Анны Котляр. (И правда – http://www.bilethouse.com.ua/spectacles/view/679/2011/24/10/19/00.)

Из разных городов приходили мне удивленные письма с вопросом, кто такая Анна Котляр.

Я отвечал, как знал: заместитель генерального директо-

© Олег Дорман, 2012

ра продюсерской группы "Театр", что и написано вот тут — http://www.uitinelzya.ru/catalog10.html.

Месяц тому назад ко мне обратилась руководительница отдела по связям с общественностью Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Театр хотел бы поставить пьесу "Централ-Парк Вест", перевод которой опубликован в сборнике "Риверсайд Драйв". Я был рад, и, как положено, адресовал ее в американское агентство, которому принадлежат права на постановку пьесы. Там она узнала, что права на русскоязычную постановку переданы российскому агентству "Независимый театральный проект" (НТП), у которого их следует приобретать.

В НТП сообщили: пьеса существует в двух переводах. Рижанка удивилась и попросила прислать второй.

Прислали перевод Анны Котляр. Рижанка прочитала и, озадаченная, переслала мне.

Под обложкой с надписью "перевод Анны Котляр" оказался мой собственный перевод с кое-где небрежно замененными или просто переставленными словами. Работа была проделана лениво и простодушно. Все мои опечатки бережно перенесены в новый текст. Автор как будто не потрудился добыть оригинал. Иначе бы узнал, что́ на самом деле написано у Вуди Аллена. К этому я еще вернусь.

Я спросил у американского театрального агентства, действительно ли оно авторизовало этот перевод. Да, подтвердили мне, действительно.

Тогда я написал господину из НТП, который вел переговоры с Рижским театром и предлагал им перевод Анны Котляр: "Вы ведь знаете, что никакого перевода Анны Котляр не существует, а это просто украденный мой текст с кое-где замененными словами?"

"Да, мне об этом известно, — ответил он. — Но, боюсь, со спектаклем группы 'Театр' в Москве мы уже сделать ничего не можем".

Я и не предлагал что-то с ним делать.

И снова вернулся к американцам: уважаемые коллеги, вы авторизовали, полагаю, украденный у меня текст. Понимаю, что по договору с переводчицей за все отвечает она, а не вы. Но просил бы вас отозваться. Вам ведь не все равно? Ответ был неожиданным: обращайтесь в НТП. Я повторил свою просьбу о комментарии. И снова получил тот же ответ.

Так, вероятно, выглядела бы эта история, излагай я ее в суде. Экспертиза признала бы перевод, который НТП намеревался продать Рижскому театру, плагиатом, суд что-нибудь постановил, а я получил бы несколько тысяч рублей в утешение и справедливость бы восторжествовала.

Но было бы странно идти сегодня за справедливостью в российский суд. А главное — не в справедливости дело.

Рассказывают, первые российские промышленники, купцы-староверы, скрепляли договор рукопожатием. Точнее, договора на бумаге не было: рукопожатие и было договором.

Новорусский капитализм основан на убеждении, что дела честно не ведутся. Я узнаю тут, как ни странно, адаптированную идеологию Маркса, которую вколачивали нам в школах: "...за пятьдесят процентов прибыли капитал готов сломать себе голову, при ста процентах он попирает все человеческие законы". Не обманешь — не заработаешь.

Вот уже и вся общественная жизнь, общественная, так сказать, мораль зиждится сегодня на этом убеждении.

Оно ошибочно. Для человека существуют выгоды, которые требуют сокращения доходов. Быть гордым, честным, добрым для человека не менее желанно, чем быть богатым.

С такими мыслями я и решил, что расскажу эту историю не судьям, а вам. Тем, кому до этого может быть дело, кому не все равно. Предложу вам самим почитать оригинал Вуди Аллена и два русских перевода: вдруг я заблуждаюсь и слово "плагиат" неуместно?

А еще расскажу эту историю в ее настоящем виде — с подробностями, которые вряд ли имели бы значение для суда. И которые, повторяю, исключительно скучны — как чужие сны.

Если хотите — можете сразу перейти к чтению оригинала и переводов по адресу http://oleglivejournal.livejournal.com/.

Когда в 2009 году мы договорились с группой "Театр", — само собой нищей, конечно, движимой одним лишь творческим порывом и заботой об интеллигентной публике и, разумеется, способной заплатить мне за перевод максимум месячную зарплату банковского менеджера, — я отправил их к театральным агентам Вуди Аллена.

И тут возникло неожиданное затруднение. Американцы потребовали, чтобы я передал им, американскому театральному агентству, исключительные права на свой перевод. Бумага, которую следовало подписать, называлась "Соглашение с переводчиком".

Я не был на это готов. Допустим, книгу захотят переиздать — а права уже мне не принадлежат. Или другой какой-нибудь театр задумает поставить пьесу... Нет, не годится, к сожалению. Так и объяснил продюсерам.

Хорошо, сказали мне в "Театре", мы это уладим.

Через некоторое время я получил от них договор, где назывался "инсценировщиком" пьесы. Само собой, это тоже не годилось: обман, не могу подписать.

Ладно, сказали мне в "Театре", что-нибудь придумаем.

И надолго исчезли. Я предполагал, что ничего придумать не смогли и постановка не состоится.

Но через несколько месяцев пришло письмо. С американцами все решено, скоро начнутся репетиции, давайте подпишем договор.

Стали работать над договором, уточнять формулировки — обычное дело. Они, скажем, хотели права на свободное изменение текста. Дать его мог бы только автор, но не я. Потом мои антрепренеры снова исчезли.

О том, что премьера спектакля с названием "Уйти нельзя остаться" пройдет в декабре 2010 года в помещении театра на Малой Бронной, я узнал случайно. Из афиши в районе Пушкинской. И что это и есть "Централ-Парк Вест" Вуди Аллена — тоже. Фамилии переводчика не значилось. Договора со мной так и не было.

Я попросил его немедленно заключить и, в соответствии с ним, указать имя переводчика на афишах. Конечно, отвечали мне, мы как раз собирались вам звонить. Я недоумевал: "Как вы рискуете так беспечно вести дела? А если бы я оказался склочным типом или просто по какой-нибудь причине отказался подписывать договор? А вы уже поставили спектакль..." Они смеялись. В смысле — я не склочный. Словом, отношения наши были вполне добрые.

Договор заключили, пообещали пригласить на премьеру, и я получил часть денег. Вторая часть, сказали, тоже на днях поступит на ваш счет.

Но деньги не поступали. Ни на днях, ни через неделю, ни потом. Наконец я получил ответ на свое очередное письмо — от заместителя генерального директора Анны Котляр: "Только что увидела ваше письмо! Я прошу прощения за задержку, это ошибка бухгалтерии, а я не отследила этот вопрос! Мы перечислим вам деньги до конца этой недели! Также 28 числа состоится наша премьера, спектакль еще очень сырой, но тем не менее мы будем очень рады, если вы придете!"

Конечно, недоразумение, подумал я: премьерные хлопоты, до меня ли.

Неделя кончилась, но деньги не приходили.

Я позвонил самой главной антрепренерше и получил совсем новое объяснение: в конце года всегда нет денег, сами понимаете. Не волнуйтесь, все будет хорошо.

Я почувствовал, что хорошо не будет. В особенности потому, что на эти деньги мы с моим кинематографическим сопродюсером рассчитывали, и теперь приходилось все отменить — сначала покупку аппаратуры, потом экспедиции, съемки.

На премьеру меня уже не звали. На следущие спектакли тоже. Ни писем, ни звонков. Наступил Новый год. Прошел еще почти месяц. Потом случилась беда. Наша дорогая, наша любимая подруга заболела. Требовались деньги на химиотерапию. Я колебался, а потом принял решение и написал в "Театр": "Не хотел обременять вас этим знанием, но вынужден. Деньги, которые я жду от вас, нужны для приобретения препаратов химиотерапии. Нужны срочно".

На это письмо не ответили. И вот то, что они не ответили на это письмо, меня наконец задело за живое.

Я стал склочным типом. Добился ответа. Он пришел еще почти через месяц. Мы не отказываемся от оплаты ваших услуг, говорилось в нем, но возникли непредвиденные обстоятельства: американцы требуют, чтобы вы отдали им права на перевод. "Так как Вы отказались подписывать Соглашение,

которое прилагалось к договору, не могли бы Вы предоставить договор с автором на право перевода пьесы или договор с издательством и контактное лицо, с которым можно выяснить эту проблему. В противном случае получается, что наш с Вами договор не имеет никакой юридической силы".

Не надо быть юристом, чтобы понять: если договор не имеет силы, нельзя играть спектакль. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: он поставлен незаконно, ничего они тогда с правами на перевод не "придумали", как собирались, а решили просто припереть меня к стенке. Разумеется, в нашем с ними договоре ни о каком Соглашении речи не было.

Я прислал "Театру" свой договор с издательством, контактное лицо — очень красивое, очень хорошее лицо, замечательная Варя Горностаева — подтвердила, что перевод был сделан и издан законно.

Но денег по-прежнему не платили. И почему-то винили в этом американцев.

Я был вынужден сам написать в Нью-Йорк. Ответ главы агентства начинался словами "Что за чудовищная история". Для тех, кто знает английский, я бы привел переписку в оригинале, но что-то мне подсказывает, что лучше переводить и цитировать.

Оказалось, "Театр" представил американцам подписанное Соглашение с переводчиком. Подписал его... режиссер спектакля Тимофей Сополев.

Не знаю, писала мне американка, действительно ли это его перевод: мы попросили прислать копию русского перевода, но до сих пор не получили. Если же все-таки в спектакле использован ваш перевод — требуйте вернуть свое имя, требуйте отчисления от доходов (святая женщина, какие отчисления?) и подпишите Соглашение сами.

Разумеется, быстро выяснилось, что Тимофей Сополев не переводил пьесы.

Глава американского агентства написала мне: продюсерская компания соврала нам в официальных бумагах о том, кто перевел пьесу на русский. Это серьезное дело. Я намерена обсудить дальнейшие шаги с адвокатом г-на Аллена.

Шаги оказались простые. Американцы просто предупредили "Театр", что, если мне не выплатят денег и не поставят моего имени на афишах, спектакль запретят.

Я объяснил американцам, почему не хотел подписывать Соглашение. Они, в свою очередь, объяснили мне, что оно коснется только права на использование перевода в театре, но не помешает переизданию книг. И если еще какой-нибудь русский театр захочет ставить пьесу Вуди Аллена в моем переводе, то будет договариваться со мной, а американцы лишь подтвердят мою правомочность.

Само собой, получи я такое разъяснение раньше — давно бы подписал Соглашение. Но подписать его, после того что произошло, было невозможно.

Я ждал, когда исполнят договор. "Театр" писал в Нью-Йорк длинные письма, в кото-

рых называл меня шантажистом, оттуда их пересылали мне. Только благодаря твердости американцев моя фамилия появилась на некоторых афишах, а потом наконец и деньги пришли на счет.

Произошло это в мае.

Если вы хотя бы просто ведете домашнее хозяйство, планируете семейный бюджет и не снимаете фильмов, вам нетрудно понять, какие потери приносит такая задержка денег.

Я поблагодарил незадачливых шантажистов и сказал, что готов подписать Соглашение, если мне возместят убытки: три тысячи долларов. (Естественно, полную сумму убытков, оттого что сорвалась творческая работа, подсчитать невозможно.)

Мне отказали.

А я и не рассчитывал.

Американцы тоже попробовали уговаривать меня: подпишите Соглашение и забудьте. В смысле, бизнес есть бизнес. Я, как мог, объяснял, что это в Америке бизнес. Бизнес там, где суд. Они, кажется, поняли мои резоны. Правда, последнее письмо удивило меня: ну не хотите — не подписывайте, но имейте в виду, что "Театр" просто авторизует у нас другой перевод.

Мне казалось бы более естественным другое: если спектакль играется беззаконно — мы его закрываем. Всякому понятно, что делать новый перевод и репетировать спектакль заново — небывалая история. Тем более, в антрепризе.

Но это уже меня не касалось, и наша переписка прекратилась.

Спектакль жил своей жизнью. Я его не видел.

А потом на афишах появилась фамилия другого переводчика и случилось все, что описано выше. И я снова написал в американское театральное агентство и адвокату Вуди Аллена. Как же вы авторизовали "новый перевод", спрашивал я, подписанный фамилией даже не переводчика, а менеджера театральной компании, которая уже не раз вас обманывала?

— Не понимаем вопроса, — отвечала мне глава агентства. — А в чем они нас обманули?

— Ну, хорошо, — писал я. — Тогда просто сообщаю, что авторизованный вами перевод представляется мне украденным. А именно у меня. Пожалуйста, отреагируйте как-нибудь.

Никакой реакции. "Dear Mr. Dorman, обратитесь в НТП".

— Прошу вас: я хочу, чтобы русская публика знала, что вам не все равно. Дайте любой комментарий.

— Обращайтесь в НТП.

Бизнес.

И тут раздался телефонный звонок. Не понимаю, как драматурги прошлого обходились без телефона, этого вестника богов, который один способен вытянуть из тупика забуксовавшую историю. Звонил знакомый раввин из Одессы. С Одессы, как говорят в моем любимом городе, где прадед был уличным скрипачом, дед — джазовым пианистом, где родился мой папа и где теперь из бесчисленной родни не осталось совсем никого. "Или твои дела

совсем плохи?" — начал знакомый. — "В смысле? (Как вы знаете, надо отвечать вопросом на вопрос.) — "Ты сменил пол и вышел замуж или просто взял псевдоним?" — "А именно?" — "Та пьеса, что ты помогал Вуди Аллену писать, теперь идет у нас как перевод Анны Котляр".

Телефон — тоже драматургия вчерашнего дня. Современного драматурга может спасти только интернет. Сейчас мы перенесемся вместе со мной и одним одесским раввином на два года назад, и пьеса оживится.

Именно тогда благодаря интернету я случайно узнал, что в Одесском академическом русском драматическом театре состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Вуди Аллена. Один назывался "Тараканьи бега любви" (http://www.galerka.com/2781.html), второй — "Из жизни Большого яблока". В афише было указано, что перевод пьес мой. "Тараканьи бега" — это пьеса "Олд-Сэйбрук", "Яблоко" — "Централ-Парк Вест". Спектакли игрались по два раза в неделю.

Я послал в театр письмо. "Поздравляю вас с премьерой спектаклей по пьесам Вуди Аллена и от души желаю хорошего отклика публики. Мою радость омрачает только то, что вы — академический театр со славными традициями — нарушили закон и конвенцию об авторском праве, и я просил бы вас исправить эту оплошность. Прошу вас как можно скорее связаться со мной по электронной почте, чтобы заключить договор о приобретении прав на использование моего перевода, моего имени в афише и о переименовании пьес при постановке".

Ответ пришел быстро: завлит театра объяснял, что театр ни в коей мере не хотел ущемлять мои права и "после принятия решения о постановке пьес Вуди Аллена" отправил сведения о готовящейся постановке в Украинское агентство по авторским и смежным правам (Українське агенство з авторських і суміжніх прав). Не могу не процитировать продолжение. "Дальнейший выход на контакт с Вами и обговаривание условий постановки, — писал мне заведущий литературной частью, — входит в обязанности вышеуказанного агентства, театр платит за эти услуги. Мы были уверены, что агентство уже связалось с Вами. Если этого по какой-то причине не произошло — сообщаем Вам координаты одесского представительства агентства: Вы можете связаться с ними напрямую и уладить данное недоразумение".

Я связался.

Региональный отдел ГП УААСП по г. Одессе в лице и. о. нач. отдела ответил мне — нет, как написано, — проинформировал меня, что "по премьере спектаклей по пьесам Вуди Аллена "Олд-Сэйбрук" и "Централ-Парк Вест" мы ведем с театром необходимую работу. Информация, которую предоставил театр нашему предприятию 6.06.2010 г. касалась только получения разрешения от Вуди Аллена на постановку его пьес "Олд-Сэйбрук" и "Централ-Парк Вест". В рамках договора нашего предприятия и русско-

го театра предусмотрены специальные формы, которые театр должен в заполненном виде нам предоставить. До настоящего момента эти формы не предоставлены, т. к. до самой премьеры театр не знал полный состав авторов, чьи произведения будут использованы в спектаклях (так мне говорил завлит). Надеемся, что театр теперь сможет заполнить необходимые документы и представить в наше предприятие. Как только мы получим эти документы, наше предприятие сразу установит с Вами необходимый контакт по согласованию с Вами % роялти за перевод указанных пьес и начнет начисление роялти на доходы театра на данные спектакли".

Редкая птица с первого раза ухватит смысл этого ответа. Но, вчитавшись, я понял, что театр и агентство по правам собрались валить ответственность друг на друга, что Вуди Аллен дал театру право на бесплатную постановку, причем сообщил об этом агентству не он сам, а театр, и что раз уж переводчик "накрыл малину" – давайте тихо договоримся.

Мне позвонил директор театра. Он уверял, что лично искал меня как родного сына, чтобы заключить договор, но никак, никак не мог отыскать, что театр беден, как только может быть беден русский театр на Украине, что я должен их простить, потому что Одесса мне не чужая, и что, наконец, они готовы заплатить по сто, ну двести долларов за каждый перевод.

Я подумал, что не хочу разорять академический театр со славными традициями. Пускай украинское государство в лице ГП УААСП ответит за все его унижения. Прав завлит! Но директор театра как-то не вполне поддержал эту мою мысль. Мы договорились не терять друг друга из виду.

А на другой день я прочитал поразительную статью. Она называлась "Удачная ошибка русского театра" и была опубликована в газете "Одесская жизнь" (http://odessa-life.od.ua/article/1066-udachnaya-oshibka-russkogo-teatra). Из нее я узнал, что поставил оба спектакля московский режиссер Михаил Чумаченко. Не только режиссер, но профессор ГИТИСа (РАТИ), и профессор нерядовой: он только что вернулся из Дюссельдорфа, где получал награду как лучший театральный педагог года. Дальнейшее столь впечатляюще, что я приведу большую цитату:

В это же время в Дюссельдорф приехал Вуди Аллен.

– Мы разговаривали пятьдесят минут вместо запланированных двадцати. Начало беседы меня напугало, потому что он не очень хорошо выглядел. Очень мрачный, почти не улыбался. Но это впечатление прошло. Минут через пятнадцать Вуди Аллен начал покачиваться в кресле... Это если говорить об ощущениях. Он очень интересовался ситуацией. Никак не мог понять: русский театр в Украине. Что это такое? Ситуация внутри войны? Я говорю: какой войны? Ну вы же там все время воюете, отвечает. Украина и Россия друг друга не любят, это что за колючей проволокой? Я говорю: вы с ума сошли. Нормаль-

ная ситуация. Степень непонимания наших взаимоотношений огромная.

– Вы пригласили Вуди Аллена на премьеру?

– Пригласил, он сказал, что обязательно будет. Попросил рассказать про артистов. Я начал рассказывать, а он спрашивает: а фотографии взяли? Нет, конечно, но они есть на сайте театра.

– Какой процент от сбора получит автор пьесы?

– Я его спросил, он ответил, что никогда не зарабатывал на своих пьесах, а только на кино. Это нормальная ситуация. Лет десять назад я разговаривал с Легран, говорил, что нужна музыка и почти нет денег. Легран сказал: ситуация понятна, но 100 франков вы найдете? Он сказал секретарю: возьми клавир и сделай ксерокопию. Они нормальные, они все вменяемые люди. Гораздо сложнее в России бывает с переводчиками. У нас театр на 400 мест, а он говорит: восемь тысяч долларов за перевод.

– Михаил Николаевич, почему все-таки Вуди Аллен?

– Здесь странная история. Был звонок от директора театра Александра Копайгоры с формулировкой: дай какую-нибудь пьесу. Я ему дал четыре, после этих четырех меня послали. Причем далеко. Потом я спросил: чего хотите? Мне сказали: что хочешь, то и ставь. Я отправил еще четыре. Меня послали второй раз. Предложил Вуди Аллена. Сказал: высылай. Почему Вуди Аллен? Одесса – город, где юмором пропитано все. В таком городе Вуди Аллен должен идти, как мне кажется.

С помощью интернета я обратился к медиархивам Дюссельдорфа. Вуди Аллен снял фильмы в Лондоне, Барселоне, Париже – не собирается ли он делать кино о немцах? Я искал в газетах, журналах, на местных сайтах, наконец, просил друзей, живущих в Дюссельдорфе, помочь мне. Тщетно. Режиссеры Михаил Чумаченко и Вуди Аллен как будто побывали в Дюссельдорфе инкогнито. Впрочем, я все равно верю, что однажды дюссельдорфцы пришлют мне что-нибудь о визите Вуди Аллена в их город – ибо сомневаться в правдивости этой истории невозможно. Ведь ее рассказал человек, работающий с молодыми художниками, а это особая ответственность. Жаль, я не был знаком с ним раньше.

Впрочем – по статье выходит, что был: ведь он сказал, что переводчик потребовал за перевод восемь тысяч долларов. А раз переводчик – это я, то, выходит, я и потребовал. Легран не потребовал, Вуди Аллен не потребовал, а московский наглец потребовал!

Благодаря подсказке режиссера я узнал, чего хотеть. И написал новое письмо в Украинское агентство по правам. "До начала нового театрального сезона театр должен заключить со мной договор на использование перевода и выплатить мне причитающуюся сумму. На пресс-конференции, посвященной выпуску спектаклей, постановщик М. Чумаченко заявил (цитирую по изданию 'Одесская жизнь', номер 30): 'Они (иностранцы. – *О. Д.*) нормальные, они все вменяемые люди. Гораздо сложнее в России бывает с переводчиками. У нас театр на 400 мест, а он говорит: восемь

тысяч долларов за перевод'. Я не стану требовать компенсации за это оскорбление моей деловой репутации, основанное на лжи: ни М. Н. Чумаченко, ни кто-либо другой из Русского драматического театра никогда не обращался ко мне за разрешением на постановку, и, соответственно, я не называл никаких сумм. Однако теперь мне легко их определить: театр должен выплатить мне по восемь тысяч долларов за право на каждую пьесу".

После этого украинское агентство постепенно теряло ко мне интерес. Советовали согласиться на двести, ну хорошо, триста, футболили от чиновника к чиновнику, отвечали на письма через одно и, наконец, объяснили, что доказать факт кражи перевода невозможно, потому что для этого надо предъявить в суде полную видеозапись спектакля (а снимать в театрах запрещено), и прочее в таком родном, таком знакомом духе.

Вероятно, агентство почувствовало более интересные для себя перспективы: его сотрудники попросили у меня адрес театральных агентов Вуди Аллена. Собирались уточнить насчет бесплатного разрешения из Дюссельдорфа. Я не дал. Не хотелось, чтобы с моей помощью киевские защитники прав создавали театру дополнительные сложности. На этом переписка прекратилась.

Но, похоже, сложности они все-таки создали. Кто еще, кроме американцев, мог бы заставить Одесский академический театр через два года сменить имя переводчика на афише (http://www.rusteatr.odessa.ua/index.php/template-benefits/2010-10-30-10-40-25/109-2010-11-03-10-03-43/1309-q-q-qq)? Второй же спектакль, "Тараканьи бега", поставленный по пьесе, которую еще не перевела Анна Котляр, вовсе исчез из репертуара.

Услышав эту историю, мой одесский знакомый, большой поклонник Вуди Аллена, не удивился. Только спросил, хочу ли я, чтобы он посмотрел спектакль в новом переводе. Я не хотел.

У меня возникло желание поговорить с постановщиком одесских спектаклей. Не всякий день встретишь человека, с которым Вуди Аллен готов побеседовать пятьдесят минут вместо двадцати. Допустим, я сам: где бы я мог поговорить с Алленом? Разве что на концерте фонда "Федерация", но как мне туда попасть...

Интернет сообщил мне, что Михаил Чумаченко и Тимофей Сополев вместе преподают в ГИТИСе (РАТИ) и иногда вдвоем ставят студенческие спектакли (http://www.ok.theatre.ru/teachers/sopolev/).

Я подумал, что, пожалуй, обойдусь без встречи. И, как в пьесе "Централ-Парк Вест", финал останется открытым. В конце концов, не я его написал — только перевел на русский.

Среди книг

с Верой Калмыковой

Разнообразие пространств

Жорж Перек *Просто пространства: Дневник пользователя* / Пер. с фр. В. Кислова. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. — 152 с.

Книга Жоржа Перека читается на одном дыхании, и не потому, что она *небольшая* или слишком *простая* (хотя да: и маленькая, и несложная). Но то, о чем пишет автор, оказывается настолько близко любому, кто хоть раз да и осознавал себя в каком-нибудь пространстве (а значит, на самом деле *каждому*), что диву даешься: ну почему автор — не ты? Все же элементарно...

"Предмет этой книги, — сообщает автор, — не пустота, а скорее то, что вокруг или внутри нее... Хотя на самом деле изначально есть невесть что: ничто, нечто неощутимое, фактически нематериальное; нечто протяженное, внешнее, то, что вне нас, то, в чем мы перемещаемся; окрестность, окружающее пространство". Где же мы? В космосе? На Земле? В родной стране? Городе? Районе? Доме? На собственном диване, наконец? Чем *меньше кажется* нам пространство здесь и сейчас, тем *больше* оно *оказывается*, если задуматься; и книжка о том, где мы находимся, где располагаемся, помогает нам задать себе глупые — и нетривиальные вопросы.

Дело вкуса, но здесь больше всего хочется процитировать отрывок, посвященный... кровати — этому привлекательнейшему и интимнейшему из всех пространств. "'Двадцать лет спустя', 'Таинственный остров' и 'Джерри-островитянина' я прочел, лежа на животе, на своей кровати. Кровать становилась хижиной трапперов, спасательной шлюпкой в бурном океане, баобабом, охваченным пожаром, палаткой в пустыне, ложбинкой, в нескольких сантиметрах от которой враги проходили несолоно хлебавши.

На своей кровати я много путешествовал. Чтобы выжить, я брал с собой сахар, который..."

Но стоп. Обязанность рецензента — рецензировать, а не цитировать до бесконечности, понуждая автора против воли выполнять свою работу. Медитативное удовольствие от чтения книги "Просто пространства" рецензентом — в качестве читателя — и без того получено. Вероятно, как и переводчиком, и редактором: книга сделана со вкусом, от нее исходит недоказуемое, но осязаемое обаяние, как от всего, что сделано с любовью. Всякий, кто захочет получить свое, может это сделать: книга есть.

Томас Венцлова *Вильнюс: Город в Европе* / Пер. с лит. Марии Чепайтите. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. — 264 с.

Кстати о пространствах. Вильнюс. То самое приснопамятное "окно в Европу" для многих тысяч советских людей, лишенных таинственной "заграницы". Те самые "задворки Европы", в которые превратился город в нашем сознании, став столицей полноценного европейского государства. Все изменчиво в людском восприятии; постоянно, пожалуй, лишь уважение к прошлому, ощущение величия веков — если оно нам свойственно, разумеется.

Быть может, поэтому Томас Венцлова начал свою книгу с глубокого исторического экскурса, в котором Вильнюс то и дело ненавязчиво возникает в ближайшем соседстве с Римом. Контекст обязывает; читатель подтягивается, словно заправский легионер, и тут же оказывается в соседствующих пространствах — этимологическом и мифологическом. В истории Вильнюса — и жрецы-подкидыши, и аристократы-найденыши; вслушиваясь в звуки древних названий, автор вынимает из их сердцевины дух народа — совершенно в стиле романтиков XIX века.

Такое путешествие, само собой, завораживает. Среди владеющих искусством медленного чтения немного найдется людей, которые добровольно откажутся от удовольствия почитать подобную книгу. Так, описывая историю жреца Лиздейки, короля Гедимина и аристократа Радзивилла, автор замечает, будто вскользь: "Не надо спрашивать, происходили ли на самом деле все эти прекрасные и поразительные события. Миф — часть реальности, находящейся на другой плоскости, чем история, и у него есть свой смысл: Гедимин основывает политическую столицу там, где уже была религиозная, а Лиздейка узаконивает это своим авторитетом".

В этой бочке меда, правда, содержится некоторый деготь, которого лучше бы не было. Работа переводчика или, скорее, редактора здесь не на высоте. Фраза "'Винно-темное море' стало основой могущества Афин — оно обозначило торговые пути и навеки отложило образы в поэзии" была бы приемлема, если бы в русском языке не существовало выражение "откладывать яйца". Сей шедевр есть третье предложение текста; оно фактически открывает книгу; лучше бы, право слово, на самой первой странице образы не откладывать, не пугать людей. Однако что сделано — сделано. В конце концов, подобных *перлов создания* в книге не так и много.

Гераль Рауниг *Искусство и революция: художественный активизм в долгом двадцатом веке* / Пер. с нем. и англ. А. В. Скидана, Е. А. Шраги; науч. ред. А. В. Магун. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. — 266 с.

Под пространством в культуре понимается не только местность, освященная историей и традициями, но и умозрительные зоны, где творятся и взаимодействуют смыслы. И в книге Геральда Раунига "Искусство и революция..." такая зона как раз и рассматривается.

Тема взаимоотношения искусства и революции далеко не нова, если рассматривать ее в русле идей, например, Р. Вагнера или А. Луначарского. Первый полагал, что революция следует за искусством, второй — что дело обстоит с точностью до наоборот; оба считали, что обновление человечества возможно лишь при соединении этих мощнейших сил. И также совпадали Вагнер и Луначарский во мнении, что искусство должно слиться с жизнью, стать всеобъемлющим. Но, как неоднократно подчеркивает Рауниг, тотальное искусство, объединяющее массы, — это краткий и не раз уже опробованный путь к фашизму: "Такого рода объединяющий союз масс и искусства не порождает ни ассамбляжей единичностей, ни организационных соединений... Вместо этого он стирает различия, терроризирует, сегментирует и размечает пространство, добиваясь единообразия масс посредством искусства".

Рауниг исследует "пограничные зоны", где искусство и революция или существуют параллельно, не сливаясь вовсе, или пересекаются на краткое время, "без синтеза и отождествления". И анализирует примеры, среди которых — превращение Гюстава Курбе из художника в политика; ситуация в жизни Германии 1910-х годов; ситуация в Вене в 1968-м... вплоть до сравнительно недавних историй в Генуе летом 2001 года и год спустя — в Страсбурге.

Автор существенно расширяет границы истекшего столетия. Если, скажем, для Ахматовой "не календарный — настоящий двадцатый век" начался в 1914 году, то для Раунига это произошло существенно раньше, в 1871 году, когда состоялись бои Парижской Коммуны. Окончание столетия также не совпадает с календарным: это антиглобалистские выступления против саммита Большой восьмерки в Генуе и антирасистские — в Страсбурге.

Главная же цель книги Раунига, кажется, в том, чтобы показать, насколько близка революционность к разнообразным формам фашизма и какую роль в сближении этих двух начал, увы, играет искусство. Ради одного этого книгу стоит снять с магазинной полки, не убоявшись порой тяжеловесного "наукообразия" некоторых пассажей. Впрочем, перевод выполнен добротно, и тяжеловесность — явная примета авторского стиля. Ну, а о стилях, как известно, не спорят.

Пауль Целан
Paul Celan [наст. имя Пауль Лео Анчел].
[1920–1970]. Немецкоязычный поэт, переводчик французской, английской, русской и итальянской поэзии и прозы на румынский и немецкий языки. Родился в еврейской немецкоязычной семье в Черновцах [Румыния, после 1940 г. – СССР]. С 1948 г. жил в Париже. Лауреат литературной премии Вольного ганзейского города Бремена [1958] и дармштадтской премии имени Георга Бюхнера [1960] и др.

Автор стихотворных сборников *Мак и память* [*Mohn und Gedächtnis*, 1952], *От порога к порогу* [*Von Schwelle zu Schwelle*, 1955], *Решетка языка* [*Sprachgitter*, 1959], *Роза-Никому* [*Die Niemandsrose*, 1963], *Поворот дыхания* [*Atemwende*, 1967], *Нити солнц* [*Fadensonnen*, 1968], *Насилие света* [*Lichtzwang*, 1970], *Сторона снега* [*Schneepart*, 1971], *Подворье времени* [*Zeitgehöft*, 1976] и др. На русском языке стихи Целана публиковались в книге *Стихотворения* [1988] и антологиях *Из современной австрийской поэзии* [1975], *Западноевропейская поэзия XX века* [1977] и др. В *ИЛ* ему были посвящены рубрики *Портрет в зеркалах* [1996, № 12] и *Вглубь стихотворения* [1999, № 12].
Публикуемый текст взят из книги *"Herzzeit". Ingeborg Bachmann – Paul Celan. Der Briefwechsel* [Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008].

Ингеборг Бахман
Ingeborg Bachmann
[1926–1973]. Австрийская писательница, лауреат многих литературных премий.

Автор сборников стихов *Отсроченное время* [*Die gestundete Zeit*, 1953–1957], *Призыв к Большой Медведице* [*Anrufung des Grossen Bären*, 1956], романов *Город без имени* [*Stadt ohne Namen*], *Малина* [*Malina*, 1971], драм *Цикады* [*Zikaden*, 1955], *Добрый бог из Манхэттена* [*Der gute Gott von Manhatten*, 1958] и др. В *ИЛ* публиковались ее стихи [1965, N12; 1974, N3], рассказы [1996, N9] и рассказ *Смерть придет* [*Der Tod wird kommen*, 1978].
Публикуемый текст взят из книги *"Herzzeit". Ingeborg Bachmann – Paul Celan. Der Briefwechsel* [Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008].

Эрик Фай
Éric Faye
[р. 1963]. Французский журналист и прозаик. Обладатель Гран-при Французской академии за роман *Нагасаки*.

Автор сборников рассказов, в том числе фантастических, *Я – смотритель маяка* [*Je suis le gardien du phare*, 1997], *Клоун сбежал из цирка* [*Un clown s'est échappé du cirque*, 2005], *Стать бессмертным и умереть* [*Devenir immortel, et puis mourir*, 2012], романов *Плавание по морю дождей* [*Croisière enmerdespluies*, 1999], *Долгая жизнь без тебя* [*La Durée d'une vie sans toi*, 2003], *Человек без отпечатков* [*L'Homme sans empreintes*, 2008] и др.
Роман публикуется по изданию *Nagasaki* [Paris: Stock, 2010].

Дино Кампана
Dino Campana
[1885–1932]. Итальянский поэт трагической судьбы, отверженный и забытый при жизни и оцененный после смерти как одна из ключевых фигур итальянской поэзии XX века.

Автор единственной книги — *Орфические песни* [1914].
Фрагменты книги публикуются по изданию *Canti orfici e altre poesie.* [Milano: Garzanti, 2007].

Игорь Маркович Ефимов
[р. 1937]. Писатель, философ, издатель. С 1978 г. живет в США.

Автор двенадцати романов, среди них *Архивы Страшного суда* [1982], *Седьмая жена* [1990], *Зрелища* [1997], *Пелагий Британец* [1998], *Суд да дело* [2001], *Новгородский толмач* [2003], *Неверная* [2006], *Обвиняемый* [2009], философских трудов *Метаполитика* [1978], *Практическая метафизика* [1980], *Стыдная тайна неравенства* [2006], *Грядущий Аттила* [2008] и книг о русских писателях *Двойные портреты* [2003] и *Бремя добра* [2004]. В 1981 г. основал издательство Эрмитаж.

Михаэль Кумпфмюллер
Michael Kumpfmüller
[р. 1961]. Немецкий писатель, журналист. Лауреат премии Альфреда Дёблина [2007].

Автор романов *Побеги Хампеля* [*Hampels Fluchten*, 2000], *Жажда* [*Durst*, 2003], *Сообщение всем* [*Nachricht an alle*, 2008].
Защитил и опубликовал кандидатскую диссертацию: *Сталинградская битва – Метаморфозы одного немецкого мифа* [*Die Schlacht von Stalingrad – Metamorphosen eines deutschen Mythos*, 1995].
Перевод публикуемого фрагмента романа выполнен по изданию *Die Herrlichkeit des Lebens* [Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2011].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода.*

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Автор рубрики *Новые книги Нового Света* в *ИЛ.*

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

Автор книг серии "ЖЗЛ" *Редьярд Киплинг* [2011] и *Сомерсет Моэм* [2012]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, Г. Джеймса, И. Во, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ.*

Эдуард Аронович Шульман [р. 1936]. Прозаик.

Автор десяти книг. Печатался в журналах *Юность*, *Знамя*, *Октябрь*, *Дружба народов*, *Континент*, *22* [Израиль]. Издательство Art House media выпускает серию его книг в жанре сюжетной эссеистики. В *ИЛ* были опубликованы его рецензия [1997, № 2] и эссе [1998, № 2].

Олег Вениаминович Дорман [р. 1967]. Кинорежиссер, драматург, переводчик с английского.

В его переводе опубликованы книга *Мастер-класс* К. Кеслёвского, сборник рассказов *Шутки Господа* В. Аллена, книги и статьи зарубежных кинематографистов. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2011].

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV-XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008],принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, В одесском альманахе *Дерибасовская-Ришельевская* и др. Постоянный ведущий рубрики *ИЛ Среди книг* с Верой Калмыковой.

Переводчики

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премии Андрея Белого [2008], премии имени Жуковского [2010].

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, произведения К. Крахта, А. Шмидта, А. Дёблина, Т. Бернхарда, Г. Йонке и др. Составитель [вместе с М. Белорусцем] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Александр Васильевич Белобратов
[р. 1951]. Переводчик с немецкого, литературовед-германист, кандидат филологических наук.

Автор книги *Роберт Музиль. Метод и роман* [1990]. Составитель и редактор серии *Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге*. В его переводе публиковались афоризмы К. Крауса, письма Г. Тракля, эссе Р. Музиля и В. Беньямина, роман Й. Рота *Бегство без конца*, романы *Любовницы*, *Пианистка*, *Похоть* Э. Елинек и др. В *ИЛ* в его переводе печаталась Нобелевская лекция Э. Елинек *В стороне* [2005, № 7] и *Литературная хроника (июнь 1914)* Р. Музиля [2007, № 3].

Наталия Владимировна Кислова
Переводчик с французского.

В ее переводах печатались произведения Г. Башляра, М. Юрсенар, Р. Кайуа и др.

Петр Епифанов
[р. 1963]. Историк, прозаик, поэт, переводчик. Родился в Сибири.

Автор двух книг прозы и ряда публикаций в журналах *Знамя*, *Звезда*, *Зинзивер* [СПб.], *Русская провинция* [Тверь] и др. Занимается также исследованием и переводами сочинений французского философа Симоны Вейль [переводы публиковались в журналах *Иностранная литература*, *Континент*, альманахе *Крылья голубиные* и на интернет-сайте simoneweil.ru]. В *ИЛ* в его переводе опубликованы также стихи Д. Унгаретти [2011, № 2] и *Сказка сказок* Д. Базиле [2012, № 8].

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премий *Единорог и Лев* [2006], *Инолиттл* [2007].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многих книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг, Р. Фроста и др.

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премий *Инолит* [1996] и имени Жуковского [2002].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5—7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3], *Завет* Г. Бёлля [2001, № 1], *Вилленброк* К. Хайна [2001, № 7, 8], *Письма Ф. Кафки Фелиции Бауэр* [2003, № 2], книга У. Тимма *На примере брата* [2004, № 11], рассказа Г. Кляйна *Нойма* [2009, № 10], пьесы Т. Бернхарда *Знаменитые* [2010, № 2] и др.

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса

Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11А

981-45-71

www.rinet.net

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Кристиана Шада [1894–1982] *Соня* [1928].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.09.2012
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 95.
Тираж 5 100 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

“ИЛ” в 2013 году

Стихи польской поэтессы, лауреата Нобелевской премии ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ (1923—2012) из ее последнего сборника **“Довольно”**.

Сатирическая повесть видного современного английского прозаика АЛАНА БЕННЕТТА **“Вторая молодость миссис Доналдсон”** — эротические подвиги почтенной 60-летней англичанки.

“Круговорот масок: мистификации или фальсификации?” - в номер войдут произведения Х. М. ЭНЦЕНСБЕРГЕРА, Х. Л. БОРХЕСА, Б. КАСАРЕСА, выступающих под псевдонимами, псевдодневники РОБЕРТА МУЗИЛЯ, а также книга-розыгрыш английского писателя УИЛЬЯМА БОЙДА и “автобиография поддельщика” ЭРИКА ХЭББОРНА.

В ознаменование столетия со дня рождения АЛЬБЕРА КАМЮ “Иностранная литература” печатает впервые переведенные на русский язык путевые очерки, раннюю эссеистику нобелевского лауреата, классика мировой и французской литературы.

Некогда процветающие прииски в чилийской пампе сегодня превращаются в “города-призраки”. Застрявшие в них странные люди стали персонажами романа чилийского писателя ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА **“Фата-моргана любви с оркестром”.**

Российский читатель впервые прочтет **“Дневники 20—30 годов”** ИВЛИНА ВО, одного из крупнейших английских писателей-сатириков XX века, автора таких популярных у нас романов, как “Мерзкая плоть”, “Пригоршня праха”, “Возвращение в Брайдсхед”.

Рассказы “аргентинца из аргентинцев” ХУЛИО КОРТАСАРА — как всегда парадоксальные, гротескные, полные фантазии.

“Рождение убийцы” — повесть известного венгерского писателя ЛАСЛО КРАСНОХОРКАИ, где автор, описывая некий музейный мир, наполненный предметами искусства, исследует мистическое, порой разрушительное воздействие на человека воплощенной в шедеврах красоты.

“Борхес” — дневники БЬОЯ КАСАРЕСА, охватывающие более полувека (1947—1999 гг.), где записи бесед с Борхесом соседствуют с картинками повседневной жизни и с анализом тех или иных поступков великого аргентинского писателя.

В рубрике **“Вглубь стихотворения”** представляем “английского Бродского”, то есть стихи ИОСИФА БРОДСКОГО, написанные по-английски, и несколько их русских версий.

Тематический номер **“Не ходите, дети, в Африку гулять!”**, а также специальные номера, посвященные голландской, португальской и швейцарской литературам.

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2012, №10, 1-288

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 12010
9 770130 654770